

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1981

СОДЕРЖАНИЕ

К IX Международному съезду славистов	3
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ	
✓ Котков С. И. (Москва). Исследование и издание скорописных памятников русского языка	6 ¹⁶
✓ Бондарко А. В. (Ленинград). О структуре грамматических категорий	17
✓ Климов Г. А. (Москва). К категории инклюзива ~ эксклюзива в картвельских языках	29
✓ Тираспольский Г. И. (Сыктывкар). Становится ли русский язык аналитическим?	37
Богатова Г. А. (Москва). Эволюция внеязыковых связей слова и историческая лексикография (Постноминационная часть словарной статьи)	50
Хухуни Г. Т. (Тбилиси). Основные тенденции развития русской грамматической мысли первой половины XX в.	63
Асфандияров И. У. (Ташкент). Узбекские лексические элементы в русских переводах с узбекского	74
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Асланов Г. Н. (Баку). О культуре русской речи в Азербайджане	80
Меновщиков Г. А. (Ленинград). Структуры предложения с глаголами зависимого действия в эскимосском языке	87
Малкова О. В. (Москва). К проблеме второго полногласия	97
Акимова Г. Н. (Ленинград). Развитие конструкций экспрессивного синтаксиса в русском языке	109
Ивлева Г. Г. (Москва). О варьировании слов в немецком языке	121
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Рецензии	
Береснев С. Д. (Одесса). <i>Пиотровский Р. Г.</i> Инженерная лингвистика и теория языка	128
Граудина Л. К. (Москва), Синучкина Б. М. (Вильнюс). <i>Socialinés lingvistikos problemos</i>	131
Домашнев А. И. (Ленинград). <i>Маковский М. М.</i> Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании	134
Брагина А. А. (Москва). <i>Бабайцева В. В.</i> Русский язык. Синтаксис и пунктуация	137
Агаян Э. Б., Сукьясян Г. В. (Ереван). <i>Туманян Э. Г.</i> Структура индоевропейских имен в армянском языке	138
Сарджвеладзе З. А. (Тбилиси). <i>Ониани А. Л.</i> Вопросы исторической морфологии картвельских языков	141
Гайдаров Р. И. (Махачкала). <i>Услар П. К.</i> Табасаранский язык	144
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ	
Катагощина Н. А. (Москва). О языке лингвистических диссертаций (Письмо в редакцию)	146
Хроникальные заметки	150
Указатель статей, опубликованных в 1981 г.	155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешерцев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
Б. З. Панфилов (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора),
О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), *В. Н. Яцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

К IX МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

(Киев, 1983)

Международный научный съезд — это прежде всего обсуждение вопросов науки. При этом как бы само собой подразумевается, что на обсуждение выносятся вопросы спорные и важные, т. е. заслуживающие обсуждения и вместе с тем нерешенные (хотя есть ли вообще в науке вопросы, решенные окончательно? Новые материалы и новые аспекты заставят нас завтра смотреть по-новому на то, что до сегодняшнего дня считалось решенным). Наука — диалог, как известно. Добавим, что очень важно, чтобы этот диалог шел по правильному пути. Предстоящий в 1983 году в Киеве IX Международный съезд славистов усиленно готовится. Его основная тематика обсуждена, утверждена (и опубликована). Но конкретная программа с ее сотнями научных докладов — еще дело будущего (хотя и самого близкого). Заявленные и запланированные доклады в своей массе еще только пишутся. Стремлением помочь деловому, конкретному обсуждению, а также выдвижению актуальных проблем продиктована нынешняя инициатива — опубликовать ряд вопросов по славянскому языкознанию, чтобы затем получить на них краткие ответы и опубликовать их частично на страницах журнала «Вопросы языкознания», а полностью в отдельном сборнике. Когда эта инициатива родилась среди организаторов предстоящего съезда славистов, было указано на аналогичный очень успешный опыт при подготовке во многих отношениях замечательного IV Международного съезда славистов в Москве 1958 года (хотя сама эта инициатива «вопросов и ответов» восходит своими истоками еще к предвоенной практике съездов славистов). Прошло довольно много времени, и изменилась даже сама конфигурация проблем. Сказалась обычная для развития науки детализация проблем. На первый план выдвинулась межуровневая проблематика и — что особенно важно — задача кооперирования различных методик в силу возросшей сложности проблем. Именно так — кооперирования, взаимодополнения, а не конфронтации, хотя это последнее словечко проникло все же и в основную тематику съезда славистов. Разумеется, «вопросы» могли бы быть другие или о другом. И все-таки в предлагаемом варианте не упущено из виду главное: место науки о славянских языках в индоевропейском языкознании и в общей науке о языке, а также отношение к наукам о славянской и европейской истории и культуре.

Вопросы по славянскому языкознанию

1. Можно ли говорить о первоначальном бездиалектном состоянии праславянского языка?
2. Каковы возможности реконструкции диалектного членения праславянского языка (поздней поры, более древней поры)?
2. Каково реконструируемое соотношение праславянских диалектизмов разных уровней (лексики, фонетики-фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса)?

4. Какой вид имеют реконструируемые праславянские изоглоссы и можно ли говорить о четких праславянских ареалах (пучках изоглосс), предшествующих известному делению славянских языков на три группы?
5. Правомерно ли предполагать стабильную славянскую прародину или целесообразнее говорить о подвижности древней территории славян?
6. Праславянский язык — самобытный индоевропейский языковой тип или композиция языковых слоев различного происхождения?
7. Как вы представляете себе эволюцию отношений праславянского языкового ареала и индоевропейской прародины?
8. Какие этнолингвистические связи представляются вам определяющими при формировании и ранней истории праславянского языка?
9. Каковы перспективы реконструкции праславянского текста (текстов) и ее ресурсы (исторический синтаксис славянских языков, ономастика, паремиология, свободные словосочетания)?
10. Какая концепция балто-славянских языковых отношений является, по вашему мнению, наиболее адекватной сложному характеру этих отношений (первоначальное единство; древнее ареальное соседство; вторичное сближение первоначально особых и.-е. диалектов и т. д.)?
11. Как вы расцениваете своеобразие словообразовательно-морфологического развития славянского и балтийского (например, и.-е. флексия 3-го л. мн. ч. наст. -*ontī* в славянском и ее отсутствие в балтийском, и другие примеры)?
12. Как вы объясняете своеобразие эволюции славянского и балтийского вокализма и консонантизма?
13. Как вы представляете себе культурно-языковую ситуацию в Киевской Руси накануне введения христианства и усиления внешних влияний?
14. Каким представляется соотношение книжной и народной стихий в языке Древней Руси в разные эпохи и в разных функциональных сферах (первоначальное происхождение и вторичные модификации)?
15. Как характеризуется по современным данным соотношение книжнославянских и народных элементов в каждом из трех восточнославянских языков?
16. Каково состояние вопроса о словаре церковнославянских памятников русского извода (восточнославянских изводов), его взаимоотношении с русской и восточнославянской исторической лексикографией, а также лексикографией канонических старославянских (древнеболгарских) памятников?
17. Как вы понимаете практическую зависимость задач исторической лексикографии от объема соответствующей национальной книжнописьменной традиции по опыту разных славянских стран (проблема тезауруса, тип словарной статьи, полнота словника)?
18. Как вы охарактеризуете специфику различия между словарной (интенсивной) информацией о наличии слов в языке и фактической (экстенсивной) встречаемостью слов в тексте (по данным исторической лексикографии)?
19. Каковы перспективы воздействия лексикологии (общей, исторической, этимологической) на славянскую лексикографическую практику?
20. Каковы возможности конкретной лексикологии в решении принципиальных проблем истории русского литературного языка?
21. Каковы перспективы исследования лексической семантики славянских языков (современной, исторической, праславянской)?
22. Каковы возможности расширения типологических критериев при изучении славянской лексической семантики?
23. Какова, по вашему мнению, специфика отношений различных уровней славянских языков (фонетического, словообразовательно-морфо-

логического, лексико-семантического) в типологическом плане: изоморфизм, автономность?

24. Сколь активны и насколько характерны встречные процессы грамматикализации словообразовательно-лексических явлений и лексикализации грамматических в праславянском, в письменной истории и современных состояниях славянских языков?

25. Каково соотношение первичных ареалов языка и зон вторичного заселения в общей картине славянского диалектологического описания?

26. Должна ли славянская диалектология (лингвистическая география) оставаться строго описательной дисциплиной или допустимо ставить вопрос о методологическом обогащении ее критериями типологии, сравнительной истории и реконструкции (ср. уклон европейских межъязыковых атласов — ОИА и ЛАЕ — в историю)?

27. Как вы понимаете влияние славянского языкознания на общелингвистические теории типологии, сравнительно-исторических исследований и т. д.?

28. Какие коррективы вносит исследование славянских языков в теорию общезыковых универсалий и каких именно?

29. Как вы представляете себе дальнейшее совершенствование методов сравнительно-исторического и типологического изучения славянских языков?

30. Как демонстрируется на славянском языковом материале единство и неразрывная связь задач описания и интерпретации (отношение синхронии и диахронии)?

31. Какие резервы конкретной реконструкции праиндоевропейского языка дает славянское языкознание?

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КОТКОВ С. И.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ИЗДАНИЕ СКОРОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский литературный язык национальной эпохи формировался на основе устного разговорного фонда общенародного характера, обширной письменности делового содержания и, в известной мере, элементов церковнославянского языка. Поскольку бывшее состояние русской разговорной стихии получало некоторое отражение прежде всего в деловой письменности, значение последней для исследования и устного разговорного языка, и литературного языка данной эпохи, да и всего национального, является ключевым. Деловая письменность данного времени, за весьма немногими исключениями, — скорописная. Поэтому в разработке проблем истории русского языка XVI—XVII вв. и в немалой мере XVIII в. исследование скорописных памятников приобретает первостепенное значение.

Насколько отвечает этой задаче современное состояние изучения огромной массы скорописных текстов XVI—XVIII вв.? Мы не ошибемся, если скажем: лишь в минимальной степени. На первый взгляд, подобная оценка лингвистического освоения скорописного наследия представляется крайне заниженной: русисты располагают многочисленными публикациями скорописных материалов, подготовленных историками, а в последние два-три десятилетия появилось заметное количество исследований, основанных на данных деловой письменности XVII столетия. И тем не менее эти факты не отражают подлинного положения дел в изучении скорописного наследия.

Начнем с того, что издания историков осуществлялись, естественно, с учетом требований исторической науки, без специальной ориентации на филологические потребности. Так определялся и круг источников, которые входили в публикации, и последовательность осуществления изданий, и приемы передачи скорописных текстов в печатных воспроизведениях памятников.

К сожалению, русисты недостаточно осознавали профессиональную выборочность источников, которые были опубликованы историками, и пытались только на их основе решать существенные вопросы истории русского языка, иногда компенсируя их недостаточность современным диалектным материалом. Результаты исследований, основанных на сравнительно ограниченных и в отдельных случаях произвольно сопрягаемых источниках, порой однотонных в тематическом отношении, обыкновенно оказывались спорными.

При всем обилии подготовленных историками изданий скорописных текстов, лингвистам приходится иметь в виду: отбор их, естественно, был ориентирован на удовлетворение одной науки — науки исторической, и

вследствие этого, определенные тексты, связанные с определенной сферой жизни, а вместе с тем и языка, достаточно широко публиковались, а другие, связанные с той же сферой, пребывали в полном забвении.

Возьмем такую важную область, как феодальное землевладение. Документация, связанная с этой областью, «обусловлена существованием трех проблем: фиксации права владения землей, изменения в землевладении, государственного налогообложения подвластного населения» [1]. Важнейшими видами данной документации являлись многочисленные писцовые и сопутствовавшие им приправочные книги, а кроме того, отказные книги. И, тем не менее, историки, охотно издавая писцовые, не приступали к изданию отказных книг. Только в самое последнее время появилась публикация нижегородских отдельных и отказных книг 1596—1600 гг. [2]. Как видим, для историков являлось актуальным издание именно писцовых книг. Тенденция эта сохраняется. «Многое еще предстоит сделать, — пишут В. И. Буганов и А. А. Зимин, — в области издания писцовых книг... необходимо не только доиздать остающиеся неопубликованными писцовые книги (ярославские, рузские и др.), но и переиздать все калачевское издание, осуществленное совершенно неудовлетворительно» [3]. Об исследовании и издании отказных книг не говорится. Между тем для историков языка из всего состава рукописных книг, связанных с областью землевладения, наибольшее значение имеют отказные. Сравнение тех и других показывает это особенно наглядно. Писцовые составляли лица, присылаемые из Москвы, а отказные писали местные уроженцы. Из этого следует: писцовые книги, хотя и называются по местам, которые в них описаны, владимирскими, костромскими, орловскими, рязанскими, тульскими и т. д., являются в главном, в своей основе памятниками московского приказного языка; отказные книги, напротив, во многом являются памятниками живой народной речи, в некоторой степени и диалектной.

В писцовых книгах отражен словарь не столько живой народной речи, сколько приказной письменности, а его локальные элементы в основном составляют топонимы и собственные наименования лиц, а также названия бортовых знамен и, кроме того, обозначения некоторых особенностей ландшафта, например, на Юге такие слова, как *болонье* «заливной, поемный луг, или подгорье», *ерик* «небольшой ручей, старица», *колодезь* «речка, ручей», *струга* «поток», *яруга* «овраг» и др. В отказных книгах заметное место занимает лексика народной речи, а что касается локального словаря, то он представлен значительно шире, нежели в писцовых книгах, что связано с более подробным, по сравнению с последними, описанием разного вида земельных угодий и обстоятельным их обмежеванием, с фиксацией учитываемых при отводе земли определенных родственных отношений и некоторыми другими обстоятельствами.

О народно-разговорной доминанте в лингвистической содержательности отказных книг говорят и грамматические явления и, в особенности, фонетика; явственно проступает в книгах и диалектный колорит. В подобном характере доминанты лингвистической содержательности данных книг убеждают, например, такие частности, как обозначения растительных ориентиров [4]. Являя собою прежде всего памятники народно-разговорного языка, отказные книги в известной мере представляют и строй приказной письменности, что выражается главным образом в социально-правовой фразеологии и терминологии. С этой стороны они пригодны и для исследования данной письменности. Такого рода совмещения стихии живой народной речи и элементов указанной письменности в писцовых книгах нет. Имеет существенное значение и то немаловажное обстоятельство, что отказные книги представляют всю основную территорию южновеликорусского наречия, в изучении которого по памятникам наблюдается глу-

бокое отставание. Из сказанного об этих книгах следует: лингвисты не вправе ограничивать себя только тем репертуаром памятников, которыми оперируют историки.

Те или иные расхождения в оценке одних и тех же источников между историками и лингвистами — явления довольно частые. Мы говорим об этом не в укор историкам, поскольку многие расхождения являются правомерными, а лишь руководствуясь желанием привлечь внимание исследователей-русистов к интенсивной разработке рукописного наследия, в частности скорописного. Имеем в виду его исследование и непосредственно по рукописям и наименее опосредствованно — по лингвистическим изданиям памятников.

Видимо, прежде всего потому, что материалы старинной частной переписки, так называемые грамотки, публиковались порой не столько историками, сколько любителями старины, и более или менее ограниченно, да к тому же крайне упрощенно, что делало их непригодными для фонетических и морфологических исследований, эта замечательная разновидность памятников деловой письменности историками русского языка, в сущности, не использовалась. Приведение разрозненных примеров из грамоток, впрочем довольно редкое, положения не меняло. А что касается изучения грамоток по рукописным оригиналам, то вплоть до шестидесятых годов текущего столетия его в науке о русском языке не существовало. Если грамотки, отказные книги и другие скорописные источники, в которых живой русский язык, скажем, XVII столетия, получал выразительное отражение, были вне поля зрения русистов, выявление его конкретного облика оказывалось маловероятным. А без этого и разработка проблемы образования русского национального языка и особенно литературного лишалась существенных исходных данных. Прежде всего сказывалось отсутствие южновеликорусских материалов означенного времени.

Из всей старинной деловой письменности эпистолярные источники наиболее непосредственно передают живую стихию языка и, что представляется особенно важным, ее изменения во времени. Вследствие этого, с точки зрения установления абсолютной хронологии последних, показания грамоток являются оптимальными. Оптимальны они и в другом отношении: знакомят нас с такими фонетическими и иными явлениями и фактами из истории живой народной речи, которые могли получить отражение лишь в этих, наиболее «чувствительных» к их восприятию источниках. Например, в процессе изучения грамоток XVII в. нам впервые удалось обнаружить такую своеобразную особенность многих старинных народных говоров и северно- и южновеликорусского наречий и средневеликорусской полосы, как глухость согласных вместо звонкости и наоборот вне условий непосредственного ассимилятивного оглушения и озвончения [5]. Из отдельных фактов, дошедших до нас только в составе грамоток, отметим хотя бы глагол *облегчиться*, в форму которого *облегчись* еще в XVII и в начале XVIII в. облакалось пожелание-приглашение в смысле «будь легок на подъем, приезжай в гости». Подобное значение глагола *облегчиться* применительно к минувшим векам выявлено лишь в последние годы, в связи с публикацией старинных грамоток [6].

Неповторимое достоинство грамоток заключается далее в том, что из всех разновидностей деловой письменности едва ли не исключительно одна эпистолярная доносит до нашего времени отголоски живой интимной речи, выражавшей глубокие душевные переживания, любовь и дружеское расположение к особенно близким людям.

Не вводились в научный оборот и такие важные скорописные источники, как хроникальные вести-куранты. Забвение этих замечательных текстов не только исследователями-русистами, но и историками-медиевиста-

ми, прямо скажем, необъяснимо. Историки оставляли в стороне такую влиятельную информацию, которая в определенной мере ориентировала верхи Русского государства в сложных международных делах, а историки языка проходили мимо такой разновидности источников, которые широко представляли и лингвистические контакты России со странами Западной Европы, и возможности развития в условиях русской действительности языка публицистической литературы и периодики. Сопоставление русских переводов курантов с их сохранившимися оригиналами — номерами иностранных газет дает конкретное представление о состоянии культуры светского перевода в России XVII в. Сравнение черновых переводов вестей-курантов с соответствующими беловыми рукописями и затем ранних и более поздних черновики и беловики позволяет наблюдать процесс становления норм русского литературного языка того же самого времени. От лексики актовой и эпистолярной письменности словарный состав вестей-курантов отличается значительное своеобразие, что связано со спецификой событий, главным образом военных и политических, и общественно-экономических отношений, которые получали в них освещение. В известной мере с вестями-курантами сближаются в данном отношении только статейные списки.

Словом, каждая из обрисованных выше в общем плане разновидностей текстов (актовая, эпистолярная, хроникальная) обладает такой лексико-фразеологической, а в некоторой степени и синтаксической содержательностью, которую далеко не всегда находим в других разновидностях скорописных текстов того же самого времени. Отсюда ясно, насколько важно для успешной разработки истории языка не просто всемерное расширение количества вовлекаемых в исследование источников, что имеет преимущественное значение для экстенсивного изучения языка, но и расширение их качественного разнообразия, что обеспечивает в первую очередь его интенсивное изучение.

Отбор вовлекаемых в лингвистическое исследование старинных скорописных источников, вследствие их необыкновенного обилия, представляется достаточно сложным. Не вызывает сомнения, однако, его основной критерий: отбираются источники, оптимально удовлетворяющие с точки зрения лингвистической содержательности и информативности разработке наиболее актуальных проблем истории русского языка. В настоящее время, полагаем, такими являются следующие проблемы:

Язык великорусской народности как исходная база образования русского национального языка.

Значение народно-разговорной речи XVII—XVIII вв. в развитии национальной интеграции.

Степень северно- и южновеликорусского участия в начальном процессе формирования русского национального языка.

Формирование московского койне в XVII—XVIII вв. как определяющего центра национальной лингвистической общности.

Образование русского национального языка и его наиболее совершенного компонента — языка литературного.

Взаимодействие языка художественной литературы, народно-разговорной речи и языка деловой письменности XVII—XVIII вв.

Взаимодействие в XVII—XVIII вв. братских восточнославянских языков.

Глубокие исследования в данных аспектах послужат необходимой предпосылкой разработки со временем истории русского национального языка. Материальную базу разработки означенного круга актуальных проблем обеспечивают неисчислимые произведения старинной русской скорописи и все более и более возрастающий в течение XVII—XVIII вв.

состав печатных материалов. Поскольку церковнославянская стихия представлена в основном в произведениях уставного и полууставного письма, а в печатных нецерковных текстах ее влияние в то время постепенно ослабевало, проблему ее соотношения и взаимодействия с русскою стихией в тот исторический период причислять к наиболее актуальным не видим оснований.

Хотя применение русской скорописи наблюдалось уже в XIV в., подавляющая масса дошедших до нас старорусских скорописных текстов принадлежит XVI и, главным образом, XVII—XVIII вв. Поэтому проблематика, разработка которой обеспечивается материалами старой скорописи, ограничивается этим временем.

В рамках означенного выше общего критерия отбора источников, в зависимости от предмета исследования, необходимо применение и других, так сказать, специализированных критериев. Например, критерием отбора тех или иных скорописных текстов или их лингвистических изданий для исследования живой локальной речи служит подтверждаемая современными данными соответственных народных говоров или прямыми указаниями в означенных текстах принадлежность писавших эти тексты к местным уроженцам. А, скажем, критерием отбора текстов, представляющих язык приказной письменности, является принадлежность их, во-первых, писцам московских приказов, во-вторых лицам, тесно связанным с центральной администрацией, которые посылались из Москвы в различные города и уезды с целью составления там, например, писцовых книг.

Если в тексте нет прямых указаний на принадлежность писца к местным уроженцам, то установление этого факта во многих случаях осложняется приверженностью пишущего к орфографическим нормам. Значит, при прочих равных условиях в исследовании живой народной речи в ее историческом состоянии следует прежде всего опираться на менее грамотные тексты, соизмеря степень грамотности последних не с современной, кодифицированной, а с узуальной орфографией исследуемой эпохи. Однако основывать изучение живой народной речи прошлого на показаниях только таких написаний, которые расходились с орфографическими, совершенно неправомочно, поскольку письмо, при всей условности, несомненно обеспечивает правильную передачу основы живой общенародной речи и несколько менее — диалектной. Так, последовательно проведенные в рукописи соответствия букв определенных гласных определенным звукам в подударном положении, на фоне существенных отклонений от орфографии в передаче безударных гласных, едва ли можно всецело объяснять орфографической выучкой писавших, не видя в этих соответствиях правильной передачи произношения гласных. Усматривая в последней только следование твердо заученному правописанию, мы вправе были бы ожидать соблюдения правописных норм и в передаче безударных гласных. Особенно убедительна соотнесенность тех и других фактов в пределах одного почерка. Как видим, выявление через призму письма живой общенародной и диалектной речи предполагает рассмотрение отражений любого лингвистического явления в той или иной старинной рукописи непременно в соотношении с отражениями других лингвистических явлений, причем, повторяем, особенно убедительными являются результаты подобного соотношения в пределах одного и того же почерка. В результате указанного соотношения выясняется не только определенный компонент лингвистической содержательности источника (в данном случае — его вокализм), но и роль такого фактора, обуславливающего, наряду с другими, лингвистическую информационность источника, как орфографическая выучка писца. Установление принадлежности старинной рукописи перу

носителя определенного говора или наречия — самая трудная, а вместе с тем и самая важная задача, которая встает перед исследователем при изучении по памятникам и живой общенародной и диалектной речи. Помимо анализа представленных в рукописи отражений лингвистических явлений в соотношении с иными, опорой при выявлении говора писца могут служить и внесенные им или каким-нибудь справщиком в рукопись исправления. Они выявляют отдельные расхождения между говором писца, с одной стороны, и общенародной речью, с другой, не говоря уже о расхождениях с языком деловой письменности.

Когда из-за невозможности изучения всей массы определенного вида источников приходится ограничиваться исследованием всего лишь какой-то доли их, в основу отбора этих текстов должно быть положено прежде всего привлечение всех основных вариантов подобного рода источников, вариантов по содержанию. Например, исследование или издание всех дошедших до нашего времени челобитных даже одного XVII в., можно сказать, немыслимо. Что касается их основных вариантов, то они в общем прослеживаются и выборочно могут быть изучены и опубликованы. При всем разнообразии их содержания они, тем не менее, образуют группы более или менее однородных в том или ином отношении текстов. Таковы челобитные о наделении землей и связанные с земельными спорами, исковые имущественные и денежные, о пожаловании чего-либо или чем-нибудь, о розыске беглых крестьян и дворовых, по поводу разных видов бесчестья и др.

Выборочное исследование и издание таких разновидностей скорописных источников, которые дошли до нашего времени в ограниченном количестве, не может быть оправдано. Все они должны быть изучены и опубликованы. К подобному кругу источников принадлежат, например, грамотки.

Изложенные выше критерии и рекомендации, наряду с некоторыми другими, сложились в процессе осуществления в последние два десятилетия в Институте русского языка АН СССР изучения и издания скорописных памятников русского языка. Занимается этим Сектор лингвистического источниковедения и исследования памятников языка. Заметим: прежде лингвистических изданий скорописных памятников вообще не было. Намеченный сектором план изучения и публикации этих важных источников подчинен разработке наиболее актуальных проблем истории русского языка непосредственно преднационального и национального периодов. Принимая во внимание, что плодотворная разработка проблем образования национального языка и его наиболее совершенного компонента — литературного языка без выяснения строя народной речи того же времени невозможна, мы приступили к исследованию и изданию таких скорописных источников, в которых стихия этой речи представлена оптимально. В данном отношении эпистолярные тексты превосходят все другие. Поскольку грамоток сохранилось мало, а лингвистическое значение их исключительно, необходимо издание всего состава материалов частной переписки. Начало этому положено¹. В лингвистическом воспроизведении увидели свет свыше 1350 писем-грамоток. От их предшествующих публикаций, впрочем более или менее скромных, новые отличаются две особенности: во-первых, лингвистическое воспроизведение; во-вторых, принадлежность многих грамоток перу не только менее именитых, но и простых людей.

Предстоят дальнейшие разыскания в архивах материалов старинной частной переписки и издание этих материалов. Не имевшие юридического

¹ См. [7—8; 9, с. 15—43; 10]. Отдельные письма напечатаны в источниковедческих сборниках Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников.

значения, они не особенно берегались, почему дошедшие до нашего времени их незначительные остатки несут следы существенных повреждений, отдельных утрат и ветшания. Обнародование всех этих материалов — задача не только важная, но и безотлагательная. В совокупности с берестяными грамотками, которые без всяких на то оснований почему-то именуют грамотами, они высвечивают историю самого глубинного, с точки зрения исследования языка через призму письменности, пласта живой народной речи. Уступая берестяным в древности, бумажные грамотки в сравнении с ними являются более пространными и, вследствие этого, заключают более обширную лингвистическую содержательность, причем одни лингвистически опубликованные, не говоря уже об остальных, представляют большую территорию распространения русского языка, чем берестяные.

Хотя в актовой письменности живая народная речь проступает не так рельефно, как в грамотках, все же без исследования этой письменности, понятно, наряду с эпистолярной, невозможно более или менее достаточное познание народно-разговорной стихии в ее былом состоянии. Преимущество актовой письменности в том, что она, в отличие от эпистолярной, географически представляет не «оазисы», а весь массив русского языка и при этом в течение всего исследуемого периода. Кроме того, она содержит немало лексических элементов, заведомо свойственных народной речи, но вследствие тех или иных причин не получивших отражения в эпистолярных текстах или представленных в них крайне ограничено и в иных контекстуальных условиях, что небезразлично для выяснения семантики и грамматических качеств слов. В последние годы появилось несколько лингвистических публикаций материалов актового характера [9, с. 44—290; 11—14].

Наряду с отражениями явленной народно-разговорной стихии актовая письменность заключает в себе и отражения строя приказного языка. Известна влиятельная роль последнего в формировании национальной языковой культуры. Поэтому исследование актовых текстов и с этой, приказной, стороны представляется равно необходимым, как и исследование по ним отражений народно-разговорной речи.

Поскольку образование централизованного государства и формирование нации возглавляла Москва, изучение старинной московской речи, в которой лингвонациональное единство создавалось особенно интенсивно и являлось определяющим для страны, становится задачей первоочередной важности. Поэтому и предпринято было издание московских материалов XVII в. Это самые разнообразные бумаги делового содержания, писанные москвичами: челобитные, сказки, памяти, поручные записи и купчие, расспросные речи и др. Представлены и грамотки. От всех лингвистически опубликованных ранее московских текстов делового содержания, впрочем немногочисленных, лингвистически изданные в последнее время отличаются и принадлежностью, так сказать, рядовой писцовой братии, а не элите верховных канцелярий, и некоторой близостью к народному языку. Конечно, столичная писцовая братия, а также переводчики Посольского приказа и справщики Печатного двора ориентировались на московские литературные нормы, но так как последние в то время являлись в основном узуальными, в московской деловой письменности даже официального характера получали заметное отражение элементы народно-разговорной стихии, точнее, московского койне. Это обстоятельство, с одной стороны, обеспечивает широкую материальную базу изучения живой московской речи, скажем, XVII столетия, с другой — определенно затрудняет разграничение письменно-литературной и московской разговорной норм. С введением в научный оборот большого

круга московских источников XVI—XVIII вв. возможность такого разграничения, естественно, будет возрастать.

В свете изложенных проблем, с учетом некоторого продвижения в исследовании старинного скорописного наследия за последние два десятилетия и в научных учреждениях, и в вузах страны более или менее определено прорастают перспективы его изучения в ближайшие два десятилетия. Главной проблемой, разработка которой должна находиться в центре внимания, остается проблема образования и развития русского национального языка и особенно его наиболее совершенного, литературного компонента. Разработка всех иных проблем национальной истории языка предопределяется этой главной.

Поскольку основной базой сложения русского национального языка явилась великорусская общность — язык великорусской народности, предстоит интенсивное исследование и затем лингвистическое издание еще не знакомых историкам языка памятников деловой письменности XV—XVI вв. К ним относим прежде всего памятники московского происхождения, в которых великорусская общность выражалась наиболее рельефно, а также южновеликорусские тексты XVI столетия (более ранних нет), которые дают известное представление как об участии в данной общности, так и о диалектном своеобразии речевого уклада южновеликорусов.

Знание былого состояния южновеликорусского наречия — одна из главных предпосылок успешной разработки проблемы формирования русского национального языка. Между тем, изучение истории этого влиятельного наречия, в отличие от северновеликорусского и средневеликорусских говоров, по данным письменных памятников только начинается. Следовательно, необходимо прежде всего развернуть широкое выявление и исследование архивных материалов южновеликорусского происхождения, изучение их, а вместе с тем и прямое, и посредством публикаций введение в научный оборот. Отставание в исследовании подобных материалов является столь значительным, что потребуются немало усилий для его преодоления. Пока имеем лишь одно лингвистическое издание южновеликорусских текстов — печатное воспроизведение некоторой части отказных книг первой половины XVII в. Кроме того, подготовлено издание таможенных книг того же времени, связанных с южновеликорусской областью. Минимальная программа включения в исследование старинных южновеликорусских текстов представляется нам в виде серии исследовательских работ и публикаций, связанных с освоением в первую очередь таких собраний источников: отказные книги второй половины XVII в.; таможенные книги XVII в. и таможенные книги Камер-коллегии XVIII в.; отписные книги первой четверти XVIII в.; десяти XVII в.; челобитные XVII в.; купчие, меновные, данные, духовные и другие частноправовые акты XVII в.; сказки и расспросные речи XVII в.; ревизские сказки первой половины XVIII в.; грамоты XVII и первой половины XVIII в. Необходимо, далее, издание разнообразных текстов делового содержания, объединяемых принадлежностью к отдельным местам и основной южновеликорусской территории — воронежским, елецким, курским, орловским — и связывающих эту территорию с Москвой и южным Подмосковьем — тульским и калужским.

В процессе изучения южновеликорусских памятников и на базе их публикаций могут быть подготовлены материалы для словаря южновеликорусской письменности XVI—XVII вв. Необходимость в таких материалах очевидна. Отсутствие их весьма ограничивает развитие исторической лексикологии русского языка, поскольку без южновеликорусских данных историческая география многих слов и их семантические характеристики оказываются неполными и потому неверными. В то же время

подготовка словаря в собственном смысле этого слова, а не материалов для словаря, при слабом освоении южновеликорусской письменности XVI—XVIII вв. была бы преждевременной.

В образовании русского национального языка особая роль принадлежала центральной области Русского государства во главе с Москвой. Именно здесь выработка общенациональных лингвистических норм происходила наиболее интенсивно. Поэтому, наряду с вовлечением в исследование все более и более широкого круга московских текстов делового содержания XVII—XVIII вв., представляется важным и освоение аналогичных источников того же времени с территории Владимирского края, который, как и Москва, унаследовал и развил лингвистические традиции древней Северо-Восточной Руси. Исследование тех и других источников позволит, с одной стороны, показать, хотя бы в основных проявлениях, состояние живой народной речи центральной области России в XVII—XVIII вв., с другой — ретроспективно выявить некоторые особенности этой речи в эпоху великорусской народности. Хотя места, соотносимые с древней Северо-Восточной Русью, оставили нам и более древние скорописные тексты делового содержания, мы все же обращаемся к более поздним, и прежде всего к материалам XVII столетия. В сравнении с предшествующими эти источники разнообразнее и в жанровом, и в тематическом отношении, а кроме того, представлены не в списках, как многие из предшествующих, а оригиналами. Иногда в них обнаруживаем безусловно древние факты, однако, неизвестные ранней письменности. Приведем характерный пример. Со времени первого издания Псковской судной грамоты 1467 г., в которой содержится единственное употребление слов *изорник* и *изорничь*, в течение 120 лет не появлялось новых свидетельств былого существования этих слов и других, образованных от той же основы. А в ужиных книгах XVII в. Суздальского Покровского монастыря нам довелось отметить *изорные десятины*, а потом и *изоры* [15]. Как видим, это прямое свидетельство существовавших лингвистических связей Северо-Восточной Руси с великорусским Северо-Западом. Во владимирских текстах XVII в. обнаруживаем также отголоски связей Северо-Восточной Руси с южновеликорусской областью. Таковы, например, названия *корец* и *ночвы*, в которых обыкновенно усматривают типичные южновеликорусизмы [15]. Словом, исследование деловой письменности Владимирского края XVII в. заметно уточняет историческое взаимодействие заключенных в его пределах говоров и с Москвой, и с северо-западным и южным регионами русского языка. Обоснованное выделение полосы средневеликорусских говоров едва ли возможно без учета соответственных исторических данных. Не случайно намеченная в последние годы лишь по современным данным география средневеликорусских говоров не получила всеобщего признания.

Если специфика древнерусских памятников предопределяет их издание, за самыми редкими исключениями, вроде издания древних грамот, в виде монографических воспроизведений, то специфика старорусских памятников, в подавляющей массе скорописных, предопределяет их публикацию, напротив, в виде сборников. Однако из этого не следует, что монографические публикации скорописных памятников вообще невозможны или нежелательны. Во-первых, среди скорописных текстов имеются такие, которые можно издавать лишь монографически. К ним относятся, например, литературно-художественные произведения и, порой не лишенные художественных достоинств, так называемые статейные списки, или отчеты русских послов. Во-вторых, публикация скорописных источников именно в виде сборников обусловлена в настоящее время не только их спецификой, а и тем, что введение их в исследование в виде лингвистически подготов-

ленных изданий пока находится в начальной стадии, носит разведочный характер. На этой стадии главной задачей является предварительное «зондирование» наиболее обширной территории распространения русского языка и охват этим «зондированием» по меньшей мере основных разновидностей скорописных источников делового содержания. Когда в результате этого составится хотя и общая, но документированная картина состояния скорописного наследия XV—XVIII вв., естественно, определится круг источников, монографическое издание которых насущно необходимо для изучения русской лингвистической культуры данного периода.

Изучение последней непосредственно по рукописям и лингвистическим изданиям означает ее исследование не только в плане языка, возможное в какой-то степени и на базе иных изданий, изданий нелингвистических, но и в плане речи — с точки зрения реализации системы языка в конкретных речевых актах его конкретных носителей. Известно, что развитие языка знаменуют явления вариативности. Для суждения об этом развитии необходимо знать, какие варианты и в каком взаимодействии существовали в том или ином лингвистическом образовании — языке, наречии, говоре, и в первую очередь в пределах индивидуального речевого уклада. Такие данные наиболее надежно документируют внутреннее развитие языка, абсолютную хронологию возникновения в нем или отмирания каких-либо явлений и отдельных фактов. В рукописи индивидуальный речевой уклад выделяется своеручным почерком его носителя. Примечаниями выделяются почерки, а с ними и речевые уклады писавших в лингвистических изданиях старинных текстов.

Изучение языка непосредственно по рукописям и лингвистическим изданиям имеет и другое преимущество — в них так или иначе прослеживается орфографическая выучка, а непосредственно в рукописях и графика писавших, следовательно, и степень информативности источников в передаче некоторых норм живой народной речи, особенно диалектной, не согласуемых с правописными.

Осуществление исследований в плане речи, частью и в плане языка, предполагает глубокое знание скорописи, развитие культуры ее чтения, которой русисты-историки, за весьма немногими исключениями, в общем не владеют. Заметим кстати: осведомленность в скорописи уберегает исследователей и от некритического восприятия массы опубликованных скорописных текстов, воспроизведенных в изданиях нелингвистически. Изучение старинной русской скорописи должно непременно входить в программу подготовки русистов-историков.

По мере того как прошлое, отраженное в рассматриваемых источниках, уходит от нас все далее, все более сложной становится смысловая интерпретация данных текстов, поскольку для этого необходимы не только лингвистические и общие исторические познания, но и конкретные представления о вседневном быте наших предков, их духовной и материальной культуре, о той совокупности предметов и понятий, обозначения которых для современных людей, в том числе и исследователей-русистов, являются глубокими историзмами, либо с недостаточной ясностью, либо с неизвестной семантикой. Пока не поздно, следует приступить к созданию обстоятельного словаря русских исторических реалий и понятий. В отличие от исторических словарей, в нем, кроме значений слов, должны быть представлены и описания обозначаемых этими словами исторических реалий и понятий. Поскольку историзмов не так много, словарь не может быть обширным. По типу он представляется близким к энциклопедическим.

Изучение и введение в научный оборот скорописных памятников русского языка в их полноценном виде является одним из главных условий

успешной разработки его истории эпохи национального развития и проявления некоторых моментов его состояния в древности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Источниковедение истории СССР. Под ред. Ковальченко И. Д. М., 1973, с. 125.
2. Анпилогов Г. Н. Нижегородские документы XVI века (1588—1600 гг.). М., 1977, с. 210—404.
3. Буганов В. И., Зимин А. А. О некоторых задачах специальных исторических дисциплин в изучении и издании письменных источников по истории русского средневековья. — История СССР, 1980, № 1, с. 122.
4. Котков С. И. Отказные книги. — ВЯ, 1969, № 1.
5. Котков С. И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 232—234.
6. Котков С. И. Сказки о русском слове. М., 1967, с. 70—71.
7. Котков С. И., Панкратова Н. П. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964.
8. Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А. И. Безобразова). Издание подготовили Котков С. И., Тарабасова Н. И. М., 1956.
9. Московская деловая и бытовая письменность XVII века. Издание подготовили Котков С. И., Орешников А. С., Филиппова И. С. М., 1968, с. 15—43.
10. Грамотки XVII — начала XVIII века. Издание подготовили Тарабасова Н. И., Панкратова Н. П. Под ред. Коткова С. И. М., 1969.
11. Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. Издание подготовили Котков С. И., Коткова Н. С. М., 1977.
12. Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край. Издание подготовили Котков С. И., Филиппова И. С., М., 1978.
13. Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974, с. 285—355.
14. Котков С. И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 81—111.
15. Котков С. И., Саеченко Н. Ф. Монастырские фонды рукописей во Владимирском областном архиве (XVII — нач. XVIII в.). — В кн.: Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969, с. 216, 218.

БОНДАРКО А. В.

О СТРУКТУРЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

(Отношения оппозиции и неоппозитивного различия)

1. **П о с т а н о в к а в о п р о с а.** В структурной организации грамматических категорий наиболее существенным представляется принцип объединения грамматических классов и единиц, конституирующих данную категорию. Основой для такой интеграции служит обобщенное значение (например, значение времени), объединяющее — как родовое понятие — значения компонентов данной категории. Семантическая оппозиция — отношение, подчиненное указанному принципу. Это лишь один из способов объединения компонентов грамматической категории. Существенную роль в категориальной структуре может играть другой способ — отношение неоппозитивного различия. Таков основной тезис, развиваемый в данной статье.

Элементом структуры грамматической категории может быть не всякое различие, а лишь различие в рамках определенного семантического единства. Таким единством служит то родовое понятие, по отношению к которому различающиеся значения компонентов категориальной структуры являются понятиями видовыми. Оппозитивные отношения связаны с более полным единством, т. к. в этом случае налицо единое основание членения «семантического пространства» данной категории (такова, например, оппозиция значений совершенного и несовершенного видов в славянских языках). Отношения неоппозитивного различия связаны лишь с относительным единством содержания при отсутствии полной однородности значений членов категории. Видовые понятия могут относиться к разным аспектам родового понятия, заключая в себе как соотносительные, так и несоотносительные признаки. Основание для членения, представленное общим родовым понятием, не является при этом абсолютно единым.

Отношение неоппозитивного различия связано с принципом естественной классификации¹. Применительно к языковым явлениям (в частности, к структуре грамматических категорий) естественная классификация понимается нами как объективно существующее в данном языке членение, характеризующееся 1) возможными отклонениями от полного единства основания данного членения; 2) вытекающей отсюда возможной неоднородностью признаков, присущих компонентам целого; каждый из них может включать как соотносительные, так и несоотносительные признаки, не находящие соответствия в других компонентах; 3) связанной с этим возможностью пересечения классов. Описание, отражающее естественную классификацию, отличается онтологической ориентацией.

Предметом анализа в данной работе является содержательная структура грамматических категорий, зафиксированная категориальными

¹ Содержание данного принципа (при разной терминологии) раскрывается в работах Л. В. Щербы [1], В. М. Жирмувского и ряда других ученых [2—4]. С принципом естественной классификации тесно связаны идеи полевой структуры и многомерности грамматических явлений в освещении В. Г. Адмони [см. 5].

формами. Речь идет об отношениях между категориальными значениями грамматических форм.

2. Категориальные структуры, включающие отношение неопозитивного различия. Языковой материал. Приведем некоторые примеры категорий указанного типа.

В ряде языков, судя по имеющимся описаниям, отношение неопозитивного различия характеризует структуру категории наклонения [см., в частности, 6—9].

В русском языке морфологическая категория наклонения объединяет ряды форм изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений. Обычно оппозитивная структура этой категории (как в русском языке, так и в других языках с аналогичной системой наклонений) не вызывает сомнений. Выделяется либо оппозиция прямого (изъявительного) и косвенных (сослагательного и повелительного) наклонений (по принципу привативной или эквиполентной оппозиции) с последующим выделением оппозиции сослагательного и повелительного наклонения, либо трехчленная эквиполентная оппозиция.

На наш взгляд, вопрос о типе структуры рассматриваемой категории нельзя считать решенным. Есть основания думать, что в этой структуре представлено отношение неопозитивного различия. Приведем некоторые соображения в пользу данной точки зрения.

Побудительность однородна с реальностью и возможностью лишь в том отношении, что все эти семантические признаки являются модальными. Однако в рамках модальности побудительность относится к особой плоскости, затрагивающей отношения между говорящим как источником модального признака и слушающим (или другим лицом) как производителем действия. Эта плоскость не совпадает с той плоскостью модальных отношений, к которой относятся признаки реальности и ирреальности². Поэтому отношение между побудительностью, реальностью и ирреальностью не может рассматриваться как оппозиция. Необходимым признаком оппозиции является единое основание. Здесь же такого основания нет.

Обратимся теперь к категории вида. Структура этой категории варьируется по языкам. В славянских языках категория вида основана на бинарной грамматической оппозиции. Иной структурный тип категории вида представлен в английском языке. Вид английского глагола как система форм прогрессива, основного и перфектного разрядов³ включает отношения неопозитивного различия (оппозицию представляет лишь соотношение прогрессива и основного разряда; перфект же относится к иной плоскости; в целом налицо принцип естественной классификации при отклонениях от единого основания членения).

Аналогичный характер естественной классификации имеет соотношение презентных, аористических и перфектных основ в древнегреческом языке [см. 12].

Говоря о видовых формах в китайском языке, Н. В. Солицева и

² О. Есперсен, подчеркивая особенности повелительного наклонения по отношению к изъявительному и сослагательному, писал о повелительном наклонении: «Это — наклонение воли, так как его главная функция — выражать волю говорящего, хотя только — что весьма важно — в той мере, в какой она должна воздействовать на поведение слушателя...» [10, с. 363].

³ См., например, [11]. Разумеется, возможно выделение оппозиций: «прогрессив : не-прогрессив», «перфект : не-перфект», однако это несколько не меняет того факта, что в целом видовые формы английского глагола связаны друг с другом не только отношениями оппозиции, но и неопозитивного различия.

В. М. Солнцева констатируют между ними отношение эквиолентной оппозиции, причем истолкование этого понятия авторами включает отношения неопозитивного различия: «В основе объединения форм в эквиолентные оппозиции лежат разные семантические признаки (разные значения) соответствующих форм. Соответствующие формы не обязательно противопоставлены по этим признакам, они могут просто различаться этими признаками (значениями). Так, в паре *-и-* — *-го* формы противопоставлены по признаку кратности действия: форма на *-и-* выражает однократность, форма на *-го* — многократность. В паре *-ла* — *-го* формы противопоставлены по признаку перфектности/имперфектности: *-ла* передает значение перфектности действия, а *-го* — имперфектности, которое базируется, по-видимому, как было сказано выше, на признаке (значении) многократности. Пара *-ла* — *-чжэ* различается наличием разных значений: у *-ла* — значение совершенности, недлительности, точечности, у *-чжэ* — значение длительности, отсутствие точечности действия» [13, с. 100—101, ср. 14, с. 73—170; 15].

Структура категории залога в тех языках, где эта категория не ограничивается противопоставлением актива и пассива, представляет собой сложное многочленное соотношение, в котором так или иначе представлено различие естественных классов, выходящих за пределы единого основания членения.

Категория числа имен существительных в тех языках, где помимо ед. и мн. числа существует двойственное число, имеет структуру, в которой оппозитивные отношения дополняются отношением неопозитивного различия. Двойственное число, как известно, характеризуется не только чисто количественным признаком, но и признаком парности, заключающим в себе элемент тесной связи между двумя лицами или предметами. Последний признак выводит двойственное число за пределы чисто оппозитивных отношений.

Нельзя свести к единому основанию членения категорию падежа. Разумеется, по тем или иным содержательным признакам между отдельными падежными формами и их комбинациями в данном языке можно установить отношения оппозиции [см., например, 16], однако в целом система падежных форм строится на отношении различия между значениями, не подчиненными единому классификационному принципу.

Не всегда тип отношений между компонентами грамматической категории (т. е. граммемами) может быть определен однозначно. Встречаются переходные случаи, когда в одном и том же отношении между компонентами категории можно констатировать признаки как оппозиции, так и неопозитивного различия. В частности, в категории лица в русском языке (и не только в русском) таково отношение 3-го лица к 1-му и 2-му. Формы 3-го лица, с одной стороны, соотносены с формами 1-го и 2-го лица как выражающие отнесенность действия к лицу, не являющемуся ни говорящим, ни собеседником (в этом проявляется однородность признаков 1-го, 2-го и 3-го лица, единство принципа членения), а с другой стороны, обнаруживают особое свойство — способность выражать отнесенность действия к неодушевленному предмету. Таким образом, значение 3-го лица выходит за пределы оппозитивного отношения.

Собственно оппозитивные отношения в структуре категории лица осложняются также безличной функцией формы 3-го лица ед. числа (*Светает*), неопределенно-личной функцией форм 3-го лица мн. числа (*Его здесь любят*) и обобщенно-личной функцией формы 2-го лица ед. числа (*Тебя не поймешь*). Указанные значения, разумеется, относятся к семантике лица, однако они не составляют одного ряда с отнесенностью действия к 1-му, 2-му и 3-му лицу.

Несомненно, существует зависимость между отношениями оппозиции и неопозитивного различия, с одной стороны, и соотношением двучленных и многочленных категорий, с другой. Для двучленных категорий характерна оппозитивность, тогда как многочленные категории могут быть связаны как с оппозициями, так и с неоппозитивными различиями.

О многочленных категориях, включающих в свою структуру отношение неоппозитивного различия, уже шла речь. Приведем некоторые примеры многочленных категорий оппозитивного типа. Категория времени в русском языке базируется на противопоставлении рядов временных форм (настоящего, прошедшего, будущего времени) по однородным признакам одновременности, предшествования и следования, выделяемым на основании единого принципа членения [см. 17, с. 626—636]. На отношении оппозиции (градуальной) основана в ряде языков структура трехчленной категории степени сравнения прилагательных и наречий. В китайском языке некоторыми исследователями выделяется грамматическая категория ориентации (направленности), связанная с разграничением трех ориентаций: нейтральной, приближающей и удаляющей [см. 14, с. 159—163]. Таким образом, описание фиксирует трехчленную структуру оппозитивного типа (в данном случае представлен особый структурный подтип, включающий нейтральный компонент).

Нередко многочленные грамматические категории, в целом относящиеся к неоппозитивному типу, включают вместе с тем и оппозитивные отношения между частью граммем. Таким образом, в пределах одной грамматической категории могут совмещаться отношения неоппозитивного различия и оппозиции (ср. приведенные выше примеры).

До сих пор, говоря о типах отношений между членами грамматической категории, мы имели в виду их категориальные значения. Если же учесть семантический потенциал граммем в полном его объеме, т. е. весь комплекс регулярных и устойчивых семантических функций данной формы, то соотношения граммем окажутся еще более сложными. Это касается, в частности, грамматических категорий оппозитивного типа. Так, далеко не все функции совершенного (СВ) и несовершенного вида (НСВ) в русском языке являются соотносительными. Наряду с соотносительными функциями, образующими оппозиции (ср. конкретно-фактическую функцию СВ и конкретно-процессную функцию НСВ), выступают функции несоотносительные или лишь отчасти соотносительные. В таких случаях речь может идти лишь об отношении неоппозитивного различия. Отметим неполную соотносительность неограниченно-кратной функции НСВ и наглядно-примерной функции СВ, несоотносительность связанной с НСВ функции выражения постоянного соотношения, специфические особенности обобщенно-фактической функции НСВ, не сводимые к оппозиции с конкретно-фактической функцией СВ [17, с. 607—613; 18]. Таким образом, даже категории оппозитивного типа выявляют такие соотношения их компонентов, связанные с полифункциональностью и семантической вариативностью, которые не укладываются в понятие оппозиции.

3. К характеристике отношений неоппозитивного различия и оппозиции в структуре грамматических категорий. Говоря о неоппозитивном различии и оппозиции⁴, мы имеем в виду отношения, существующие между значениями компонентов грамматической категории как реальными единицами

⁴ Оппозиция справедливо рассматривается как особый тип различия [см. 19, с. 177—189]. Однако выделение этого типа различий и закрепление за ним специального термина позволяет оперировать противопоставлением оппозиции и различия, имея в виду различия за пределами оппозиций. Соотношение оппозиции и различия (неоппозитивного) трактуется нами именно в этом смысле.

языкового содержания (связанными с определенным языковым выражением). Если между этими значениями как «готовыми данностями» нет непосредственных отношений однородности, основанных на едином принципе членения, мы констатируем отношение различия, а не оппозиции. Это относится и к тем случаям, когда исследователи, так или иначе комбинируя значения части компонентов данной категории и объединяя их по тому или иному признаку, находят внутренние связи однородности, противопоставления, восхождения к единому принципу членения через ряд опосредующих звеньев в цепочке бинарных членений⁵.

Сказанное выше имеет отношение к целому ряду многочленных грамматических категорий. Так, при анализе трехчленной системы изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений в русском языке можно построить схему, в которой, как это нередко и делается, повелительное и сослагательное наклонения объединяются по признаку ирреальности, а косвенные наклонения по этому признаку противопоставляются изъявительному наклонению (последнее либо рассматривается как немаркированный член оппозиции, либо наделяется признаком реальности). То же самое можно представить в схеме иерархического членения функций: общее значение модальной характеристики действия по признаку реальности/ирреальности расщепляется на его составные элементы, из которых значение ирреальности далее членится на значения возможности (или предположительности) и побудительности. Наша трактовка отношений между значениями компонентов грамматических категорий основана не на таких членениях и объединениях, а на парадигматических соотношениях реально выражаемых значений каждого из наклонений, каждого из чисел и т. д. Мы стремимся учесть реальное своеобразие каждого из этих значений в его отношении к другим значениям, объединенным в данной категориальной системе.

В рамках изложенной выше точки зрения оппозиция как один из типов категориальных структур не представляет собой элемент искусственной классификации. Оппозиция относится к искусственным классификациям лишь в том случае, когда она трактуется как некоторый заданный логический принцип, проецируемый на языковые категории. Мы же рассматриваем оппозитивные структуры в одном ряду с неопозитивными как элементы языковой онтологии, в данном случае — реально существующей системно-структурной организации грамматических категорий. Как оппозиции, так и неопозитивные различия включаются в общую более широкую область естественной классификации языковых структур.

Подчеркнем еще раз: объединение форм, конституирующих грамматическую категорию, представляет собой наиболее существенный постоянный признак системно-структурной организации грамматических категорий, находящийся на высшей ступени иерархии, тогда как отношения оппозиции и неопозитивного различия между компонентами категории — лишь переменные частные признаки более низкого уровня. Объединение форм

⁵ Такова, например, схема падежных функций в интерпретации Г. П. Мельникова. Автор подчеркивает имманентную системность и иерархичность падежных функций, системную взаимообусловленность падежей, сводимость их функций в конечном счете (через несколько ступеней функциональной иерархии) к единству принципа членения [см. 20]. Даже если допустить, что построенная Г. П. Мельниковым дихотомическая схема (в виде дерева с последовательно бинарным членением) действительно отражает опосредованные связи между отдельными падежными значениями, это несколько не меняет того факта, что в парадигматической системе падежей данного языка непосредственное единство их значений как элементов одного и того же принципа членения отсутствует. Так, в падежной системе русского языка нет единого основания у таких функций, как партитивная (родит. п.), адресатная (дат. п.), собственно сопроводительная (твор. п.).

в единое целое, в единую категориальную систему — это сущностный признак грамматической категории, отражающий ее качественную специфику. Что же касается отношений оппозиции и неопозитивного различия, то они лишь конкретизируют возможные формы, способы объединения компонентов категориальной системы.

Оппозиция представляет собой наиболее «сильный» тип объединения компонентов грамматической категории. В этом случае их значения предполагают друг друга (например, значение несовершенного вида не существует вне связи со значением совершенного вида) или по крайней мере соотносятся друг с другом как однородные значения, основанные на едином принципе членения. Последняя оговорка необходима по отношению к многочленным оппозициям. Обычно подчеркивается, что члены грамматических оппозиций по своим значениям предполагают друг друга. На наш взгляд, это действительно лишь для двучленных оппозиций (причем и в этом случае противочлен может иметь различный характер, в зависимости от строя языка и конкретных особенностей данной грамматической категории)⁶. Что касается многочленных оппозитивных категорий, то их компоненты находятся в сложных отношениях соотносительности, для которых взаимное предположение не является ни обязательным, ни всеобщим, т. е. охватывающим все члены оппозиции. Так, соотносительны компоненты категории времени, различающиеся по отношению к грамматической точке отсчета (моменту речи или другому моменту, принимаемому за основу временных соотношений). Однако о логически однозначном «взаимном предположении» можно говорить лишь по отношению к понятийным сферам настоящего, прошлого и будущего. Что же касается состава и конкретных значений форм времени, то, как известно, здесь наблюдаются существенные расхождения между языками. Положение осложняется существующей во многих языках тесной связью времени и вида, а также времени и наклонения.

Неопозитивное различие представляет собой ту форму объединения грамем, которую можно условно назвать слабой. В данном случае отклонения от единого принципа членения приводят к возможности относительного обособления того или иного из компонентов категории. Хотя все компоненты объединяются принадлежностью их значений к некоторой общей семантической области, представляющей собой родовое понятие по отношению к значениям отдельных грамем как понятиям видовым, все же значения отдельных компонентов категории, как уже говорилось, могут относиться к разным аспектам общего родового понятия, к разным плоскостям. Отметим обособленное положение форм перфекта в трехчленной видовой системе древнегреческого глагола, обособленное положение форм повелительного наклонения в многочленной категории наклонения. Во всех подобных случаях находит проявление тенденция к относительному обособлению тех грамем, значение которых содержит специфические признаки, отделяющие их от других членов данной системы, нарушающие полную и последовательную соотносительность однородных значений, т. е. вносящие в систему элементы неоднородности.

Признание существенной роли категориальных структур, выходящих за пределы грамматических оппозиций, имеет непосредственное отношение к изучению взаимных связей грамматики и лексики. При таком подходе становится очевидным, что в принципах системно-структурной организации грамматики и лексики наряду с глубокими различиями есть и сближения, переходные типы и пересечения. По своей структуре грамматиче-

⁶ Так, по мнению С. Е. Яхонтова, в китайском языке «отсутствие *-теп* не означает ед. числа и имеет лишь остаточное значение» [см. 21].

ские категории, включающие отношение неопозитивного различия, более тесно связаны с группировками лексико-грамматических разрядов, ближе к этим группировкам, чем категории, базирующиеся на отношении оппозиции. Отношение неопозитивного различия характерно для системно-структурной организации лексико-грамматических разрядов (ср., например, соотношения разрядов имен существительных конкретных, отвлеченных, вещественных и собирательных, а также такие способы действия, как начинательный, завершительный, дистрибутивный, ограничительный, сопроводительный и т. д.). Оппозиции в этой области возможны (ср., например, соотношение глаголов многоактного и одноактного способов действия типа *моргать — моргнуть*), однако в целом господствуют неопозитивные различия.

Отношения оппозиции и неопозитивного различия в структуре грамматических категорий могут находить отражение в связях грамматической категории с лексикой. Так, тенденция к относительному обособлению тех граммем, значение которых содержит специфические признаки, отделяющие их от других членов данной системы, может сопровождаться (хотя и не обязательно сопровождается) лексическими ограничениями. Таковы, например, лексические ограничения, связанные с формами повелительного наклонения в русском языке (в отличие от изъявительного и сослагательного), а также ограничения, характерные для форм двойственного числа (например, в древнерусском языке), и т. д.

4. Отношение неопозитивного различия и принцип избирательности. Рассматриваемое отношение между значениями компонентов грамматической категории, на наш взгляд, тесно связано с «принципом избирательности» (в понимании Б. А. Серебренникова) [см. 22]. На наш взгляд, этот принцип распространяется и на структуру грамматических категорий. Применительно к этой области языковых структур принцип избирательности может быть истолкован следующим образом. «Семантическое пространство», связанное с данной категорией (область аспектуальных, залоговых, модальных значений и т. д.), не всегда без остатка распределяется между компонентами данной категории. Не всегда значения этих компонентов противопоставлены друг другу и дополняют друг друга в пределах одной и той же плоскости однородных значений. Возможны отношения иного рода: в пределах данного семантического пространства язык «избирает» отдельные значения, которые в своей совокупности в части случаев не заполняют собой это пространство без остатка, находятся в разных плоскостях (хотя они и объединяются общей принадлежностью к модальности, аспектуальности и т. д.). При этом разные языки могут по-разному осуществлять такой выбор, относя выражение части необходимых значений к области лексики и контекста.

Языковым фактом, который должен найти отражение в лингвистическом описании, является зафиксированный в данном языке «результат выбора» — система определенных грамматических форм (рядов форм), используемых для выражения значений, связанных с данной категорией, — парадигма или комплекс парадигм.

Грамматическая избирательность далеко не всегда следует формально-логическим правилам, например, правилам деления объема понятия. Коммуникативная ориентация избираемых для регулярного грамматического выражения значений (из числа семантических элементов, которые в принципе могли бы быть выражены), распределение потенциально грамматических содержаний (таких, которые в принципе в том или ином языке могут быть выражены грамматически) между морфологией, синтаксисом, лексикой, контекстом, различными комбинированными средствами выражения,

включая «скрыто грамматические», — все это нарушает схемы и принципы системно-структурной организации, которые нередко приписываются языку. Исследователь должен внимательно изучать своеобразие языковых структур, которые во многих случаях имеют более сложный и «неправильный» характер, чем схемы типа универсальных бинарных оппозиций.

Принцип избирательности вносит существенные коррективы в реализацию в языке родо-видовых отношений. Родовое понятие, лежащее в основе семантического пространства, связанного с данной грамматической категорией, может соотноситься с такими видовыми понятиями — значениями граммем, которые, во-первых, фиксируют лишь отдельные узлы и фрагменты в этом пространстве, не исчерпывая его без остатка; во-вторых, не обязательно базируются на едином основании членения. Это связано с тем, что общее родовое понятие, лежащее в основе семантики данной категории, может предполагать не одну, а несколько плоскостей, в которых размещаются видовые понятия — значения отдельных граммем. Так, общее родовое понятие аспектуальности предполагает несколько разных аспектуальных плоскостей, причем эти разные плоскости могут быть представлены в одной парадигматической системе форм вида (ср. упомянутую выше систему видовых форм английского глагола).

5. К определению понятия грамматической категории. Разграничение отношений оппозиции и неопозитивного различия связано с признанием многообразия структуры грамматических категорий в языках разных типов. Существенными особенностями отличаются категориальные структуры в языках, для которых характерны проявления необязательности грамматических категорий [13, с. 96—106; 23—25]. Структурное многообразие выявляется и в грамматических категориях, базирующихся на разных типах грамматических оппозиций (в частности, привативных, эквиолентных и градуальных).

В связи со сказанным выше представляются обоснованными те определения грамматической категории (в универсально-типологическом плане), которые предусматривают варьирование типов категориальных структур. Так, можно согласиться с определением, согласно которому грамматическая категория представляет собой «обобщенное значение, последовательно выражаемое в данном языке системой грамматических форм, структура которых зависит от морфологического типа языка» [см. 26] ⁷.

Можно предложить следующее определение (как одно из возможных): грамматическая категория — это система грамматических форм, объединенных на основе общности того родового значения, по отношению к которому значения отдельных членов категории являются видовыми; эти значения могут находиться в отношениях как оппозиции, так и различия; структура грамматических категорий может варьироваться в зависимости от строя языка.

В соответствии с этим общим определением могут формулироваться и определения отдельных грамматических категорий в том или ином языке. Например, категория времени глагола в русском языке может быть определена как система, объединяющая ряды грамматических форм, выражающих отношение времени действия к моменту речи или какому-либо иному моменту, служащему точкой отсчета временных отношений.

⁷ Заметим, что указание на последовательность выражения обобщенного значения системой грамматических форм, справедливое для многих языков, не может быть применено к тем языкам, где грамматические категории проявляют признаки необязательности [см. 23—25]. Таким образом, определение грамматических категорий, рассчитанное на факты языков разных типов, на наш взгляд, целесообразно сформулировать в более общей форме, без данного указания.

Данное выше общее определение не исключает более конкретных дефиниций, конкретизирующих особенности категориальных структур того или иного языка или круга языков, в частности, возможное наличие нехарактеризованных (нейтральных) форм, включающихся в отношения оппозиции и различия⁸.

6. Отношение к существующим интерпретациям категориальных структур. Изложенная выше точка зрения противостоит распространенному тезису о том, что грамматическая категория всегда базируется на отношении оппозиции. Из последнего положения исходят как концепции, постулирующие существование лишь бинарных оппозиций, так и концепции, предполагающие возможность существования не только двучленных, но и многочленных грамматических оппозиций.

Сущность нашего подхода к вопросу о грамматических оппозициях заключается не в отрицании принципа оппозиции, а в определенном истолковании его статуса. Данный принцип трактуется нами не как всеобщий и универсальный, а как один из частных принципов системно-структурной организации грамматических категорий, подчиненных принципу объединения компонентов категории.

В истории разработки вопроса о грамматических оппозициях (в конце 50-х — начале 60-х гг. и в более позднее время) уже был сделан шаг в сторону признания большего многообразия типов структуры грамматических категорий. В ряде работ отстаивалась мысль о том, что бинарные привативные оппозиции (в трактовке Р. О. Якобсона) являются не единственно возможным и всеобщим принципом системно-структурной организации грамматических категорий, а лишь одним из типов такой организации [28—32]. В частности, отмечалось, во-первых, существование не только двучленных, но и многочленных грамматических оппозиций, а во-вторых, существование оппозиций не только привативных, но и эквивалентных, а также градуальных (в духе общей теории оппозиций Н. С. Трубецкого).

Трактовка отношения неопозитивного различия как одного из возможных типов структуры грамматических категорий означает, на наш взгляд, следующий шаг к более полному отражению реального многообразия типов категориальных структур. При таком подходе оппозиции находят себе место среди других форм и способов объединения компонентов грамматических категорий.

Вопрос о роли отношения неопозитивного различия в структуре грамматических категорий до сих пор, насколько нам известно, специально не рассматривался. Однако высказывались некоторые общетеоретические положения, имеющие отношение к данной теме.

Необходимость учитывать реальное многообразие отношений, существующих в языке, и отличать оппозиции от иных типов отношений между

⁸ О многообразии типов отношений между категориальными значениями см. [27]. Здесь рассматриваются, в частности, а) отношения между видовыми значениями, не являющимися противоположными по своему характеру, но находящимися в отношении соподчинения общему для них родовому понятию (например, значения видов законченности действия, продолженного или длительного действия, многократности, обычности действия в нивхском языке); б) отношения между членами оппозиции, которые не могут быть подведены под какой-либо из устанавливаемых формальной логикой типов отношений понятий по содержанию и объему (например, отношения между различными падежами существительного в нивхском языке); в) отношения, при которых значение одной из категориальных форм соизмеримо со значением грамматической категории в целом, т. е. родовое понятие, фиксируемое грамматической категорией, выражается также и одной из категориальных форм (например, соотношение форм ед. и мн. числа в языках синтетическо-агглютинирующего типа, в частности, в нивхском) [см. 27, с. 278—280].

языковыми единицами, подчеркнута Т. В. Булыгиной [см. 19]. Автор справедливо отмечает, что оппозициям, членами которых являются единицы плана содержания, соответствуют лишь различия в плане выражения [см. 19, с. 193—196]. В плане содержания в статье Т. В. Булыгиной, в соответствии с ее темой, рассматриваются именно оппозиции, но не различия.

Отношение различия между грамматическими значениями наряду с отношением противоположности отмечено (в самой общей форме) М. А. Шелякиным. Однако понятие различия в его интерпретации укладывается в рамки взаимосвязанных однородных значений: «...если засвидетельствовано одно грамматическое значение, то оно неизбежно предполагает и наличие другого взаимосвязанного однородного грамматического значения, находящегося с первым в каких-то отношениях или противоположности на основе общего или обуславливающего опосредствования, так как различие и противоположности суть результаты снятия одной определенности и появления другой определенности с сохранением первой в преобразованном виде и наличием обогащенной общей основы» [34, с. 13].

Мы трактуем понятие различия иначе: при таком отношении между компонентами грамматической категории значение одного из них не предполагает значения другого, причем эти значения, хотя они и охватываются некоторым общим родовым понятием, не являются однородными в том смысле, в каком однородны значения членов грамматических оппозиций⁹.

Как уже было отмечено выше, Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев включают отношения форм, которые не обязательно противопоставлены по определенным признакам, но могут «просто различаться этими признаками (значениями)», в понятие эквиолентной оппозиции [см. 13, с. 100—101]. Сама по себе констатация указанных отношений представляет несомненный интерес, однако подведение этих отношений под понятие эквиолентной оппозиции, на наш взгляд, связано с существенным затруднением: в понятие оппозиции включаются отношения, выходящие за пределы противопоставления на основе единого принципа членения. Поэтому представляется целесообразным разграничивать эквиолентные оппозиции и отношение неопозитивного различия.

7. Заключительные замечания. Констатация отношений не только оппозиции, но и неопозитивного различия в структуре грамматических категорий находит опору в фактах истории языка. Историческое развитие грамматических категорий не может быть сведено к преобразованиям и модификациям оппозиций. Так, категория времени русского глагола развивалась на базе системы видо-временных форм, в которой существенную роль играли отношения различия между формами аориста, имперфекта и перфекта в их сложном взаимодействии с совершенным/несовершенным видом. В развитии славянского глагольного вида принимали участие аспектуальные образования, характеризующиеся множественностью признаков, которые не могут быть сведены к какой-либо одной оппозиции. Исторический процесс залогового формообразования в славянских языках включал не только противопоставление активных и пассивных конструкций, но и отношения различия залоговых образований, связанные с рефлексивацией. Подобные примеры можно легко умножить. В целом рассматриваемая трактовка категориальной системности органически связана с принципом историзма.

⁹ В целом М. А. Шелякин ставит акцент на отношении противопоставления: «Специфика грамматической категории заключается как раз в обязательном наличии последовательно противопоставленных значений (с промежуточными значениями или без них) и опосредствующего значения как основы противопоставления, в совокупности составляющих ее содержание» [34, с. 13].

Признание многообразия категориальных структур, выходящих за пределы оппозитивных отношений, не означает отрицания системности в грамматике. Напротив, при таком подходе подчеркивается специфика языковой системности, которая не может быть сведена к оппозитивным отношениям. Грамматический строй языка трактуется как естественная система, характеризующаяся многообразными отношениями ее компонентов.

Изложенная выше трактовка структуры грамматических категорий тесно связана с таким истолкованием грамматического строя языка, которое охватывает явления, относящиеся как к собственно системе, так и к норме, включая как системные, так и асистемные (с логической точки зрения) явления [см. 35], элементы систем, восходящих к разным этапам развития языка, явления, находящиеся в отношении противоречия [см. 36, 37].

Наиболее важный принцип заключается в том, что лингвистическая теория должна отражать реально существующую системно-структурную организацию строя языка, не навязывая ему заранее заданных классификационных схем. На категориальные структуры в полной мере распространяется известное суждение Л. В. Щербы: «...грамматика в сущности сводится к описанию существующих в языке категорий» [38].

ЛИТЕРАТУРА

1. Щерба Л. В. О частях речи в русском языке. — В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 78—79.
2. Жирмунский В. М. О природе частей речи и их классификации. — В кн.: Вопросы теории частей речи (на материале языков различных типов). Л., 1968, с. 8—9.
3. Реферовская Е. А., Васильева А. К. Теоретическая грамматика современного французского языка. 2-е изд. Ч. I. Л., 1973, с. 20—38.
4. Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980, с. 319—357.
5. Адмони В. Г. Основы теории грамматики. М.—Л., 1964, с. 35—51.
6. Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. II. Л., 1967, с. 101—122.
7. Меновщиков Г. А. Язык эскимосов Берингова пролива. Л., 1980, с. 122—134.
8. Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. Ч. 2. М.—Л., 1965, с. 108—133.
9. Крейнович Е. А. Нивхский язык. — В кн.: Языки Азии и Африки. III. М., 1979, с. 314—318.
10. Эсперсен О. Философия грамматики. М., 1958, с. 363.
11. Иванова И. П. Вид и время в современном английском языке. Л., 1961.
12. Вопросы глагольного вида. М., 1962, с. 22—30, 44—58, 87 и сл.
13. Солнцева Н. В., Солцев В. М. О некоторых свойствах морфологических категорий в изолирующих языках. — В кн.: Типология грамматических категорий. Мещаниновские чтения. М., 1975.
14. Яхонтов С. Е. Категория глагола в тибетском языке. Л., 1957.
15. Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка (Грамматическая природа слова). М., 1968, с. 198—267, 286—348.
16. Якобсон Р. О. Морфологические наблюдения над славянским склонением. — American contributions to the IV. International congress of Slavists. 's-Gravenhage, 1958.
17. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
18. Бондарко А. В. Об уровнях описания грамматических единиц (На примере анализа функций глагольного вида в русском языке). — В кн.: Функциональный анализ грамматических единиц. Л., 1980.
19. Булыгина Т. В. Грамматические оппозиции. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
20. Мельников Г. П. Природа падежных значений и классификация падежей. — В кн.: Исследования в области грамматики и типологии языков. М., 1980.
21. Яхонтов С. Е. Грамматические категории аморфного языка. — В кн.: Типология грамматических категорий. Мещаниновские чтения. М., 1975, с. 111—112.
22. Серебренников Б. А. К проблеме типов лексической и грамматической абстракции (О роли принципа избирательности в процессе создания отдельных слов, грамматических форм и выбора способов грамматического выражения). — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.

23. *Коротков Н. Н., Панфилов В. З.* О типологии грамматических категорий.— ВЯ, 1965, № 1.
24. *Гузев В. Г., Насилов Д. М.* К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках.— ВЯ, 1975, № 3.
25. *Вардуль И. Ф., Алпатов В. М., Бертельс А. Е., Коротков Н. Н., Самжеев Г. Д., Шарбатов Г. Ш.* О значении изучения восточных языков для развития общего языкознания.— ВЯ, 1979, № 1.
26. *Ярцева В. Н.* Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков.— В кн.: Типология грамматических категорий. Мещаниновские чтения. М., 1975, с. 5.
27. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. М., 1977.
28. *Dokčil M.* K otázce morfoložických protikladů.— SaS, XIX, 1958, № 2 [в переводе на русск. яз.: *Докуčil М.* К вопросу о морфологических противопоставлениях (Критика теории бинарных корреляций в морфологии чешского языка).— В кн.: Языкознание в Чехословакии. М., 1978].
29. *Головин Б. Н.* Заметки о грамматическом значении.— ВЯ, 1962, № 2.
30. *Шендельс Е. И.* О грамматической полисемии.— ВЯ, 1962, № 3.
31. *Бондарко А. В.* Система глагольных времен в современном русском языке.— ВЯ, 1962, № 3.
32. *Křížková H.* Привативные оппозиции и некоторые проблемы анализа многочисленных категорий (На материале категории лица в русском языке).— Travaux linguistiques de Prague. I. Prague, 1964.
33. *Шелякин М. А.* К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий (1).— Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 425. Тарту, 1977.
34. *Шелякин М. А.* К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий (2).— Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 486. Тарту, 1979.
35. *Будагов Р. А.* Система и антисистема в науке о языке.— ВЯ, 1978, № 4.
36. *Ломтев Г. П.* Общее и русское языкознание. М., 1976, с. 12—30, 37.
37. *Филин Ф. П.* Противоречия и развитие языка.— ВЯ, 1980, № 2.
38. *Щерба Л. В.* О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета.— В кн.: *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

КЛИМОВ Г. А.

К КАТЕГОРИИ ИНКЛЮЗИВА ~ ЭКСКЛЮЗИВА
В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

(Историко-типологический комментарий)

Категория инклюзива ~ эксклюзива в обоих своих аспектах — морфологическом и лексическом — уже длительное время служит одним из объектов пристального внимания сравнительной грамматики картвельских языков. В специальной литературе решительно преобладает точка зрения о глубокой древности этой категории, удостоверяемой интересными фактами сванского и грузинского (точнее — древнегрузинского) языков, что позволяет реконструировать ее еще для общекартвельского состояния [1, с. 373—374; 2, с. 183; 3, с. 26—27; 4, с. 27, 34; 5, с. 234—239]. Предмет настоящей статьи составляет рассмотрение историко-типологической перспективы корреляции инклюзива ~ эксклюзива в картвельских языках, почти не затронутой исследованием (исключением является статья К. Д. Дондуа [6]), и, в частности, типологическая верификация соответствующих выводов компаративистов.

Обращаясь к теме статьи, прежде всего целесообразно высказать несколько самых общих соображений о типологической соотношенности этой редко специально рассматриваемой категории, которые в какой-то степени подсказываются самой эмпирической картиной ее функционирования в разнотипных языках. В настоящее время невозможно согласиться с В. Шмидтом и Т. Милевским, усматривавшими непосредственную мотивированность противопоставления инклюзива ~ эксклюзива условиями определенного уровня общественного развития носителей соответствующих языков, или с П. Форххаймером, объяснявшим его ареальную дистрибуцию на современной лингвистической карте мира явлениями диффузии и субстрата. Трудно безоговорочно присоединиться и к С. Л. Быховской, в общей форме апеллировавшей при этом к меньшей абстрагирующей способности древнего человека. В свете накопленных наукой эмпирических знаний о распространении этого противопоставления более перспективными представляются поиски его естественного места в определенном типологическом состоянии языка. В пользу такой точки зрения говорит по-видимому, уже его неравномерное распределение по языкам разной типологии. Различение инклюзива ~ эксклюзива к тому же, как в прономинальной лексике, так и в глагольной морфологии, широко проводится в языках активного строя (оно налицо в языках семей сиу, мускоги, тушигуарани). В целом несколько менее последовательно оно функционирует в эргативных языках, где тем не менее, по-видимому, еще может рассматриваться в качестве фреквенталии. И, наконец, наименее характерным это различие оказывается для номинативных языков. В последних, во-первых, чрезвычайно редко параллельно представлены его лексический и морфологический аспекты, а, во-вторых, нередко существенно преобразовано его самое качество — членами противопоставления являются в этом случае нейтральное местоимение «мы», с одной стороны, и инклюзив (ср.

положение в китайском, белуджском, язгулямском языках) или эксклюзив, с другой, с чем сталкиваемся и в некоторых языках эргативного строя (указанию на случаи нейтрального употребления абхазского преимущественно инклюзивного местоимения *hara* автор обязан О. П. Дзидзариа).

Если принять во внимание неоднократно отмечавшийся в отраслевой лингвистической литературе факт пережиточного употребления этой категории в целом ряде эргативных и номинативных языков [6, с. 148—151; 7; 8, с. 105; 9, с. 253; 10, с. 13—21], а также отсутствие здесь прецедентов ее регенерации (засвидетельствованы лишь случаи вторичного образования особой инклюзивной или эксклюзивной формы при сохранении уже сложившейся нейтральной [ср. 11, с. 80—81]), то окажутся естественными как напрашивающийся отсюда подход к ней как к исторической категории, так и конкретная попытка ее совмещения со структурой активного строя [12, с. 109—111]. Имеются основания думать, однако, что еще несколько ближе к решению вопроса подошел Т. В. Гамкрелидзе, высказавший предположение, согласно которому прономинальная, а также вторичная по отношению к ней глагольная морфологическая корреляция инклюзива ~ эксклюзива структурно мотивированы в рамках классной системы, основанной на бинарном противопоставлении признаков одушевленность ~ неодушевленность [13, с. 46—47]. В пользу последнего мнения, по-видимому, свидетельствует то обстоятельство, что если в языках других типов категория инклюзива ~ эксклюзива выступает по существу в качестве некоторой аномалии, характеризующей почти исключительно местоимения 1-го л., то в представителях классной типологии, например, во многих языках гринберговского объединения Нигер-Конго, она органически включена в значительно более широкую систему активно функционирующих противопоставлений, образуемых так называемыми взаимными личными местоимениями, соотносящимися и с другими лицами: ср. их семантику «ты + он», «вы + он», «он + он» и др. [14, с. 132—135]. Основанием особой устойчивости в передаче отношения взаимности местоимениями 1-го л. мн. числа является, возможно, подчеркивавшаяся еще О. Есперсеном двусмысленность лексемы «мы» с точки зрения включения или невключения адресата речи [15, с. 221].

Действительно, сама семантика рассматриваемой категории не внушает надежды на обнаружение ее сколько-нибудь прямой связи с характерным для активного строя способом передачи субъектно-объектных отношений действительности (ср., например, известные случаи различения инклюзивного и эксклюзивного показателей в обеих — активной и пассивной — сериях личных аффиксов глаголов). Вместе с тем, здесь уместно подчеркнуть, что категория инклюзива ~ эксклюзива принципиально отлична от категории числа, поскольку она, с одной стороны, конкретизирует в некотором специальном плане формы, уже дифференцированные в отношении категории числа, что со всей очевидностью вытекает из случаев ее различения внутри форм не только множественного, но и двойственного и тройственного числа, а, с другой стороны, налицо в языках, не знающих морфологической категории числа (отсюда вытекает несостоятельность встречающихся в отдельных описательных исследованиях понятия так называемого инклюзивного числа, будто бы противопоставляемого единственному и множественному). Она выделяется своей специфической собирательной семантикой, характеризующей разные комбинации одушевленных участников ситуации, позволяющей скорее трактовать ее в качестве некоторого ответвления категории лица, о чем может свидетельствовать и характерная позиция ее экспонентов в морфологической структуре глагола.

Тем не менее нельзя не признать, что в прономинальных и личных глагольных формах инклюзива ~ эксклюзива в синкретическом виде передается и идея числа. Последнее означает в свою очередь, что, по-видимому, должна существовать определенная зависимость между функционированием в языке категории инклюзива ~ эксклюзива и степенью развития в нем категории числа. В пользу такого мнения говорит, в частности, наблюдение, согласно которому пока засвидетельствован лишь один язык, не знающий такой прономинальной оппозиции при различении форм двойственного и тройственного числа [16, с. 182, 198]. В свете современных представлений об истории развития категории количества в мышлении и языке [17, с. 215 и сл.] этот факт естественно истолковать в том смысле, что категория инклюзива ~ эксклюзива тяготеет к языковым структурам с недостаточно развитой оппозицией единственного и множественного числа (должно быть очевидным, что различение в языке форм двойственного, тройственного и изредка встречающегося четверственного числа сообщают имеющемуся в нем множественному числу менее абстрактное содержание). Такое же тяготение эта категория обнаруживает к языкам, где категория числа передается синкретически, например, слитно с категорией класса.

Принято считать, что морфологическая категория инклюзива ~ эксклюзива в глаголе представляет собой транспозицию исходного лексического (местоименного) противопоставления аналогичной семантики. За это говорит не только ставший уже традиционным тезис о первичности лексического по сравнению с грамматическим, но и очевидная во множестве случаев зависимость ее экспонентов от соответствующих местоименных основ (вообще, по-видимому, можно образно сказать, что морфологические категории лица и числа заложены в скрытом виде в местоименной лексике).

Таким образом, если рассматривать типологический аспект истории корреляции инклюзива ~ эксклюзива в картвельских языках, то целесообразно учитывать известную гипотезу об их доминативном (по мнению автора, активном) состоянии в прошлом, преимущественно с которым и естественно связывать ограниченную развитость морфологической категории числа. Ниже предпринимается попытка показать, что фиксируемый сравнительной грамматикой этих языков процесс снятия этой корреляции укладывается в более широкий процесс номинативизации их структуры.

Как известно, в настоящее время категория инклюзива ~ эксклюзива налицо лишь в одном из картвельских языков — в сванском, где она представлена своим как морфологическим, так и лексическим аспектом (в свете сказанного выше небезынтересно отметить, что именно в сванском в отличие от остальных картвельских языков грамматическая категория числа обнаруживает максимум архаических черт: ср. неунифицированность форм плюралиса, функционирование форм «собирающего числа» в терминах родства, случаи отсутствия согласования членов синтагмы во множественном числе и т. п.). С одной стороны, здесь функционируют инклюзивные и эксклюзивные показатели глагольного лица (соответственно, *l-* и *xw-* в субъектном ряду и *gw-* и *n-* в объектном), с другой, имеются две соответствующих разновидности притяжательного местоимения 1-го л. мн. числа — *gwışgwe/gușgwe* «наш» (инклюзив) и *nișgwe* «наш» (эксклюзив).

Затрагивающие проблему исследования [3, с. 26—27; 5, с. 224—230] убеждают в мнении, что в сванском ныне происходит процесс нейтрализации рассматриваемой морфологической категории, о древности которой можно догадываться уже на том основании, что она представлена префиксальными формантами, этимологически частично тождественными личным показателям в остальных картвельских языках. Этот процесс затронул оба нижнесванских диалекта (лашхский и лентехский), в которых в отличие

от верхнесванских (верхнебальского и нижнебальского) данная категория уже не различается в формах объектного лица.

Факт редукции последней принято объяснять воздействием на нижнесванские диалекты со стороны непосредственно соседствующих с ними грузинских диалектов, не знающих подобного морфологического противопоставления. В пользу такого истолкования говорит и то обстоятельство, что один из говоров верхнебальского диалекта — ушгульский — обнаруживающий начальную стадию ее нейтрализации (здесь наблюдаются случаи употребления инклюзивного преф. *gw-* вместо эксклюзивного *n-*), в свою очередь территориально примыкает к ареалу одного из нижнесванских диалектов — лашхскому.

Существуют, однако, основания полагать, что наряду с действием внешнего фактора языкового контакта протекающий в сванском языке процесс имеет и более глубокое структурное основание. Действительно, если бы его стимул всецело сводился к воздействию со стороны соседних грузинских диалектов, то осталось бы непонятным, почему он вызывает нейтрализацию форм инклюзива ~ эксклюзива только в объектном лице и не распространяется на аналогичные формы субъектного лица, также унифицированного в грузинском (в сванском в отличие от процесса вытеснения преф. *gw-* показателя *n-* не наблюдается обобщения преф. *xw-* за счет показателя *l-*). Поэтому складывается впечатление, что в сванском здесь дает о себе знать и определенная слабость позиции объектного лица в системе глагольного спряжения.

Как свидетельствуют специальные исследования, в древнегрузинском языке отражен тот наиболее поздний в истории рассматриваемой морфологической категории этап, когда уже единому объектному преф. *gw-* противопоставит эксклюзивный объектный преф. *m-* (мнение Н. Я. Марра, согласно которому оба показателя соотносились друг с другом, как так называемый вульгарный и литературный эквиваленты [18, с. 361], не подтвердилось, поскольку оно не опиралось на анализ сколько-нибудь обширного текста). Целесообразно напомнить, что аналогичное положение оказывается характерным для некоторых других номинативных (или по преимуществу номинативных) языков, сохраняющих следы былого противопоставления инклюзива ~ эксклюзива, в связи с чем уместно привести мнение американского картвелиста Г. Аронсона, согласно которому уже древнегрузинское состояние характеризовалось преобладанием черт номинативности над доминативными [19, с. 220, 229]. Анализ диахронической перспективы его письменных памятников позволил документально проследить процесс последовательного вытеснения первым префиксом второго. Так, например, предпринятое недавно исследование соотношения обоих префиксов по шатбердским рукописям Четвероглава, дошедшим до нас в списках IX—X столетий, но отражающим, как принято считать, языковые нормы IV—V вв. н. э., красноречиво свидетельствует о том, что уже в ту эпоху процесс их нейтрализации зашел достаточно далеко — явно обобщенный по своей семантике преф. *gw-* вытеснял из употребления преф. *m-*, сохранявший, как правило, эксклюзивное значение: по двум редакциям Евангелия из 92 примеров фиксации глагольных словоформ с преф. *m-* в 80 случаях он имеет определенно эксклюзивную семантику (при этом некоторые различия в степени реализации процесса, наблюдающиеся по редакциям памятника, предположительно приписываются воздействию различной диалектной среды). В более поздних памятниках преимущество обобщенного преф. *gw-* становится подавляющим. Уже в рукописи Синайского многоглава, датированной 864 годом, трудно усмотреть сколько-нибудь определенные следы былого различия обеих форм, так что не приходится сомневаться в том, что к концу древнегрузинского периода оп-

позиция инклюзива ~ эксклюзива оказалась уже полностью нейтрализованной [20].

Наконец, в занской группе картвельских языков — в мегрельском и лазском (чанском), не располагающей старой письменной традицией, вообще невозможно усмотреть каких-либо следов бывшего функционирования рассматриваемой категории, если не учитывать того обстоятельства, что в отличие от сванского и грузинского, в которых обобщается исторически инклюзивный личный показатель *gw-*, здесь, вероятно, налицо результат генерализации эксклюзивного *m-* (ср. лазск. *m-iḡipən* «у нас есть», *m-ḡipən* «мы помним»). Такая картина вполне согласуется, на наш взгляд, с современным типологическим состоянием обоих языков, отражающим наиболее далеко зашедший процесс номинативизации исконной картвельской структуры (ср. также очевидный номинативный характер конструкций предложения с презентными и аористными словоформами как транзитивного, так и интранзитивного глагола-сказуемого в мегрельском, почти завершённый процесс изживания так называемой инверсивной конструкции предложения в лазском и мн. др.). В этих условиях естественно полагать, что именно в занской ветви наиболее глубока и хронология утраты рассматриваемой морфологической категории. Интересно, что подобно остальным картвельским языкам и здесь обобщался один из префиксов объектного лица, что и в последнем случае приводит к ущербности системы объектного спряжения. Что же касается того специфического обстоятельства, что при этом оказался обобщенным эксклюзивный, а не инклюзивный показатель объекта, то оно, по всей вероятности, объясняется широко действующей в словоизменительной системе мегрельского и лазского тенденцией к формальному выравниванию парадигм, не ускользнувшей от внимания и ранних исследователей [21, с. 223—224]. В итоге здесь сложилась стройная парадигма, иллюстрирующая последовательно агглютинативный характер глагольного спряжения. Ср. лазск.:

<i>mīḡip</i>	«у меня есть то»	<i>mīḡip-an</i>	«у нас есть то»
<i>giḡip</i>	«у тебя есть то»	<i>giḡip-an</i>	«у вас есть то»
<i>iḡip</i>	«у него есть то»	<i>iḡip-an</i>	«у них есть то».

Тем самым материал картвельских языков подтверждает мнение, согласно которому генерализация одного или другого показателя уже не зависит от его специфической семантики, а определяется общим структурным контекстом функционирования обоих.

Рассмотренные выше факты из истории морфологической категории инклюзива ~ эксклюзива свидетельствуют, таким образом, о несомненной однотипности процесса ее утраты в картвельских языках, заключающейся в том, что он затрагивает здесь формы объектного лица. В сванском и грузинском при этом происходит обобщение исторически инклюзивного показателя, в занской ветви — исторически эксклюзивного. Нетрудно заметить, что он составляет лишь одно частное проявление значительно более общей номинативизирующей тенденции их развития, в ходе реализации которой сфера объектного спряжения в языке неуклонно редуцируется (она заявляет о себе и в некоторых других фактах: ср. далеко продвинутый во всех картвельских языках процесс утраты объектного префикса 3-го л., смешение в занской их ветви объектного показателя 1-го л. с субъектным и др.). Как известно, в отличие от языков активного и эргативного строя, как правило, различающих две серии личных показателей глагола, активную и инактивную в первом случае и эргативную и абсолютную во втором, в номинативных языках обычно представлена лишь их субъектная серия. Ср. также очевидную ущербность объектной серии этих показателей

в тех из последних, где известно и субъектно-объектное спряжение (отдельные уральские, афразийские, кечумара).

В связи с недавно высказанным в специальной литературе [22, с. 160—162] сомнением в возможности считать личный префикс древнегрузинского глагола *m-* показателем эксклюзива ввиду его материального совпадения с общекартвельским объектным показателем 1-го л. ед. числа, а также характерного агглютинативного принципа построения картвельской глагольной словоформы (в виду имеется принцип соотношения морфемы с единственной граммемой), необходимо заметить, что аналогичные соотношения достаточно широко прослеживаются и за пределами картвельской языковой области (ср., например, полную идентичность или большую близость показателей 1-го л. ед. числа и эксклюзива в ряде афразийских, австронезийских, папуасских, алгонкинских и др. языков при большей специфичности инклюзива, прослеживающуюся независимо от их принадлежности к определенному формально-типологическому классу). Ср. в этой связи положение Э. Бенвениста, согласно которому «в инклюзивном „мы“, которое противопоставляется „он“, „они“, проступает „ты“, в то время как в эксклюзивном „мы“, которое противопоставляется „ты“, „вы“, подчеркнуто „я“ [23, с. 268]. Поэтому мнение Г. И. Мачавариани о происшедшем в сванском языке преобразовании реконструируемого общекартвельского префикса эксклюзива **m-* в *n-* на почве аналогии с существующим в нем личным местоимением *nāj // naj* представляется вполне правдоподобным.

В заключение необходимо, наконец, коротко коснуться исторического взаимоотношения лексического и морфологического аспектов рассматриваемой проблемы. Естественно думать, что картвельские языки не составляют в этом отношении исключения из общего правила зависимости экспонентов морфологической категории инклюзива ~ эксклюзива от им предшествовавших местоименных лексем. Об этом как будто косвенно свидетельствует только что упомянутый факт уподобляющего воздействия формы ныне функционирующего местоимения 1-го л. мн. числа на эксклюзивный личный показатель глагола в сванском языке. Эти соображения позволяют присоединиться к точке зрения тех картвельцев, согласно которой рассмотренная выше морфологическая оппозиция должна была иметь своей лексической предпосылкой ранее сложившуюся в общекартвельском состоянии корреляцию инклюзивного и эксклюзивного местоимений [ср. 13, с. 47—49].

Нетрудно показать, однако, что на роль такой лексической предпосылки наблюдаемых фактов морфологии не могут претендовать притяжательные местоимения типа сванских *gu-šgwe // gwi-šgwe* «наш» (инклюзив) и *ni-šgwe* «наш» (эксклюзив). Хотя последние и имеют общесванское распространение, их, по всей вероятности, следует рассматривать в качестве поздней внутриуровневой, т. е. остающейся в плане лексики, транспозиции существовавших некогда личных местоимений, не имеющей своих параллелей в остальном картвельском языковом ареале. На это прямо указывает то, что дифференцирующие семантику обоих префиксы *gu-* и *n-* присоединены к уже нейтрализованной по признаку инклюзивности ~ эксклюзивности основе притяжательного местоимения **šgwe-*, этимологически тождественной грузинской *šwen* и занским *škin-//čkan-*. Другим аналогичным свидетельством — уже собственно типологического плана — является факт включения этого признака в словообразовательную структуру лексем такой поздней формации, как притяжательные местоимения (отсутствующие в активных языках и, напротив, наиболее характерные для представителей номинативного строя).

Если учесть этимологическую несводимость сванского личного местоимения *nāj//naj* «мы» и грузинско-занских, восходящих к **šwen-* «мы»,

то естественно реконструировать для общекартвельского состояния противопоставление двух лексем **na-* «мы» (экслюзив) и **čwen-* «мы» (инклюзив), продолжения которых оказываются распределенными по картвельской языковой области уже в обобщенном значении [13, с. 48]. При этом экслюзивная семантика приписывается первой лексеме на основании того, что предполагаемый общекартвельский экслюзивный показатель глагольного лица **m-* подвергся в сванском контаминации именно с его основой. Такого рода распределение исторически противопоставлявшихся по рассматриваемому признаку личных местоимений имеет типологические аналогии в ряде других языков. В частности, на Кавказе оно особенно отчетливо выступает в крызском языке, где при сохранении обоих личных местоимений в одном из диалектов, в другом оказалось обобщенным былое инклюзивное, в третьем — былое экслюзивное [24, с. 26; ср. также 7, с. 89; 25, с. 153]. Нельзя, впрочем, пройти мимо одной серьезной трудности, возникающей в этом случае при определении исторического соотношения обоих реконструируемых для общекартвельского состояния личных местоимений: остается неясным, как можно совместить обобщенное сванское местоимение *näj // naj* «мы» с отмеченным выше фактом подобного же обобщения и другого местоимения, продолжавшего общекартвельское **čwen-*? В этой связи можно было бы упомянуть точку зрения В. М. Иллича-Свитыча, предполагавшего в свете ностратических материалов, что последнее местоимение являлось исторически лишь притяжательным, вытеснившим древнее личное местоимение [26, с. 54], подобно аналогичному процессу, происходившему, по-видимому, в сфере грузинского местоимения 2-го лица единственного числа [ср. 27, с. 8—9]. Но если сказанное верно, то задача поиска утраченного инклюзивного личного местоимения «мы» остается нерешенной.

Говоря об относительной хронологии транспонирования лексического выражения инклюзива ~ экслюзива на уровень морфологии, можно предположить, что она уходит еще в общекартвельское состояние. Во всяком случае морфологизация этой категории едва ли возможно приурочить к периоду самостоятельного развития исторически засвидетельствованных языков, характеризовавшемуся неуклонным ростом номинативного типологического компонента в их структуре. Целесообразно учитывать при этом, что в номинативных и эргативных языках такое транспонирование нередко сопровождается утратой ранее существовавшего различительного признака. Так, например, сравнительно недавно сформировавшееся в эргативном бацбийском языке личное спряжение в настоящее время располагает уже нейтральным формативом 1-го л. мн. числа, исторически восходящим к форме экслюзивного местоимения [28, с. 84—85].

В заключение остается заметить, что, соглашаясь с определенной гипотетичностью как генетического (сравнительно-исторического), так и типологического подходов к реконструкции фактов языкового прошлого, нельзя не признать, что далеко идущая взаимная поддержка обоих сообщает соответствующим архетипам значительную степень надежности. Представляется, таким образом, что альтернативная точка зрения, согласно которой категория инклюзива ~ экслюзива, будучи локальным сванским новообразованием, не может проецироваться в общекартвельское состояние, едва ли сохраняет какие-либо шансы на успех.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шанидзе А. Г. Двойная форма первого лица множественного числа в сванском языке. — Ежегодник. Тбилиси, 1923—1924 (на груз. яз.).
2. Шанидзе А. Г. Основы грузинской грамматики. I. Морфология. Тбилиси, 1954 (на груз. яз.).

3. *Топуриа В. Т.* Сванский язык. I. Глагол.— В кн.: *Топуриа В. Т.* Труды. I. Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).
4. *Deeters G.* Das kharthwelische Verbum. Vergleichende Darstellung des Verbalbaus der südkaukasischen Sprachen. Leipzig, 1930.
5. *Ониани А. Л.* Вопросы исторической морфологии картвельских языков (Категории глагола — лицо, число, инклюзив-эксклюзив). Тбилиси, 1978 (на груз. яз.).
6. *Дондуа К. Д.* Категория инклюзива ~ эксклюзива в сванском и ее следы в древнегрузинском.— В кн.: Памяти академика Н. Я. Марра (1864—1934). М.—Л., 1938.
7. *Быловская С. Л.* Пережитки *inclusiv'a* и *exclusiv'a* в даргинских диалектах.— Язык и мышление. IX. 1940.
8. *Дьяконов И. М.* Языки древней Передней Азии. М., 1967.
9. *Андронов М. С.* Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.
10. *Гулига О. А.* Инклюзив и эксклюзив в дагестанских языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук, М., 1979.
11. *Grönbech K.* Der türkische Sprachbau. I. Kopenhagen, 1936.
12. *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
13. *Гамкрелидзе Т. В.* Сибилантные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
14. *Forchheimer P.* The category of person in language. Berlin, 1953.
15. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
16. *Членова С. Ф.* Категория числа в личных местоимениях.— В кн.: Лингвотипологические исследования. М., 1973.
17. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. М., 1977.
18. *Марр Н. Я.*— Рец. на кн.: *Кекелидзе С.* (ред.). Древнегрузинский архиепиграфикон. Тифлис, 1912.— Христианский Восток, т. I, вып. III. СПб., 1912.
19. *Aronson H. I.* Grammatical subject in old Georgian.— *Bedi Kartlisa* (*Revue de kartvélogologie*), ч. XXXIV. Paris, 1976.
20. *Метревели Т. А.* К категории инклюзива ~ эксклюзива в древнегрузинском языке.— Тр. каф. древнегрузинского яз. Тбилисского гос. ун-та. Вып. 23. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.).
21. *Reby S.* La déclinaison des substantifs dans les langues caucasiennes du Sud.— *MSLP*, t. XVIII, f. 3, 1913.
22. *Меликишвили Д. Н.* Об истории выражения категории инклюзива ~ эксклюзива в грузинском глаголе.— Изв. АН ГрузССР, ОЛЯ, 1977, № 4 (на груз. яз.).
23. *Бенвенист Э.* Структура отношений лица в глаголе.— В кн.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
24. *Саадиев Ш. М.* Опыт исследования крыского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Баку, 1972.
25. *Ибрагимов Г. Х.* Рутульский язык. М., 1978.
26. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. L — 2. М., 1976.
27. *Чикобава А. С.* Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь. Тбилиси, 1938 (на груз. яз.).
28. *Дешериев Ю. Д.* Вацбийский язык. Фонетика, морфология, синтаксис, лексика. М., 1953.

ТИРАСПОЛЬСКИЙ Г. И.

СТАНОВИТСЯ ЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК АНАЛИТИЧЕСКИМ?

В последние десятилетия среди некоторых отечественных языковедов стала находить поддержку идея, согласно которой русский язык претерпевает эволюцию от синтетического строя к аналитическому [1—3, 4, с. 167, 5—7]. Впервые в заостренной форме такое положение высказал, по-видимому, акад. В. В. Виноградов [8, 9], однако его гипотеза в свое время не получила резонанса в лингвистических исследованиях. В 60—70-е гг. идея об «анализации» русского языка была оживлена (впрочем, без подчеркнутой связи с именем В. В. Виноградова) в работах, посвященных русскому языку советской эпохи. В одной из них, самой пространной и обстоятельной, утверждается, что «устремление к аналитизму — наиболее яркая морфологическая тенденция в русском языке послереволюционной эпохи» [10, с. 15].

Такое мнение разделяют, однако, далеко не все языковеды. Так, С. Б. Бернштейн, предостерегая против одностороннего истолкования роста предложно-падежных конструкций в русском и других славянских языках, писал: «Усиление роли предлогов в аналитических и синтетических языках имеет разный характер. В аналитических оно является следствием утраты флексий, в синтетических — оно вызвано развитием и обогащением значений падежной системы, стремлением точнее дифференцировать значения и функции падежей. Это, в свою очередь, приводит к развитию падежной синонимии, которая не имеет никакого отношения к аналитизму» [11]. По мнению Л. К. Граудиной, «в применении к русскому языку речь может идти лишь об отдельных аналитических элементах, в известной степени проявляющихся в грамматической системе русского языка» [12, с. 146]. Показательно также, что в последнем издании академической грамматики русского языка подчеркивается весьма медленный, постепенный характер изменений грамматического строя русского языка и преобладание в нем синтетических форм разных частей речи [13, с. 7, 454].

Указанные разногласия в вопросе о направленности эволюции грамматического строя русского языка не случайны. Они отражают сложность и противоречивость этого процесса, а также различия в его истолковании лингвистами разных научных школ. Отсутствие специальных исследований на эту тему диктует необходимость решить хотя бы в первом приближении некоторые из вопросов типологической эволюции русского языка и открыть соответствующую дискуссию, проведение которой представляется небесполезным.

Во избежание недоразумений следует заметить, что в настоящей статье вопросы аналитизма (и синтетизма) рассматриваются применительно к русскому языку и предлагаемые решения этих вопросов не претендуют на общелингвистическую значимость.

1. Отличительными свойствами работ, развивающих положение о росте в русском языке аналитизма, являются малый хронологический диапазон рассматриваемого в них языкового материала (от 70 до 150 лет) и ограничение привлекаемых фактов рамками лишь одного, русского языка, причем только в его литературном (письменном и устном) прояв-

лении. Такой подход к поставленной проблеме весьма спорен, поскольку установить факт типологической эволюции какого-либо языка возможно лишь с учетом различных форм его существования и достаточной (в большинстве случаев значительной) ретроспективы, что, в свою очередь, требует основательной разработки отправных теоретических положений, глубокого осмысление которых достижимо на материале широкого круга разноструктурных языков. Разумеется, на начальном этапе решения вопроса о типологической эволюции русского языка — а отмеченные работы, как представляется, отражают именно этот этап — такое требование выглядит достаточно отдаленным идеалом, однако движение к нему все же и возможно, и необходимо.

Характерной чертой исследований, разрабатывающих идею об «анализации» русского языка, является также принятое в них (большей частью неявно) в качестве аксиоматического положение, согласно которому русский язык на более ранних этапах своего развития был почти или исключительно языком синтетического строя [7, с. 12]. Это утверждение, однако, не убеждает, поскольку оно не сопровождается выявлением меры синтетизма (resp. анализизма).

И, наконец, в указанных работах не прослеживается типологическая судьба такого важного участка грамматического строя русского языка, как глагольная система. В цитированной выше работе «Русский язык и советское общество» указывается, правда, на рост анализизма глагольных форм [10, с. 12—13], но так как этот вывод основан на привлечении лишь некоторых двувидовых глаголов, он не может быть признан бесспорным.

2. Понятие «тип языка» в современной лингвистической науке истолковывается по-разному [14]. Не вдаваясь в анализ соответствующих концепций, заметим, что под типом мы понимаем особенности структурной организации языка, находящие свое воплощение преимущественно в морфемном строении полнозначных слов. При таком понимании типа языка его типологическая эволюция может быть определена как длительная перестройка морфемной структуры полнозначных слов, в ходе которой возникают или утрачиваются грамматические аффиксы (а, следовательно, и базирующиеся на них грамматические категории). Возникновение грамматических аффиксов есть «синтетизация» языка, а их утрата — его «анализация». Нетрудно заметить, что такое истолкование двух различных приемов организации грамматической формы согласуется с распространенным в лингвистическом обиходе пониманием анализизма как раздельного выражения в одной форме грамматического и лексического значений и синтетизма как их совместного выражения¹. Однако необходимо подчеркнуть, что падение некоторой грамматической категории, выражаемой синтетическими приемами, далеко не всегда влечет за собой ее восстановление в новом, аналитическом облике. В ряде случаев такая грамматическая категория утрачивается безвозвратно и даже лексическими средствами компенсируется спорадически. Так, например, падение аффиксальной категории рода английского языка в грамматическом аспекте является невозполнимой утратой. Некоторые существительные в современном английском языке, правда, более или менее регулярно соотносятся с личными местоимениями *he* «он» или *she* «она»: *sun* «солнце», *moon* «луна», *ship* «корабль», *love* «любовь», *time* «время» и т. п. Однако такая соотнесенность обусловлена не регенерацией категории рода в аналитическом облике, а различными внелингвистическими факторами: мифологическими представлениями, культурно-поэтической традицией и психологическими ассо-

¹ Обсуждение вопросов анализизма и синтетизма см. в [32].

двациями [15]. Лексическая же компенсация утраченной категории рода в современном английском языке наблюдается от случая к случаю и узко ограничена разрядом названий некоторых животных и птиц, ср.: *cat* «кот; кошка», *tom-cat* «кот-самец», *pussy-cat* «кошка»; *sparrow* «воробей; воробьяха», *cock sparrow* «воробей-самец».

3. Отсутствие прямой соотнесенности между разрушенной в ходе истории языка аффиксальной грамматической категорией и ее более поздними функционально-семантическими аналогами подчас игнорируется, что приводит к необоснованному отождествлению синтетических и аналитических единиц как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах. Примером неразличения утраченной аффиксальной категории и функционально сходных с ней грамматических единиц аналитического типа может служить выдвигавшаяся некоторыми лингвистами концепция, согласно которой современный болгарский литературный язык обладает системой субстантивного склонения, базирующейся на аналитических формах [16, 17]. Понятно, что при таком истолковании грамматических категорий вопрос об их типологической эволюции отпадает. Что же касается соотношения синтетических и аналитических явлений на каком-либо одном временном срезе грамматического строя, то противопоставленность разнородных типологических единиц в силу того, что «для говорящего не существует последовательности этих фактов во времени» [18], здесь менее наглядна, чем в первом случае. Этим, в частности, объясняется существование концепций, согласно которым в современном русском языке, например, несклоняемые существительные имеют омонимичные падежные формы и, стало быть, наделены категорией падежа [13, с. 506; 19, 20]. Очевидно, что и в этом случае отождествляются аналитические и синтетические единицы и подвергается сомнению (правда, в неявном виде) возможность типологической эволюции языка.

4. Поскольку в центре нашего внимания находится вопрос об «аналитизации» русского языка, следует особо рассмотреть различные проявления аналитизма.

Согласно широко распространенному мнению, о котором уже упоминалось выше, аналитизм есть расчлененность лексического и грамматического компонентов некоторой формы. Хотя такое понимание аналитизма достаточно верно, в нем не учитывается функциональный статус аналитических единиц и их принадлежность к различным уровням и подуровням языковой системы. Тем самым ставится знак равенства между такими, например, явно разноуровневыми проявлениями аналитизма, как несклоняемые (в литературном языке) существительные типа *кенгуру*, *пальто*, *бюро* и словосочетания вроде *выход из метро*. Такой недифференцированный подход к аналитическим единицам может быть оправдан тем, что он обеспечивает установление их некоторых (и существенных) общих свойств. Однако этот подход недостаточно эффективен при освещении типологической эволюции языка, которая на разных его уровнях проявляется неравномерно и с различной скоростью.

На основе высказанных выше положений предлагается разграничивать аналитизм в морфологическом строе (морфологический аналитизм) и аналитизм в синтаксическом строе (синтаксический аналитизм). Морфологический аналитизм имеет следующие проявления: 1) аналитизм номинации (усвоение и формирование слов с аналитическими свойствами, например, *пальто*, *метро*, *роно*, *ГЭС*, *луна-парк*); 2) аналитизм грамматикализации (возникновение аналитических форм типа *буду делать*, *я писал*); 3) аналитизм категоризации (формирование частей речи с аналитическими свойствами, например, наречий и безличных предикативов).

Синтаксический аналитизм обнаруживается в следующих типологических инновациях: 1) в аналитизме словосочетаний (в становлении словосочетаний с аналитическими связями между компонентами); 2) в аналитизме предложений (в возникновении аналитических связей между членами и частями предложения).

Каждая из указанных разновидностей аналитизма имеет два измерения: относительное и абсолютное. Относительный аналитизм обнаруживается в следующих случаях: 1) при сопоставлении разных и типологически неадекватных срезов одного и того же языка; 2) при сопоставлении типологически несходных единиц и явлений на общем синхронном срезе одного и того же языка; 3) при сопоставлении одинаковых синхронных срезов двух или более языков с различными типологическими свойствами; 4) при сопоставлении хода типологической эволюции двух или более языков с разными типологическими свойствами. Абсолютный аналитизм выявляется при сопоставлении соответствующих единиц исследуемого языка (или языков) с языком-эталоном². Разграничение относительного и абсолютного аналитизма важно в том отношении, что оно позволяет глубже уяснить степень аналитичности (resp. синтетичности) той или иной грамматической единицы в соответствующем языке. Так, например, древнерусская форма перфекта *онъ есть хвалилъ* и современная форма прошедшего времени *он хвалил* в сопоставлении с языком-эталоном, например, латинским [ср. *laudavit* «он (по)хвалил»] абсолютно аналитичны: обе они выражают значение лица вне лексемы *хвалил(ъ)*. Однако при сопоставлении друг с другом эти русские формы обнаруживают относительную степень аналитичности: форма древнерусского перфекта является трехкомпонентной, выражает значение лица более расчлененно и, стало быть, обладает большей аналитичностью, чем двухкомпонентная форма *он хвалил*.

Следует заметить, что абсолютное измерение аналитизма неявно устанавливается уже на этапе его дефиниции, поскольку аналитическая структура как таковая опознается лишь на фоне синтетических единиц (и обратнo), а, значит, соответствующий типологический фон есть не что иное, как избирательно рассматриваемый имплицитный язык-эталон. Но так как язык-эталон (мера абсолютного измерения) в таких случаях нередко отождествляется с относительной системой единиц, возникает необходимость разграничения этих параметров типологической структуры.

5. Отправляясь от изложенных выше теоретических положений, обратимся вначале к вопросу об аналитизме в м о р ф о л о г и ч е с к о м строе русского языка.

Аналитизм номинации — усвоение и формирование существительных с аналитическими свойствами типа *метро, пальто, роно, ГЭС, штаб-квартира* — рассматривается сторонниками гипотезы об «анализации» русского языка как один из главных аргументов в пользу этого предположения. В самом деле, прогрессирующий рост такой лексики в русском языке наших дней, широкая употребительность ряда несклоняемых существительных и отсутствие видимых аналогов этой лексики в русском языке прошлого, на первый взгляд, сомнению не подлежат. Однако при более основательном подходе к этим явлениям возникает возможность другого их истолкования.

Составные наименования (композицы) с несклоняемым первым (реже — вторым, например, *программа-максимум*) компонентом являются новыми для русского языка лишь в отношении их денотативной отнесенности, лек-

² О различных решениях в выборе языка-эталона см. [21].

сической семантики и сферы употребления. В типологическом же аспекте это весьма архаичные единицы, имеющие прямые аналоги в древнерусском, праславянском и праиндоевропейском языках. Так, например, в древнерусском языке были широко употребительны такие композиты с первым несклоняемым компонентом, как *жарь-птица*, *царь-девица*, *добродей*, *черно-власть*, *брато-чадъ* «племянник», *зло-дей*, *дрово-сежь*, *рыболовь* и др. Однако и здесь они не являются типологической инновацией. Словосложение было достаточно продуктивно и в праславянском языке [22, 23]. Есть основания также считать, что праславянские композиты с начальной неизменяемой частью представляют собой продолжение соответствующей индоевропейской типологической модели, ср.: санскр. *aṣva-yuj* «коней запрягающий» (букв. «конь-запрягающий»), *pitṛ-ṣṛavanaḥ* «создающий славу отцу» (букв. «отец-провозглашающий»), греч. ὄνομα-κλυτός «со славным именем» (букв. «имя-прославленный»). Если за типологический эталон принять древнерусский язык, то в абсолютном измерении композиты вроде *луна-парк* и *штаб-квартира* не могут считаться типологической инновацией. Не являются они таковой, естественно, и в относительном измерении.

Несколько иначе обстоит дело с несклоняемыми существительными типа *пальто*. Если в качестве языка-эталона избрать древнерусский, то в абсолютном измерении такие единицы, бесспорно, следует признать аналитическими, поскольку в русском языке древнего периода таких несклоняемых имен не было. Однако в относительном аспекте аналитизм этих существительных не столь бесспорен. Прежде всего, существительные типа *пальто* склоняются в современных русских диалектах и нередко в просторечии [24, с. 137, 25], ср.: «Я, товарищи, из военной *бюры*...» (В. Маяковский, *Хорошо!*); «Слушай, Петь, с „*фиаской*“ востро держи ухо...» (В. Маяковский, *О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах*); «Надеваю эти штаны, иду за *пальтом*» (М. Зощенко, *Баня*). Несклоняемость подобных существительных в литературной разновидности русского языка установилась не сразу. На рубеже XIX и XX вв., а также в первые десятилетия нашего века нормы их грамматического употребления были неустойчивыми (ср. замечание Л. В. Щербы в работе 1944 г.: «Хотя *пальто* звучит еще просторечно, однако рано или поздно этой форме обеспечено будущее» [26, с. 50]). Последующее вытеснение склоняемых форм несклоняемыми (и не изменяющимися по числам) обусловлено некоторыми факторами, среди которых не последнее место принадлежало социальным явлениям [4, с. 175—178]. Здесь, таким образом, в процесс типологической эволюции русского языка активно вмешалась сознательно направленная нормализаторская деятельность, что делает необходимым рассмотрение вопроса о соотношении системы языка и нормы. Этот вопрос, как известно, относится к числу трудных и имеет различные решения³. В дальнейшем мы будем исходить из следующего определения литературной нормы, предложенного Л. И. Скворцовым: «...языковая норма, понимаемая в ее динамическом аспекте, есть обусловленный социально-исторический результат речевой деятельности, закрепляющей традиционные реализации системы или творящей новые языковые факты в условиях их связи как с потенциальными возможностями системы языка, с одной стороны, так и с реализованными образцами — с другой» [31, с. 43].

Ввиду того, что норма литературной разновидности национального языка — это «не только социально одобряемое правило, но и правило, объективно-росанное реальной речевой практикой, правило, отражающее закономер-

³ Обзор соответствующих концепций см. в работах [12, с. 63—72; 27—29; 30, с. 36—52; 31].

ности языковой системы и ее эволюции» [30, с. 46]⁴, уместно поставить вопрос: каковы те внутрисистемные предпосылки, которые обеспечили закрепление в современном русском литературном языке заимствованных несклоняемых существительных типа *пальто*?

Таких предпосылок несколько, и все они сложились не шесть десятилетий назад, как иногда утверждают, а значительно раньше. Например, продуктивные диалектные конструкции типа *кирпич положено, рыба надо, кони поить* [24, с. 220—221, 242—244; 34, 35], в которых нейтрализованы противопоставления между именительным и косвенными падежами, возникли, как можно с уверенностью предположить, достаточно давно и являются свидетельством того, что в грамматическом строе русского языка аналитические тенденции издавна уживались с синтетическими, не парализуя, впрочем, в сколько-нибудь значительной степени действия последних. Примечательно, что и в литературной разновидности современного русского языка, несмотря на функциональную мощь категории одушевленности [36], широко и стойко функционирует конструкция типа *избрать в депутаты*, поддерживающая указанные аналитические тенденции давней поры.

Фактором, способствующим укреплению в современном русском литературном языке несклоняемых имен вроде *пальто*, является также восходящая к старорусской эпохе слабая экспонентная противопоставленность падежных форм определенного круга существительных. Так, в склонении имен типа *ночь* парадигма ед. числа представлена тремя омонимичными формами род., дат. и предл. падежей, а также двумя омонимичными формами им. и вин. падежей, т. е. из шести падежных форм материально различаются только три: им.-вин., род.-дат.-предл. и твор.

Издавна функционирующие в русском национальном языке композиты с несклоняемой частью типа *жар-птица, добро-дей*, несомненно, также могли стимулировать укрепление в литературной разновидности русского языка несклоняемых имен типа *пальто*.

Объясняя успех нормализаторской деятельности, направленной на стабилизацию несклоняемых форм указанных существительных, не следует упускать из виду, что такая нормализация осуществлялась на лексическом уровне, который характеризуется наибольшей уязвимостью для всякого рода воздействий извне. И хотя лексическая нормализация привела к известным грамматическим последствиям, в высказанном утверждении не содержится противоречия. Ведь существительные типа *пальто* вошли в русский литературный язык из французского как уже несклоняемые, и задача нормализаторов на этой стадии усвоения названных единиц сводилась к консервации их исконных грамматических свойств, а не к развитию новых. Деятельность нормализаторов здесь облегчалась тем, что предметом их заботы были имена существительные, которые представляют собой наиболее типизированное средство номинации. Ввиду того что «субстантивные лексемы самодостаточны и для определения их денотата, и для установления их сигнификата» [37, с. 48], коммуникативная ценность существительного сосредоточена в его лексическом значении, тогда как словоизменительный аппарат этой части речи в плане коммуникации выполняет подсобное назначение и нередко элиминируется. Иное дело глагол, львиную долю функций которого составляет выражение характера действия, особенностей его протекания, способов его осуществления, его источника и конечного результата [37, с. 101; 39], т. е. тех явлений, языковое отражение которых обеспечивает существование так

⁴ К этому уместно добавить следующее замечание Н. В. Крушевского: «... никакое заимствованное слово не может существовать в языке, не приспособившись своей внешней и внутренней стороной к стройному целому, называемому языком» [33].

называемого механизма актуализации предложения [38]. Не случайно поэтому заимствованные (и иные) существительные в русском литературном языке подчас лишены словоизменительных категорий, тогда как все без исключения — и заимствованные, и исконные — глаголы в русском языке снабжены разветвленным словоизменительным аппаратом. Как лексические единицы существительные, таким образом, достаточно податливы для нормализаторских предписаний, а это обуславливает возможность консервации в них тех грамматических свойств, которые в настоящем случае близки к нормам языка — источника заимствования. При этом такие грамматические свойства могут соответствовать одним типологическим явлениям заимствующего языка и одновременно — расходиться с другими, чем и отличается типологический статус существительных типа *пальто*. Вот почему их категоричная характеристика как симптомов «аналитизации» современного русского языка вызывает возражения.

Не могут рассматриваться в качестве таких симптомов и слова типа *кино, метро, кило, фото*. Образованные посредством усечения производящей основы по типу аббревиатур, они вошли и входят в литературный язык из городского просторечия [40], где им, несомненно, свойственна актуальная или потенциальная склоняемость, ср.: *вышел из кино, документ с фото* (из устной речи); «Закатив глаза, Соболь считал вполголоса: — Сто двадцать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, округляем, получаем восемь *кил*» (В. Панова, *Спутники*). Несклоняемость в литературном языке эти существительные приобрели, как можно предположить, по аналогии с именами типа *пальто*. Не случайно поэтому слова *метро, кино, кило, фото*, подобно существительному *пальто*, имеют (за исключением последнего) окончательное ударение и форму среднего рода, что резко расходится с акцентуационными и родовыми признаками соответствующих производящих существительных *метрополитен, кинематограф, килограмм, фотография*. По-видимому, такая аналогия захватила и аббревиатуры других типов вроде *роноб, районб, облонб, ГОЭЛРО, ГТО, БАФО, БелВО, УСБ, МОСПО, МОБ*, а также сокращенные слова, оканчивающиеся на иные гласные, например, *АРУ́, ЛИУ́, ЛЭТИ́, МАГАТЭ́*⁵.

Что касается сокращенных наименований на твердый согласный типа *ЛЭП, МХАТ, ЗИЛ*, то при всех колебаниях нормы их склоняемости [12, с. 159—165; 42, с. 166—170] отчетливо прослеживается стойкая тенденция снабжать эти наименования падежными флексиями [43, с. 65—70]. Небезынтересно, что даже и такие «неудобные» для падежного формоизменения существительные, как *завкафедрой, комполка* и под., не остались в стороне от этого процесса. «В речи, особенно некодифицированной, наблюдается настойчивое стремление избавиться от несклоняемости подобных номинаций...» [43, с. 60].

Таким образом, несклоняемость некоторых сокращенных слов в современном русском литературном языке свидетельствует не об «аналитизации» русского языка, а о сложности и противоречивости взаимоотношений между нормой и системой. Укрепление несклоняемых форм в кругу некоторых аббревиатур стало возможным главным образом потому, что нормализаторские предписания были направлены здесь на имена существительные, коммуникативная ценность которых, как уже отмечалось, сосредоточена, в отличие от глагола, в их лексическом значении, а не в словоизменительных категориях. Уместно напомнить в этой связи, что в корпусе глаголов русского языка (и других известных языков) предписываемых нормой аббревиатур нет и, по-видимому, не может быть.

⁵ Акцентуация этих аббревиатур дана по [41].

Сказанное выше в равной степени относится и к несклоняемым топонимам в сочетании с географическим термином, например, *у села Миронушка*. Важно также отметить количественное преобладание склоняемых форм в указанных словосочетаниях [12, с. 153]. Кроме того, необходимо принять во внимание, что лексическая нагрузка компонентов такого словосочетания различна, а это влечет за собой определенные грамматические последствия: «За именем собственным закрепляется только лексическая функция наименования, тогда как осуществление грамматической функции (связи топонима с другими словами в предложении) производится с помощью флективных форм географического термина» [12, с. 152]. Нечто подобное произошло, по-видимому, и с украинскими фамилиями типа *Шевченко*, которые в современном русском языке чаще всего употребляются в несклоняемой форме [42, с. 150—152; 44]. Поскольку такие фамилии (как, впрочем, и все другие) нередко сочетаются со склоняемыми существительными *товарищ*, *гражданин* и т. п., а также со склоняемыми личными именами и отчествами, между указанными фамилиями и этими словами могло произойти такое распределение функций, при котором за фамилией закрепились лексическая функция наименования, а за сопровождающими ее указанными существительными — функция грамматической связи с другими словами в связной речи. Определенное влияние на укрепление несклоняемого варианта этих фамилий могли оказать, разумеется, и рассмотренные выше грамматические модели несклоняемых существительных с окончанием *-о*.

6. **А н а л и т и з м** (resp. синтетизм) г р а м м а т и к а л и з а ц и и почти не привлекал внимания исследователей, что объясняется, по-видимому, глубоким проникновением аналитизма этого типа в систему языка и его весьма малой податливостью по отношению к нормализаторским предписаниям.

В истории форм русского глагола за их почти тысячелетнюю письменно засвидетельствованную историю попеременно происходило как усиление аналитизма, так и его несомненная убыль. Известно, что древнерусский язык к моменту появления первых памятников письменности имел три синтетически оформленных категории времени — настоящее-будущее, аорист, имперфект — и четыре аналитически оформленных категории: перфект, плюсквамперфект, первое и второе будущее (последние, правда, были вначале грамматикализированы слабо) [45]. Таким образом, в системе древнерусского глагола предписьменной эпохи явно преобладали аналитические тенденции.

Довольно скоро в древнерусском языке утратился имперфект, затем аорист. Однако это вовсе не означало прогрессирующего роста аналитизма. Во-первых утрачивались не только синтетические формы, но и аналитические: плюсквамперфект (который сохранялся дольше, чем имперфект и аорист) и будущее сложное второе типа *буду писалъ*. Во-вторых, падение указанных аналитических (и синтетических) единиц глагольной системы сопровождалось одновременно ростом видовых — синтетических — форм древнерусского глагола. Поскольку становление категории вида имело в русском языке характер всеобъемлющего процесса, можно констатировать, что в ту пору синтетические тенденции взяли верх над аналитическими. Вместе с тем грамматикализация сложного будущего времени и безусловное возобладание ко второй половине XVII в. в системе прошедших времен отперфектной формы типа *я (на)писал* [46] свидетельствовали о живучести аналитических тенденций в системе русского глагола.

В современном русском языке, учитывая сильно развитую категорию вида, соотношение глагольного аналитизма и синтетизма можно оценивать скорее в пользу последнего. Вместе с тем не следует закрывать глаза

на существование определенных глагольных единиц аналитического типа, возраст которых измеряется, по-видимому, не одним столетием. К ним, кроме упомянутых форм прошедшего и сложного будущего времени, относятся диалектные плюсквамперфектные формы вроде *был приехал, был приехавши*, перфектоподобные *работал есть, есть уехавши* и некот. др. Степень их грамматикализации различна и не всегда бесспорна, однако действие архаической тенденции к аналитизму глагольных форм проявляется здесь достаточно наглядно. Необходимо все же подчеркнуть, что современные русские диалекты вовсе не музей глагольного аналитизма. В них широко функционируют и не свойственные литературному языку синтетические формы типа перфектного (*билет уже купленный, (у меня корову) подоено*) [47] и др. Очевидно, что и в русских диалектах безусловное преобладание глагольного аналитизма над синтетизмом сомнительно. Как уже отмечалось, аналитизм грамматикализации находит свое выражение также в существовании так называемых двувидовых глаголов типа *исследовать, телеграфировать*. Однако здесь он не прогрессирует, а, как показывают специальные исследования, склонен идти на убыль [48, с. 218—223].

Таким образом, и в относительном, и в абсолютном (если эталоном служит древнерусский язык) измерениях взаимоотношения между синтетическими и аналитическими формами русского глагола неоднозначны, причем синтетизм в этой сфере грамматического строя явно превалирует над аналитизмом.

В кругу именных форм рост аналитизма иногда усматривают в эволюции русской субстантивной системы склонения от семипадежной к шестизвенной. Такая аргументация, однако, уязвима, поскольку в ее основе лежит допущение, которое само нуждается в доказательстве, а именно гипотеза, согласно которой в современном русском языке существительные имеют (или в недавнем прошлом имели) семипадежную парадигму [49]. Более близким к истине представляется положение о наличии в русском языке шестиступенчатой падежной системы склонения, включающей в себя варианты родительного и предложного падежей типа *меду* и *в снегу* [50]. Рассматривая эти варианты в диахроническом аспекте, допустимо предположить, что в русском языке имел место процесс, направленный на создание двух самостоятельных падежей — партитивного и локативного — однако этот процесс не получил своего последовательного завершения и остановился на полпути.

Не представляется признаком «аналитизации» русского языка и возникновение в нем двухродовых существительных *врач, председатель* и т. п. [51]. Выражение грамматического рода (и биологического пола) в русском языке издавна осуществлялось не только аффиксальным путем, но и при помощи согласуемых с существительным прилагательных и других частей речи (ср.: *черная тушь* и *громкий туш, такой задира* и *такая задира, лебедь белая* и *красивый лебедь*), а также посредством лексических средств, ср.: *бык* и *корова, петух* и *кураца*. В этом отношении существительное, например, *врач*, ничуть не аналитичнее, чем слова *задира* и *лебедь*.

7. **А н а л и т и з м к а т е г о р и з а ц и и** (формирование частей речи с аналитическими свойствами) и в относительном, и в абсолютном измерениях представляет собой весьма архаическое явление. К частям речи с развитыми аналитическими свойствами относится, например, наречие, на что в свое время обратил внимание Л. В. Щерба [26, с. 80]. Имена числительные, на прогрессирующий аналитизм которых нередко ссылаются, утрачивают признаки синтетизма не потому, что это отражает генеральное направление эволюции грамматического строя, а в связи с процессом формирования числительных как самостоятельной части речи.

«Их своеобразие складывалось путем отказа от тех, избыточных для числительных свойств, которые были присущи и существительным, и прилагательным» [52; ср. 53]. И хотя укрепление в русском языке таких «антисинтетических» частей речи, как числительное и безличный предикатив (категория состояния), бесспорно, приводит к увеличению удельного веса аналитических форм, этот процесс неизбежно укрепляет и позиции именных и глагольных форм синтетического типа, при помощи которых обеспечивается противопоставленность грамматических форм «старых» и «новых» частей речи.

8. Синтаксический и аналитизм на уровне словосочетания, по мнению ряда исследователей, находит свое главное проявление в распространении предложно-падежных сочетаний за счет беспредложных. Такая гипотеза спорна, по меньшей мере, в двух отношениях. Прежде всего, предложно-падежные сочетания не являются грамматической инновацией русского и других индоевропейских языков. Эти синтаксические единицы издавна употреблялись в них при выражении различных значений, преимущественно со значением времени и места [54]. Количественный рост предложно-падежных конструкций, наблюдающийся в истории русского языка [55], далеко не всегда сопровождался качественными изменениями в семантике этих синтаксических единиц. Зачастую предлог был и остается в них грамматически избыточным средством [56, 57], дублирующим семантику соответствующей глагольной приставки [58]. Во вторых, рассматривать предлог в качестве компонента аналитической формы можно лишь при расширенном истолковании понятия «аналитическая форма», которое в этом случае утрачивает необходимую терминологическую корректность. Более убедительной представляется точка зрения, согласно которой сочетание существительного с предлогом и аналитическая форма представляет собой разноплановые и прямо не соотносительные единицы [59].

К этому необходимо добавить, что в русском языке наряду с ростом падежно-предложных словосочетаний наблюдался и наблюдается диаметрально противоположный процесс вытеснения этих конструкций беспредложными [48, с. 228—232].

Важно принять во внимание, что в отличие от языков достаточно выдержанного аналитического типа (например, английского), в современном русском языке типичным согласованным определением является препозитивное склоняемое имя прилагательное, которое сохраняет все свои флективные свойства в сочетании с любым определяемым словом, в том числе и с неизменяемым, ср. *новое одеяло* и *новое пальто*, причем в этой функции прилагательные не только не обнаруживают признаков аффиксального упадка, но, напротив, всё более укрепляют свой морфологический потенциал благодаря весьма активному процессу их субстантивации. «В современном русском языке, собственно в советский период его развития, наблюдается заметное усиление процесса субстантивации, в результате которого сложились многие продуктивные словообразовательные типы» [60].

Известно, что во многих языках с развитыми аналитическими свойствами функционирует такое специфическое средство грамматической связи компонентов словосочетания, как артикль (определенный и неопределенный, реже только определенный)⁶. Если бы русский язык испытывал эволюцию от синтетического строя к аналитическому, следовало бы, по-видимому, ожидать формирования в нем такой грамматической единицы. Однако

⁶ Функция артикля обычно рассматривается на уровне предложения, см., например, [61].

несмотря на наличие в современном русском языке некоторых артиклеподобных явлений [62, 63], ожидать возникновения в нем типичного артикля (или артиклей) по крайней мере в обозримом будущем не приходится.

Синтаксический аналитизм на уровне предложения, как и многие его кардинальные свойства, есть следствие типологических особенностей важнейшей единицы языка — слова [64]. Поскольку же, как мы попытались показать выше, слово во всех его проявлениях в русском языке отличается преимущественно синтетическими свойствами, рост аналитизма в пределах русского предложения крайне сомнителен. Учитывая, что «разрушение флексии всегда влечет за собой установление более стабильного порядка слов» [65], постулируемый некоторыми исследователями рост аналитизма в русском языке должен вызвать установление в нем более твердого словопорядка, выполняющего главным образом формально-грамматические функции. Однако ни в истории русского языка [66], ни сейчас такой процесс не наблюдался и не наблюдается. «Как единственное средство выражения связи порядок слов в русском языке употребляется крайне редко» [67]. С особой наглядностью это свойство русского предложения обнаруживается на фоне соответствующего иноязычного материала [68].

Лимитированный объем настоящей статьи не позволяет рассмотреть другие явления грамматического строя, интересующие нас в связи с его типологической эволюцией. Однако и те факты, которые нашли здесь освещение, дают основание, как думается, для вывода о том, что ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, должен быть отрицательным. При бесспорном наличии древних и новых аналитических явлений магистральным направлением типологической эволюции русского национального языка является не прогрессирующий рост аналитизма, а усложнение связей как между различно направленными изменениями его грамматического строя, так и между системой русского языка и многочисленными (также подчас по-разному ориентированными) нормализаторскими предписаниями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шведова Н. Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966. с. 95 и сл.
2. Прокопович П. П. Об устойчивых сочетаниях аналитической структуры в русском языке советской эпохи.— В кн.: Мысли о современном русском языке. М., 1969, с. 47.
3. Лекант П. А. Развитие форм сказуемого.— В кн.: Мысли о современном русском языке. М., 1969, с. 143.
4. Мучник И. П. Влияние социальных факторов на развитие морфологического строя русского литературного языка в советский период.— В кн.: Мысли о современном русском языке. М., 1969.
5. Супрун А. Е. Русский язык советской эпохи. М., 1969, с. 54.
6. Шкляревский Г. И. История русского литературного языка (советский период). Харьков, 1973, с. 75—77.
7. Акимова Г. Н. Новые явления в грамматическом строе современного русского языка.— РЯНШ, 1980, № 5.
8. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XVIII вв. 2-е изд. М., 1938, с. 438.
9. Виноградов В. В. Русский язык. 2-е изд. М., 1972, с. 139—140, 544—545.
10. Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., 1968.
11. Бернштейн С. Б. Методы и задачи изучения истории значений и функций падежей в славянских языках.— В кн.: Творительный падеж в славянских языках. М., 1958, с. 32—33.
12. Граудина Л. К. Вопросы нормализации русского языка (грамматика и варианты). М., 1980.
13. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.

14. Солнцев В. М. Типология и тип языка. — ВЯ, 1978, № 2, с. 27.
15. Аракин В. Д. Очерки по истории английского языка. М., 1955, с. 167—168.
16. Теодоров-Балан А. Българско склонение. — Български език, 1954, кн. 1.
17. Чешко Е. В. Падежи и предлоги в современном болгарском литературном языке. — В кн.: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
18. Де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 114.
19. Мучник И. П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. М., 1971, с. 246.
20. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979, с. 161.
21. Общее языкознание (методы лингвистических исследований). М., 1973, с. 249—250.
22. Мартинов В. В. Славянские этимологические версии. — В кн.: Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972, с. 187.
23. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический фонд). Вып. 4. М., 1977, с. 43, 47, 49.
24. Русская диалектология. М., 1972.
25. Граудина Л. К. Разговорные и просторечные формы в грамматике. — В кн.: Литературная норма и просторечие. М., 1977, с. 93.
26. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
27. Общее языкознание (Формы существования, функции, история языка). М., 1970, с. 549—593.
28. Будагов Р. А. Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978, с. 165—209.
29. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. М., 1978, с. 26—38.
30. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма. М., 1978.
31. Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
32. Аналитические конструкции в языках различных типов. М. — Л., 1965.
33. Крушевский Н. В. Очерк науки о языке. Казань, 1883, с. 103.
34. Пеньковский А. Б. Заметки о категории одушевленности в русских говорах. — В кн.: Русские говоры. М., 1975.
35. Кузьмина И. Б. {Еще раз о конструкциях типа *картошка выкопано, кони запряжено, пол вымыто* в русских говорах. — В кн.: Русские говоры. М., 1975.
36. Ицкович В. А. Существительные одушевленные и неодушевленные в современном русском языке (норма и тенденция). — ВЯ, 1980, № 4, с. 96.
37. Кубрякова Е. С. Части речи в ономаσιологическом освещении. М., 1978.
38. Общее языкознание (Внутренняя структура языка). М., 1972, с. 332.
39. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 88.
40. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973, с. 275—276.
41. Алексеев Д. И., Гозман И. Г., Сахаров Г. В. Словарь сокращений русского языка. М., 1977.
42. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи (опыт частотно-стилистического словаря вариантов). М., 1976.
43. Алексеев Д. И. Грамматические особенности аббревиатур. — В кн.: Вопросы русского языкознания. Куйбышев, 1978.
44. Русский язык по данным массового обследования. М., 1974, с. 199.
45. Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959, с. 233.
46. Прокопович Е. Н. Из наблюдений над развитием форм прошедшего времени в русском языке. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М., 1971, с. 219.
47. Филин Ф. П. К истории оборота со страдательными причастиями на *-н-*, *-т-*. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М., 1971.
48. Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971.
49. Панов М. В. Русский язык. — В кн.: Языки народов СССР. Т. I. М., 1966, с. 97.
50. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 370 (примеч.).
51. Протченко И. Ф. К вопросу об изучении родовой соотносительности названий лиц в русском языке. — В кн.: Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
52. Супрун А. Е. Славянские числительные. Минск, 1969, с. 212—213.
53. Пауфидова В. З. Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 210—211.
54. Гухман М. М. К вопросу о развитии анализа в индоевропейских языках. — Уч. зап. I МГПИИЯ, 1940, т. 2, с. 20.

55. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе словосочетаний в русском языке XIX в. М., 1964, с. 9.
56. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 178.
57. Топоров В. Н. Локатив в славянских языках. М., 1961, с. 9 (примеч.).
58. Попова З. Д. Древнерусская падежная и предложно-падежная система в восточнославянской диахронии. — В кн.: Очерки по истории и диалектологии восточнославянских языков. М., 1980, с. 69.
59. Ярцева В. Н. Историческая морфология английского языка. М.—Л., 1960. с. 120—121.
60. Протченко И. Ф. О субстантивах и новообразованиях, создаваемых по их типу. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М., 1971, с. 231.
61. Габучан Г. М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 1972, с. 6—25.
62. Гуревич В. В. Есть ли артикли в русском языке? — Русская речь, 1968, № 3.
63. Иорданиди С. И. Из наблюдений над употреблением постпозитивного *-m* в русском языке (на материале сочинений Аввакума). — В кн.: Исследования по исторической морфологии русского языка. М., 1978.
64. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 77.
65. Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, с. 309.
66. Ковтунова И. И. Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в. М., 1969.
67. Белошанкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977, с. 20.
68. Бочваров Я. Порядок слов как грамматическое средство в славянских языках (в сопоставлении с некоторыми неславянскими). — В кн.: Грамматическое описание славянских языков. М., 1974, с. 214.

БОГАТОВА Г. А.

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЕЙ СЛОВА
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

(Постноминационная часть словарной статьи)

Лексико-семантические инновации проступают в более законченных формах на длительном отрезке времени, поэтому проблемы, которые возникают из-за способности лексики непосредственно реагировать на внеязыковые события, актуальны прежде всего для словарей диахронического плана. Эволюция внеязыковых связей слова в данный хронологический отрезок может отразиться на последовательности значений или составе словосочетаний в рамках словарной статьи, на последовательности результатов лексикализации форм в рамках словника. В порядке обсуждения, не претендуя на исчерпанность, хотелось бы коснуться некоторых типовых проблем и возможных лексикографических решений этих проблем в жанре исторической лексикографии (в основном на опыте Словаря русского языка XI — XVII вв.; далее — СлРЯ XI — XVII вв.).

0.0. Если номинацию связывать только с актом творения слова (этимологически *nominatio* — «наименование, дача имени») ¹, то словарную статью исторического словаря можно условно поделить на две части, зоны: на номинационную, отражающую по возможности связи слова, которые лежат в основе его семантической структуры (связи с признаками реалии, легшими в основу наименования — номинации), с приноминационными (преимущественно переносными, образными) значениями и употреблениями, и постноминационную часть, отражающую особенности функционирования слова в языке ².

0.1. В номинационной части словарной статьи должно быть определено исходное для данного языка семантическое состояние слова. Это достигается несколькими способами.

а) Через конструирование дефиниции или последовательности дефиниций, непосредственно включающих моменты номинации: *Духъ*, м. 1. Дуновение, движение воздуха, ветер. 2. Воздух, особенно душный, насыщенный испарениями, духота. 3. Дух, запах. 4. Дыхание. 5. Душа, жизнь и т. д. *Дубина*, ж. 1. Дубовое бревно, жердь, палка из дуба. 2. Толстая, пишковая палка, дубина. *Кладовщикъ*, м. Кладовщик. *Крутикъ*, м. Название краски синего цвета, получаемой из листьев растения крутик (синильник). *Лукати*. Метать (как из лука), швырять палку. *Охотникъ*, м. Тот, кто желает, имеет охоту что-л. делать ³ и т. п.

¹ О всех значениях термина номинация (применяемых преимущественно в синхронной лексикологии и лексикографии) см. [1] (особенно главу «К типологии лингвистических номинаций», написанную В. Г. Гаком, и главу «Соотношение эстетического и логического компонентов в лексической номинации», написанную Л. С. Ковтун).

² Раздел 00—01 кратко суммирует и дополняет ранее опубликованную статью автора [2].

³ Мотивация наименований, особенно непронизводных, на почве данного языка или даже данной семьи языков (типа *духъ*, *береза*), в большинстве случаев лежит за пре-

б) Через включение в состав дефиниции скобочного расширения с пометой о языке-источнике или посреднике заимствования или сравнением с фиксацией слова в диалекте: *Лаксирь*, ж. Название рыбы (густера? — ср. диал. *ласкирь*). *Лака*, ж. Лак (ср. итал. *lacca*) X комедийному строению... четверть фунта флорентийской лаки. Док. моск. театра, 13. 1627 г. ⁴. *Катавасия*, м. Церковное пение во время утренней службы, при котором оба хора сходятся вместе на середину церкви (ср. греч. $\alpha\text{-}\alpha\text{-}\beta\text{-}\alpha\text{-}\zeta$ «спуск, схождение вниз»).

в) Через подключение иллюстрационного материала, отражающего воззрения древних на природу, происхождение того или иного слова, наименования: *Самолюбие* — *еже к тѣлу страсть и удобное к тому страсти, поготи*. Толк. речем ⁵, 301. XVI в. *Персияне от Персиды названы кизыл-баши, по красной чалмѣ, что на главахъ носятъ такъ имянуются*. Козм., 333. 1670 г. *Иное питье мушкатель имянуется потому прилѣтають на тѣ виноградные гроздие мушки многие*. Там же, 174. *Садовник Исайко... къ ней же царевне приваживал и иныхъ мужиковъ, которые клады же знаютъ... мужиков кладовщиковъ знаетъ тотъ Исайко*. Сл. и д. II, 41. 1711 г. Это не значит, что приведенная точка зрения совпадает с точкой зрения автора словарной статьи. Подобные иллюстрации помогают интерпретировать эпоху через представления того времени, помогают проследить за развитием самих принципов номинации.

1.0. Проникновение в природу, механизм наименования идет и через исследование внеязыковых, экстралингвистических связей слова, ибо «производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни» [3]. Не менее важную роль для исторической лексикографии играет исследование функционирования реалий, идей, представлений в условиях данной цивилизации, данного общественного уклада, функционирования референта-слова в условиях данной историко-культурной и языковой ситуации. Исторические словари должны уловить и отразить словарными средствами этот контекст эпохи, уделяя особое внимание набору значений и употреблений в письменный период, характерной для этого времени сочетаемости слова, сопоставлению схем семантического развития тематически близких слов, корневых групп. Построение постноминационной части словарной статьи должно учитывать и два магистральных воздействия на семантику слова: с одной стороны — это последовательное развертывание компонентов номинации, с другой — корректировка семантического развития условиями функционирования слова.

делами письменного языка и конструируется этимологическими средствами в словарях иного жанра (см., например, Этимологический словарь русского языка Фасмера, Этимологический словарь славянских языков под ред. Трубачева). Однако сама последовательность значений у многозначных слов (*духъ*), как бы демонстрируя нам «память» слова, может отражать картину эволюции слова, совпадающую с его этимологической историей. Древнейшие однозначные слова могут иметь в историческом словаре и эквивалентное толкование (*Берега*. Береза. *Кровь*. Кровь). Внеязыковые связи слова, первоначально положенные в основу номинации, помогает установить только этимология, хотя в письменных свидетельствах корневой группы слова, в близкородственных языках и диалектах могут содержаться реликтовые черты.

⁴ В статье используются материалы Картотеки ДРС XI—XVII вв. Института русского языка АН СССР и Словаря русского языка XI—XVII вв. (вып. 7—10. К — Н. Гл. ред. чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин, ред. Г. А. Богатова) по изданным выпускам, корректуре, редактируемой машинописи. Сокращения в обозначении источников сделаны в соответствии с изданием СлРЯ XI—XVII вв. (Указатель источников. М., 1975).

1.1. Р а з в е р т ы в а н и е семантических компонентов номинации (их, как правило, несколько) может протекать двойко — как равномерное и как избирательное.

1.1.а. Р а в н о м е р н о е по отношению ко всем слагаемым (семам) развертывание номинации дает построение словарной статьи в виде дерева $1 \begin{matrix} \rightarrow 2 \\ \rightarrow 3 \end{matrix}$, например: *Квасъ* м. 1. Закваска, дрожжи.

2. Кислый напиток, преимущественно квас, приготовленный с помощью закваски, дрожжей. 3. Кислота, кислый вкус. (Расположение значений в виде цепочки $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ — условность лексикографий). Но в историческом словаре с относительно поздним началом письменной фиксации ситуация «к у с т а» $1 \parallel 2 \parallel 3 \parallel 4$ с не обозначенным, но незримо присутствующим общим номинационным началом едва ли не более частая.

Катокъ, м. 1. Сельскохозяйственное орудие [перемещающееся перекатыванием] для рыхления почвы. 2. Приспособления для перекатывания тяжестей. 3. Противоштурмовые бревна, которые скатывают со стен во время приступа. 4. Сверток, рулон, скатка холста. 5. Комок; обкатанный кусок земной породы. 6. Приспособление для глажения белья, одежды, каток. *Квадрантъ*, м. 1. Название древнеримской медной монеты, равной четверти асса. 2. Астрономический прибор, употребляемый для измерения высоты светил и измерения углов, состоящий из четверти круга, разделенной на градусы. 3. Инструмент, состоящий из разделенной на градусы четверти круга, которым пользовались в артиллерии для определения наклона орудийного ствола. *Наметка*, ж. 1. То, чем что-л. накрывается сверху, покрывка. 2. Головное покрывало, накидка; женский головной убор. 3. Род накладной петли. 4. То, что наваливают на надолбы, чтобы усилить их заградительную способность.

1.1. б. И з б и р а т е л ь н о е развертывание семантических компонентов номинации может делать актуальным какое-то одно семантическое слагаемое (или метафору, связанную с ним).

Избирательность «проступания», «проявления» какого-то одного компонента из номинации бывает связана с конкретными условиями функционирования данного языка, с отражением языком конкретных внеязыковых ситуаций, доступных непосредственному наблюдению. Др.-инд. *markāh* «уничтожение, смерть», «порча» и *marka* — в Ригведе «затмение солнца» (возможно уже метафора) [4] родственны с др.-русск., церк.-слав. *мракъ*, др.-русск. *меркнути* (*мъркнути*, *мьръкнути*), которые по существу отражают уже лишь одну идею: постепенную утрату, «порчу» интенсивности, яркости чего-л.

Письменность фиксирует чаще всего обозначение момента перехода от яркого свечения к затмению, к тусклому освещению, сумеречному состоянию: *По скръби дънии тѣхъ слънце мъркнетъ*. Остр. ев., 145об. 1057 г. *Дондеже не мъркнет слнце и свѣтъ, и луна*. (Еккл. XII, 2) Библи. Генн. 1499 г. О том, как внезапно смерклось, потемнело кругом перед грозой, повествует памятник XIV в.: *Идущемъ же имъ на полудни, вънезапу въ единемъ часѣ мърче и бысть ношь и не въдяху, камо ити, и потомъ вѣста вѣтръ великъ угъ съ тучю великою и съ громъмъ*. Чуд. Ник. Торж., 69. XIV в. **⁵. Интересно обозначение этого момента в сочетаниях со слова-

⁵ В соответствии с правилами, принятыми при работе над СлРЯ XI—XVII вв., под * приводятся цитаты, взятые из Материалов для древнерусского словаря И. И. Срезневского (Т. I—III, СПб., 1890—1912 гг.), под ** — цитаты (авторские выписки В. Л. Виноградовой из равных источников и картотеки СДР XI—XIV вв.), опубликованные в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве». Здесь: вып. 3, Л., 1969, с. 84.

ми *день* и *ночь* в образных контекстах: *День меркнет вечером, а человек печалью* или: *Длго ночь мръкнетъ, заря свѣт за пала, мъгла поля покрыла*. Сл. о п. Иг., 10, где момент «утраты интенсивности свечения, света» в принципе мог быть связан как с вечерней, так и с утренней зарей [5]. В примере из Сл. о п. Иг. при толковании «темнеть», «начать сгущаться (о сумерках)»; «опускаться (о ночи)» нельзя исключить совсем энантисемии «начать рассеиваться (о темноте)».

Экстралингвистически процесс «утраты интенсивности как света, так и тьмы» един, но направление изменений для логико-понятийной сферы связано с «посветлением» или «потемнением». Для языка же оказался важным и характер субъекта: светящееся — тускнеет, блекнет, светлое — темнеет. В древнерусском языке это отстоялось в двух типах сочетаний: *солнце меркнет, день || ночь меркнет*. Можно сказать, что глагол *меркнути* в процессе функционирования развил два значения: 1. «Тускнеть, терять (начать терять) интенсивность, яркость (о свете, источнике света)». *Солнце меркнет*. 2. «Темнеть, начать сгущаться (о сумерках); опускаться (о ночи)»; «рассеиваться (о тьме)». *День меркнет. Ночь меркнет || Безл. «Смеркаться». Вънезапу мърче*. Такие конкретно-ситуативные значения, реализующие ту или иную первоначальную сему, нередко начинают также схему вторично образованных (префиксальным способом) корневых групп (ср. ниже слова типа *навалъ, налогъ*).

1.2. Корректировка семантического развития моментами, связанными с функционированием слова в данной социально-языковой среде.

1.2.а. Если у разных реалий в этой среде одинаковое назначение, это не может не сказаться на сближении схем семантического развития их наименований, на сходстве в формулировке значений корреспондирующих с ними слов.

В процессе языковых контактов в древнерусский период были заимствованы, например, из разных языковых регионов некоторые названия жилых строений и помещений — *комора, комната, полата*. Заимствование самого типа, способа постройки (сводчатой, отапливаемой или с шатровым верхом) также могло иметь место, хотя все подобные реалии постепенно видоизменялись во времени, совершенствовались с учетом местных климатических условий.

Все три реалии (как и три слова) в процессе функционирования сближала уже больше общая тематическая отнесенность и общая функция. Заимствованное слово в таких условиях нередко деэтимологизировалось. Иногда слово могло и распасться на два отталкивающихся орфографически и семантически варианта, например, рядом с *камара* — с развивающимися этимологическими связями «свод», «арка, дуга», «ниша со сводами» — укрепилось как самостоятельное *комора* — с затухающими связями по отношению к принципу номинации «помещение со сводами», «келья», «комната»; «покой», «строение вообще». *Комора* в памятниках русской письменности позднего времени не испытывает серьезной зависимости от *кама́ра* «свод», а *комната* от *caminata* «отапливаемое помещение», *палата* от *palatium* «дворец, чертог».

Семантические схемы всех трех слов в историческом словаре отражают тенденцию к сближению, в отдельных случаях почти взаимозаменяемы.

Комора, камора, ж. и *каморъ*, м. 1. Свод, помещение со сводами. *Столпы мраморныя, а на нихъ каморы сииртъь своды*. Х. Ионы Мал., 21. 1652 г. *Над прчстой ка-*

Комара, камара, ж. 1. Свод, покров; помещение со сводами (ср. греч. *καμάρα*) ... (1474): *Падеся та церковь... а уже были комары учили сводити, рекше покровъ*. Соф.

морь в четырех столпѣхъ. Подлинник ик., 52. XVII в. 2. Дом, жилище. || Жилая часть постройки. || Место обитания; логовище, берлога. 3. Комната, жилое помещение в доме. || Спальня, опочивальня. || Царские покои; палата, зал... *В царской коморѣ сирѣчь во думной полате.* Козм., 39. 1670 г. 4. Кладовая... *Комора* — хранильница или полатка. Алф.¹, 152. XVII в. || Казнохранилище, сокровищница. 5. Торговое строение, помещение.

Слово имеет производные, связанные семантически с домом, ж и л ь е м: *коморка, каморка; коморникъ; коморниковъ, каморниковъ; коморница; коморничество; коморный.*

Комната (комбата, комлата, комбната, коммата, кондата), ж. 1. Жилое помещение, дом. (1443): *Постави архиепископъ... поварни каменны и комнату каменну во своемъ дворѣ.* Новг. IV лет., 438. || Верхние (господские) покои в доме; княжеские, царские палаты. 2. Комната. || Задняя комната, опочивальня, в отличие от горницы. *Да передъ комлатой сѣни же да горенка.* Арх. Стр. I, 603. 1583 г. 3. Собрание, совет комнатных бояр, близких к царскому двору. Производные: *комнатишко, комнатка, комнатный.*

Полата, палата, ж., часто мн. *полаты, палаты.* 1. Дом, высокое (дворцовое) строение; хоромы, палаты. *Къ црю въ полату* (εις το παλάτιον). Патерик Син., XI в. *Против... каменные полаты, где стоит... зеленая казна.* АЮБ I, 293. 1670 г. *Вышли вон из высокой палаты... и учели бити челом.* Уруслан, 110. XVII в. *Царь... повелъ призвати его въ палаты своя.* (Ж. Ив. Неронова) Суб. Мат. I, 286. XVII в. || Обитель, жилище. || Шатер, строение с шатровым верхом. *Церковь же та велика велми и высока, полатою сведена.* Х. Стеф. Новг., 56. XVI в. ~ XIV в. 2. Верхние жилые покои, комнаты в доме. || Помещение в верхней части церкви (хоры). 3. Царская верховная дума, государственный совет. 4. С опред. Государственное учреждение, ведающее чем-л. *Посольская полата.* Рим. имп. д. I, 971. 1587 г. *Въ... Аптекарскую палату.* ДАИ VI, 211. 1674 г. 5. Сокровищница, ризница (в церкви).

1.2.б. У слов, обозначающих реалии одинакового назначения, в постноминациональной части словарной статьи мы нередко встречаем повторяемость в последовательности двух значений. Так, можно заметить, что если какая-либо емкость служит мерой зерна, то, как правило, следующим значением этого слова оказывается мера пахотной земли.

Коробья, ж. 1. Короб, плетеный или выгнутый из луба или драни сундук или большая корзина округлой формы с крышкой. 2. Коробка, ящик, ларец для хранения ценностей, бумаг. || Казна, доход, скопленные деньги. 3. Небольшой металлический сосуд в форме коробы. 4. Короб, тара и мера объема для сыпучих и мелких штучных товаров. 5. Новгородская мера зерна в две четверти, после XVI в. — в четверть. (1455): *Хлбъ дорогъ бысть... по двѣ коробы на полтину.* Новг. I лет., 425. *А не будетъ хлбѣа и вы бѣ дали денгами по тамошнѣи цѣнѣ, за четверть за новую жѣ мѣру,*

II лет., 198. *Поставлеи небо яко комару... над землею.* ВМЧ, Сент. 14—24, 791. XVI в. || Дуга, арка. *И се ино чудо ... пламень... от въръха цркви нааго ишѣдь и акы комара... преиде на други хлбѣмъ.* (Ж. Феодос. Нест.) Усп. сб., 118. XII—XIII вв. || Крытая арочная колоннада, портик. *Градъ... врѣху покры комарами... на убежанне дожда* (σφοδῆ). Флавий. Полон. Иерус. I, 66. XV в. ~ XI в. ... || Ниша со сводом для захоронения в церкви; особый придел со сводом. 2. Отдельное жилое помещение, келья, комната. 3. Кладовая.

Производные связаны семантически со с в о д о м: *комаровидный, комарка, комария «закомара».*

а не за коробью, да и впродѣ бы есте имѣ давали хлѣбъ въ новую мѣру въ четверть, а не коробьями. ДАИ I, 143. 1556 г. ... 6. Новгородская мера пахотной земли (по количеству зерна, измеряемого коробьями). *Пашни... 5 коробей въ полѣ, а въ дву потомужь*. Кн. ям. новг., 164. 1624 г.

Корья, ж. 1. Тара и мера объема зерна, корнеплодов. *17 коробьи ржи съ четверткою, корья с четверткою оса, корья съ четверткою ячмени*. Кн. пер. Шелон. пят. II, 72, 1498 г. *Съялъ коробью ячмени да урѣзалъ корью рѣны*. Кн. пер. Водск. пят. I, 32. 1500 г. 2. Мера площади, на которой высевается «корья» зерна. *Пашни 6 коры, сена 20 копенъ*. Кн. пер. Шелон. пят. II, 73. 1498 г. Примечание: нельзя совсем исключить того обстоятельства, что *корья* может быть из *коробья* (как привычная сокращенная форма записи слова *коробья*).

Корецъ, м. 1. Ковш. || Мерный ковш. 2. Берестяной или металлический сосуд, служивший тарой и мерой объема сыпучих и влажных продуктов (зерна, масла и т. п.). *А ключнику четь пшеницы... а человѣку его сыръ, горсть мну, корецъ пшеницы*. Кн. пер. Бежецк. пят., 26. 1501 г. *32 сыра, 32 корца масла, 4 коробьи хмелю*. Кн. пер. Шелон. пят. I, 580. 1553 г. || Совок для насыпания или отмеривания зерна, муки. *Куплен корецъ в житницы, данъ алтънъ*. Кн. прих.-расх. Тихв. м. № I, 104, об. 1592 г. 3. Мера пахотной земли (по количеству высеянного зерна, измеряемого корцами). *Дано за дренскои участокъ, что на мнѣстръ пашут... за дватцатъ(ь) полтора корца что роспущено... три рубли*. Кн. прих.-расх. Свир. м. № 25, 63 об. 1658 г. *Крѣстьянской их земли дватцать восемь корцовъ*. А. Свир. м., № 25. Кн. о наказан. 1720 г.

Любопытно, что в истории польского языка, как свидетельствуют материалы Картотеки польских говоров, *kořec* известен преимущественно как «dawna miara zboża: 80 funtów żyta, 75 funtów jęczmienia, 50 funtów owsa» (записи в Вейхерово, к северу от Гдыни), иногда как мера корнеплодов (картошки и пр.). Фиксируются и два случая «меры земли»: *Kńeбе mieli w Dzie po 24 korce gruntu (kořec gruntu «pole obsiane korcem zboża»)*. *Dziwin. wojew. Mał. atl. Gw. P. 50/8d; kořec «miara powierzchni, 3 kořec = 2 morgi*. *Niepołomice boch. Polsk. Towarz. Ludow. Mat. PGL XI: 166* (из записей под Краковом).

1.2. в. К числу таких же реалий можно отнести и шкурки пушных зверьков, которые в Древней Руси могли выступать в качестве меновой стоимостной единицы. Их названия перешли затем к единицам податного обложения, заменившего его натурально-денежного оброка, а затем и к платежно-торговым единицам, принятым в тех же регионах. Этот факт внеязыковой истории характерен только для восточнославянских территорий, и такая последовательность в схеме семантического развития слов *вѣкша*, *вѣвѣрица*, *бѣлка*, *куна* встречается только в восточнославянской письменности. Обобщенно схема эта такова: пушной зверек > мех, шкурка пушного зверька ≧ податная натуральная единица обложения (дома, двора, хозяйства, земли) и сменявший ее постепенно оброк того же названия, выплачиваемый каким-л. натуральным продуктом или деньгами ≧ расчетно-денежная единица при обмене и купле товаров > монета, денежная единица. Подобно тому, как мы до недавнего времени измеряли мощность мотора в лошадиных силах (пусть условно), а мощность электроламп в свечах, слово *куны* долгое время служило для обозначения денег вообще, по своему виду не имевших уже никакого отношения к шкурке зверька.

Куна, ж. 1. Куница, животное из семейства кошачьих. *Корькодилы чьяху и змии, куны же и рыбы*. Изб. Св. 1073 г., 162. Куна (*złoty*)

(Кир. Иерус. огл.) Оп. II (2), 54. XII—XIII вв. ... *Отъ различныхъ зверей кунъ дорогие и бѣлки... ко одеждам и ко яденю потребны.* Курб. Ист., 190. XVII в. ~ XVI в. 2. Мех куницы. (1185): *И вымыкаша... ис терема кунъ, и книги, и паволоки.* Лавр. лет., 392... *Скрываютъ кунъ и порты на изѣденье молью.* Ио. Злат. XIV в. *. 3. Податная натуральная единица или ее денежное возмещение. *Вирнику 16 гривенъ и 10 кунъ и 12 вѣши.* Правда Рус. (пр.), 124. 1282 г. ~ XII в. *Черныя куны — вид обложения, взимаемого в пользу князя.* (883): *Поча Олегъ соевати деревляны и примучи вои, имаше на них дань по чернѣ кунѣ.* Лавр. лет., 24. *А у Горотчи урока м·гри(вен), и ѳі·лисиць, и і·черных кун, невод... берковескъ меду.* Княж. уставы, 146. XVI в. ~ XII в. *А за мѣлкой доходъ за бораны и за куры... 20 рублей и пол — 14 гривны... а черны куны пол — 17 рубль.* Кн. пер. Дерев. пят. П, 735. 1495 г. 4. Преимуществ. мн. Мелкая денежная и платежно-торговая единица (в домопгольский период равная 1/25 гривны, позднее 1/50 гривны); деньги вообще. *Аже кто кунъ даетъ въ рѣзъ или настаеъ на медъ... то послухы ему ставити.* Правда Рус. (пр.), 127. 1282 г. ~ XII в. *Что кунъ, то все въ калитѣ, что нѣртъ, то все на себѣ.* (Приписка в Паремейнике 1313 г.) Карский, 285... (1409): *Тоя же зимѣ въ Псковѣ отложиша кунами торговати и начаша пнѣязми торговати.* Псков. лет., II, 35. *Гривна кунъ — условная счетно-денежная единица, составлявшая в к. XII в. 1/4 гривны серебра. Старые вѣтхые куны; новые куны. О платежных знаках XI—XIV вв. Старые деньги (гривны), еще находившиеся в обращении, наряду с вновь выпущенными деньгами (гривной — рублем). Куна смоленская, тверская — денежные и платежно-торговые единицы местного хождения, местной меры стоимости. Латинескому дати от овою капию въску, въсцю куна смоленская.* Смол. гр., 24. 1229 г. *Придетъ к нам коли из Орды посол силен, а немочно будет его спраовадити, ино тогда архимандрит с тех сирот пособит в ту тязоту, с половника даст по десятку тверскими кунами.* АСВР III. 154, ок. 1437 г.

Повторяемость в схеме семантического развития касается не только мехов, но и любых других предметов, которые могли быть податной натуральной единицей обложения, а затем дали название оброку (выплачиваемому натуральным продуктом или деньгами, см. в СлРЯ XI—XVII вв. *баранъ, великоденские яйца* и др.).

1.3. Последовательное развертывание семантических компонентов номинации в производных тематически и структурно близких словах также приводит к повторяемости в наборе значений при корректировке семантического развития условиями функционирования слова. Например, у глаголов *валити — класти || ложити — метати* одно из значений «наваливать (навалить), накладывать (накласть, наложить), набрасывать (набросать) что-л. сверху». Их отглагольные существительные префиксального, вторичного образования *навалъ, накладъ, налогъ, наметъ* имеют сходные семантические модели развития. Как правило, их конкретно-ситуативные, приноминативные значения, если они сохранились, уже приобрели некоторую специфичность: *навалъ* «насыпь», *налогъ* «тяжесть, давление (от чего-л. положенного сверху)», *наметъ* «то, что набрасывается, кладется сверху; накидка, покрывка». Все остальные значения составляют постноминативную часть словарной статьи. В наборе этих значений с небольшими вариациями прослеживается развертывание семы «сверх, сверху»: «вид обложения, платежа, взимаемого сверх какого-л. другого, ранее установленного».

Сопоставим семантические схемы этих слов.

Навалъ, м. наряду с конкретным «насыпь», «мельничная запруда, плотина, которая гатится хворостом, мелким лесом и засыпается сверху зем-

лей», слово имеет отвлеченно-переносное «действие по глаг. *навалити* (в знач. 1)» по семе с в е р х : «вид побора, налога», с возможным переходом к «дополнительно (сверх чего-л.) взимаемому или налагаемому побору, платежу»: *Вы де на них правите дѣги наметываете... и вам бы на них денег никаких навалов... не правити.* Нпжегор. а. № 16. 1653 г. Ср. у Даля: *навалныя, наволочные деньги* «сбор с крестьян... сверх подушного оброка». *Накладъ*, м. 1. Побор, плата, взимаемая с должника *сверх* взятой взаймы суммы, рост: *А се наклади · вѣ· гривну, отроку двѣ гривѣ и · к · кунъ.* Р. Прав. Влад. Мон. * *Отверзися кунъ дати в лихву рекше в накладъ.* Паис. сб., 173*. *Не буди кошунникъ, ни резоимзѣ, наклад не емли.* Корм. Балаш., 332 об. XVI в. 2. Дополнительное обложение, налог. [*Федор Коковин*] *старца нашего Ефрема... билъ и увечилъ, а бивъ... похвалялся на насъ нищихъ твоихъ богомольцовъ... бѣлочнымъ напраснымъ накладомъ на Троецкие деревнишка.* АХУ III, 156. 1633 г.

Это последнее значение, развивая сему «дополнительно», дало энтимосемичное ответвление «дополнительный расход» > «ущерб, убыток»: *А нынѣ мы... печемъ хлѣбы и колачи безъ прибыли и въ наклад... и многие... печь перестали.* Указ о хлѣбн. и колачанномъ весу, 42. 1626 г. *А что под темъ товаромъ прибыли или накладу, сверхъ своихъ истинныхъ денегъ, и то намъ разделить с тобою пополамъ.* Ревел. а, I, 289. 1674 г.

Налогъ, м. и *налога*, ж. Действие по глаг. *наложити* (в знач. 1) или «давление, тяжесть от чего-л., положенного, наваленного сверху»: *Камене тяжька налогъ претърѣтъ.* Мин. май. XII в.*.

Более позднее ответвление «действия по глаг.» — «вид обложения, побора, платежа, взимаемого сверх какого-л. другого, ранее установленного, дополнительно к нему»: *Вся цркви от всякого налога и дани свободи* Ж. Алекс. Пах. Логоф., 53. XVII в. ~ 1459 г. *Достойтъ вамъ святителемъ... запретити, чтобъ отъ десятильниковъ тяжкитъ налогъ не было.* Стогл., 27. XVI в. *Нечаемо новая налога по десятии со ста на тот [лен] наложено.* Петр III, 292.

Как видно по цитате из Стогл., подобное обложение часто носило характер произвола со стороны лиц, ведающих сбором дани, пошлыны, ясака и проч. Священник Сильвестр протестует против тех, кто «*немилосердѣ бѣ*» ... «*дани тяжкити и уроки и всякие налоги... несправедно возлагая*». Сильв. Посл., 34. XVI в. Во многих текстах речь идет о сборщиках, целовальниках, приказчиках, головах, воеводах и т. п. лицах, обременявших народ дополнительными поборами, взимаемыми в свою пользу: *Беречь накрѣпко, чтобъ от сборщиковъ... въ томъ денежномъ сборѣ в городѣ посадскимъ и уѣзднымъ людемъ ни отъ кого продажи и налоги не было и лишнихъ бы денегъ ни съ кого окромъ нашего указу ни кто не ималъ.* ААЭ III, 412. 1637 г. [*Чигалейка и служилые люди*] *чинили имъ тунгусамъ великие жъ налоги и обиды и разоренья а вашего де великихъ государей ясаку съ нихъ... во всю зиму не имали.* ДАИ X, 345. 1687 г. Множественность обложений в средневековой Руси стала той ситуативной экстралингвистической деталью, которая в некоторых случаях позволила утратиться специфичности («кроме», «сверх») и развиться обобщенности «налог, побор (натурой, деньгами) вообще» > «любой произвол, притеснение, обίδα»: *И польские и литовские люди на Москвѣ и по городомъ многие зборы денежные и кормы немѣрные почали збирать и московского гсдрства всякимъ людемъ великие налоги и насильства учали чинити.* Нак. Зюзину, л. 24об. XVII в. ~ 1613 г. *А самъ въ окно изъ кельи смотрѣлъ, и всякую я налогу и мучение отъ него, преосвященного Иосифа, принялъ.* Д. Иос. Колом., 98. 1675 г.

Наметъ, м. Действие по различнымъ значениямъ глаголовъ *наметати* — *наметывать* реализуется в отглагольномъ существительномъ также в порядке следования глагольныхъ значечий: от конкретного «наложить, набро-

свить сверху или поверх чего-л.» к переносно-отвлеченным «обложить равномерно, побором, разверстать на всех какую-л. сумму побора» с переходом к «обложить дополнительным побором, сверх чего-л., установленного ранее». У *наметъ* при специальных значениях «накидка, покрывка», «навес, балдахин» можно отметить «п р и д а ч у к товару, п р и б а в к у к земельному участку (с целью компенсировать возможные изъяны товара, низкое качество земли)»: *И зумберъ на насъ взяле... тысяч(у) бѣлѣкъ, а тритчетъ бѣлѣ намета.* Гр. Новг.¹, 275. *Гриши пряничнику... досталось... обжа земли пуста, да намету на ту землю въ Кажеве полдвора.* Кн. ям. Новг., 43. 1590 г.; «н а д б а в к у к обложению, добавочный сбор, платеж, налог»: *И никаких наметов на их не метать, а ни весчего, ни померного, ни повозного; никаких пошлин... не имать.* (Жал. грам. Онуфр. м-рю) А. Зап. Рос. I, 57. 1443 г. *И тѣхъ денегъ уложили братъ на сохи зо рублевъ... по два алтына с полуденьгою на сошку, да на сто сохъ намету по гривны.* Отп. сотск. Як. Дмитр., 1550 г. *Учнетъ (помещик) немѣрными податми или наметы отягчати.* Учен. ратн. строения, II. 1647 г. Производные с этим корнем также сохраняют линию развития от чего-л. «наложенного, наброшенного сверху или поверх чего-л.» (*наметный: засовъ и крюкъ наметной желѣзны. Ожерелье бобровое наметное*) к «прибавленному к сумме повинностей, сборов, платежей» («наметные деньги», собираемые по случаю войны; *въ... лишномъ бѣлочномъ окладе и въ наметныхъ бѣлакахъ чинятся мнѣ убытки великия.* АХУ III, 88. 1629 г.) и даже «прибавленному в принудительном порядке, навязанному» (*Тѣ рыбные ловли прежней откупщицѣ откупные годы... оддержавъ, наметные два года держалъ... поневоле.* Астрах. а., № 1005, сст. 8. 1628 г.).

2.0. Словарную статью исторического словаря можно назвать структурно организованной классификацией человеческого опыта, полученного в данной историко-культурной и социально-языковой среде. У з а л ь н ы е моменты и уровень развития экономики и культуры всегда сказывались на выборе языковых средств для выражения тех или иных понятий. Например, обозначение временных понятий через пространственные было значительно более широко, чем сейчас, а обозначение времени, потребного на преодоление какого-либо пространства, в большей степени зависело от средств передвижения: *В том чертеже... мера верстами, и мильми и конскою ездою, сколько ехать... ездою на день, написано.* Кн. Б. Чертежу (С.), 49. 1627 г.

2.1. Повторяемость ситуаций (при обозначении временных отношений через пространственные) приводила к сложению типовых языковых реакций. Это проявилось не только в фиксации временных значений у сугубо пространственных слов (*мѣсто: Слухъ же слышитъ въ другаа мѣста истинна, а въ другаа мѣста лжа.* Посл. мт. Никиф. Влад. Мон. Р. Дост. I, 68. XVI в. ∞ XII в.), но и в значительном количестве сочетаний с временным значением и в известной повторяемости типов сочетаний. *До сѣго мѣста* — «до сего времени»: (1074): *Есть ту монастырь... и до сѣго мѣста.* Лавр. лет., 193. *До тѣхъ (сѣхъ, сихъ коихъ) мѣстѣ* — «до тех пор»: (1174): *Мытя до сихъ мѣстѣ аки оца имѣли по любви.* Ипат. лет., 573. *По тѣхъ (сѣхъ, коихъ) мѣстѣ* — «до этих (тех) пор; до сего времени»: *Живѣ я по сѣхъ мѣстѣ.* А. закл., 28. 1643 г. *Съ тѣхъ (тыхъ, сѣхъ, сихъ) мѣстѣ* — «с тех (этих) пор, с этого времени»: *И князь молвитъ игумену и старцам: поберегите его — нам человекъ той своитинъ! И с тыхъ мест поча игумен старца беречи его.* Ж. Мих. Клоп.¹, 91. XVI—XVII вв. ~ 1537 г. Из этих сочетаний позднее формировались и составные временные союзы: *покамѣстѣ* — *потамѣстѣ* — «до тех пор пока»: *А покамѣсто... насъ съ посломъ море не рознесло и по та, государь, мѣсто къ послу изъ Асторохани шаховѣ купецъ Тюркемилъ не бывалъ.* Посольство Тюфякина, 419. 1599 г.

У слова *межа* пространственные значения «рубеж, черта, граница», «промежуток, расстояние, пространство между чем-л.», «промежуток, полоса земли между соседними полями, угодьями, разграничивающие их», породили временное значение «временной рубеж, предел; срок» и временное сочетание *въ тѣ межи*, употребляющееся как союзное со значением: «в пределах того же времени, тем временем; в то время»: *И въ тѣ межи, как они умышляли такое дѣло, разболѣлась того короля мать*. Ст. сп. Флетчера, 58. 1589 г. Нередко *мѣсто* и *межа* даже встречаются в составе соотносимых частей союза *покамѣста* — в *тѣ межи* — «пока»... «тем временем»: *А покамѣста Хриштофоръ воевода стоитъ и дожидается вѣсти, Синанъ паша въ тѣ межи съ своимъ воиском пошолъ назадъ*. Рим. имп. д. II, 6/7. 1594 г. Лексикограф обязан корректно сочленил показ сочетаемости в постноминациональной части словарных статей *мѣсто*, *межа*.

2.2. Любопытно, что однотипные временные сочетания отражали нередко способ обозначения времени по какой-то детали, действию, характерному, обычному для повседневного быта того периода или крестьянской или промысловой жизни. Так, один из моментов суток связывался с куроглашением, пением петухов на исходе ночи: *Не вѣсте бо къгда гъ въ домъ придетъ, вечеръ ли, или полуноци, или въ куры поуща, или заутра*. Юр. ев. п. 1119 г., 142. *. Это значение реализовалось в основном в сочетаниях *Въ куры* — на рассвете. (1288): *И быс(ть) в четвергъ на ночь поча изнемогати и яко быс(ть) в куры, и позна в себе дѣхъ изнемогающ ко исходу дши*. Ипат. лет., 917; *Къ курома* — к пению петухов, к рассвету: (1152): *Петрови же выхавшию из Галича и бѣ ему уже вечеръ и леже у Болшевѣ и яко же быс(ть) убо къ курома, и пригна дѣтский из Галича к Петрови*. Ипат. лет., 463; *До куръ* — до рассвета. *А самъ [Всеслав] въ ночь влькомъ рыскаше изъ Кыева дорискаше до куръ Гматороканя*. Сл. о п. Иг., 36.

Определенная часть лета связывалась с наличием комаров: *Въ комаръ* — в начале лета. *В комар ходили важеня четыре чьлки, усекли дровъ у Большой Режмы · рi · возов*. Арх. Ант. Сийск. м., № 9, 28. 1639 г.

В говорах известно обозначение того или иного отрезка времени непосредственно по предмету работы. Например, *наземъ, назъмъ и назъмо* — «навоз», который вывозили на поля обычно в пору между весенними и летними работами в первые две-три недели июня, «когда сев кончен, а покос и пашка под озимь еще не начались, почему и возять на поля удобренье, наземъ» (В. Даль, II, 387). Этот тип сочетаний *въ куры, въ комаръ, въ назъмо*, возникший в соответствии с узусом своего времени, в постноминациональной части словарных статей также нуждается в постоянной корректировке по типу толкования.

2.3. Узус определяет и а с с о ц и а т и в н ы е с в я з и, которые лежат в основе вторичной номинации. По образному выражению П. Лафарга, в языке каждого культурного народа есть слова, которые имеют «отпечаток лесной жизни первобытных людей». На протяжении всей своей истории человек создавал новые слова, обращаясь к своему опыту общения с природой. Через сравнение он давал название многообразию красок и оттенков: *водяной цвет, огненный «жаркой то ж», маковый, осиновый, крапивный, табачный, сахарный* и пр., «по образу и подобию живой природы» создавал орудия, приспособления, предметы вооружения и давал им названия. И очень часто таким словам суждена была новая самостоятельная жизнь. С течением времени ассоциативные связи забывались и слова становились омонимами, вторыми членами омонимических пар; развивались новые значения, рос круг собственных производных слов. Например, *кокотъ*² «металлическое острие с загнутым концом, насаживаемое на шест», «род крюка различного назначения», *кошка*² «крюк»,

«орудие с крючьями», «подставка в виде якоря», т. е. в данном случае это названия «предметов, орудий, имеющих крюки, загнутые, как клюв петуха» (*кокотъ*¹), «крючья, цепкие, как когти кошки» (*кошка*¹). Ср. *Кокотъ*¹. Петух: *И кокотъ ходяи въ кокошехъ добръ украшенъ* (алектор) (Притч. XXX, 34) Библ. Генн. 1499 г. и *Кокотъ*²: *4 кокоты желъзные на шестахъ*. Псков. а., 50. 1633 г. *Совлекоша* [с часовни] *верхъ кокотами*. Евфр. Отразит пис., 81. 1691 г. Ср. *Кошка*¹: *Против мышам... держати кошки в огороде*. Назиратель, 496. XVI в. и *Кошка*²: *Кошка с коцомъ*, чем якорей ищуть. А. Кир. Б. м., отд. 1, № 104. 1656 г.

Утрата ассоциативных связей тоже может быть избирательной. Например, *Гранатъ*¹. Название дерева и плода граната. 2. Камень гранат (который получил свое название по цвету плода граната) и *гранатъ*² — разрывной артиллерийский снаряд, начиненный дробью (ассоциация с плодом граната уже в XVII в. была утрачена). *Гранатъ*² имеет свои производные.

Но в большей части случаев обогащение схемы семантического развития идет за счет устойчивых, образных или переносных употреблений слова в рамках полисемии, в рамках постноминациональной части словарной статьи. Переносное значение идет обычно сразу вслед за прямым. Но есть и особая группа случаев, связь которых с основным стволем, основной линией, схемой развития не очевидна. «Куст» этих значений, условно называемых «специальными» или ассоциативно-ситуативными, помещается обычно в конце постноминациональной части словарной статьи. Их появление, как правило, связано с функционированием слова в определенной социальной или профессиональной среде, в конкретной, достаточно типичной (для той же эпохи) ситуации. Отсюда их периферийность, не всегда ясная связь с общей схемой семантического развития слова, т. к. не всегда ясны ассоциации, которые обусловили «специальное» словоупотребление. При описании таких случаев многое зависит от комплектности картотеки, от представленности в материалах описываемого периода памятников разных жанров, текстов (чаще всего делового, бытового характера), которые могли бы помочь в установлении ассоциативных связей. Такое ослабление мотивации всегда усиливает возможность разрыва в полисемии, рождения из специальных значений самостоятельного слова.

Слово *козелъ*, имеющее в виду домашнего или дикого козла, несомненно, будет включать и значение выделанной козьей шкуры: *Полторы юфти козлов красных*. Там. кн. Тихв. м. I, 12. 1633 г., идущей главным образом на сапоги: *трои сапоги козловые*. ДАИ X, 298, 1685 г. Видимо, по сходству с расходящимися рогами козла любое крестообразно сбитое приспособление («рогулька», «растыка») могло быть названо козлом. Такие растыки, распорки могли служить в бытовой и хозяйственной деятельности человека для скрепления (входили в примитивное ярмо для волов), для упора, как поддерживающее устройство: *А промежъ вбнцовъ врубалъ козлы; а на стычкахъ и на срединѣ [бревенъ] по козлу жъ сбѣлалъ*. Заб. Мат. I, 1200. 1700 г. Козлом назывался и «сбитый стояк, на котором развешивали рыбу», чтобы вялить. Так появилось одно из «специальных» значений (употреблений) в слове *козелъ* — «связка рыбы (вяленой на специальном приспособлении)»: *Десять кулей снетковъ .. сто дватцать козловъ рыбы плотицъ вялыхъ... Явил на возу сто козловъ рыбы вялой*. Там. кн. Смол. II, 57об. 1677 г. и 236, 1678 г. Крестовина (обычно не одна) могла использоваться в качестве «опоры, подставки», например, для доски, на которой секли розгами: *Егда кто друг друга алъ уничижитъ, таковой с терпннемъ на школьномъ козлѣ положитъ*. Шк. благочиние, 92. XVII в. Это тоже одно из «специальных» значений слова *козелъ*.

Обобщенное название сооружений различного назначения, где использовались «подставки на ножках в распорку», начало все чаще ассоциироваться с формой мн. числа этого слова — *козлы* (*3 пищали мѣдныхъ затинныхъ на козлахъ*). Лексикализация формы мн. числа произошла в условиях, когда утвердилось несколько типов таких реалий, т. е. само слово *козлы* стало многозначным: «опора, подпорка, стояк»: *Въ томъ тѣху 18 козловъ; а въ томъ тѣху выводитъ тѣху болшего на козлы 60 деревъ шти и семи сажень*. Кн. п. Моск. II, 415. 1585 г. *Поставили [поляки] острогъ стоячий, козлы, а въ землю не копанъ, только осыпанъ снѣгомъ да навозомъ, а рву де около острогу нѣтъ*. АМГ I, 468. 1633 г.; «сиденье для кучера»: *Самъ [Фрол Скобеев] убралъ в лакейское платъ(ь)е сел на козлы и поезал ко столънику*. Фрол Скобеев ¹, 71. XVIII в. ~ XVII в. В двух словарных статьях СЛРЯ XI—XVII вв. *козелъ* и *козлы* достаточно ясно видны семантические связи «специальных» значений и лексикализовавшейся формы, причины и механизм разрыва в полисемии.

2.4. В этимологических дублетах типа *кладязь* — *колодезь* (*колодец*) «родник, ручей, источник (оправленный колодой — срубом)», «колодец», «узкая, глубокая яма» сказались разные условия функционирования слов. У первого сфера книжной культуры создала впоследствии устойчивые образные сочетания типа *кладязь премудрости*, сфера культурного обихода — некоторые специальные словоупотребления: «углубление для захоронения мощей святых, рака»: *А мощи святаго христова мученика Димитрея лежать средѣ церквей въ кладязь, и надъ кладяземъ стоитъ гробъ*. ВМЧ, окт. 19—31. 1912. XVI в.; «род умывальника в алтаре для обряда омовения рук священника во время службы»: *Во многих церквахъ деревяныхъ въ жертвенникѣхъ нѣсть кладязя, надъ чемъ священнику руки умывати*. Стоглав, 45. XVII в. ~ 1551 г. *Въ колодезь коробка мѣдная*. Кн. зап. Моск. ст. IV, 367. 1679 г. В слове *колодезь* с той же общей схемой семантического развития иные «специальные» значения: из промысловой сферы — «шахта бурового колодца на соляных промыслах»: *И ему варницы ставить... и трубы соляныя и колодези дѣлати*. Строг. гр., 152. 1688 г.; из бытовой сферы — значение с ослабленной мотивацией: «род высокого сосуда» (?): *А поставецъ былъ соловецъ и колодезь, судно и писарь, и иные многие суды золотые и поставцы*. Рим. имп. д. I, 515. 1576 г.

2.5. Такие значения-употребления (с ослабленной или утраченной мотивацией по отношению к общей схеме семантического развития слова) часто вовсе не имеют толкования, уязвим их статус как отдельных значений. Но в перспективе такое словоупотребление, если оно утвердится, может дать начало слову-термину, слову-омониму или фразеологизму, что важно с лингвистической точки зрения. Во-вторых, группа «специальных» значений в постноминациональной части словарной статьи побуждает к исследованию быта, культуры, мира реалий, связана с типичными для той эпохи социально-бытовыми, профессиональными ситуациями. Лексикограф стоит здесь перед выбором: отступить от этого материала (перед нами употребление, а не значение!) или ввести его в научный оборот с незавершенной лексикографической интерпретацией? Путь между Сциллой и Харибдой без потерь, увы, не обходится. Надо заметить, однако, что развитие слова, бытование его в письменности и в устах народа не кончается XVII в. и материал, приведенный в этой части словарной статьи, может оказаться полезным составителям словарей последующих периодов, как исторических, так и диалектных, может оказаться необходимым и для историков культуры и народного быта.

Проблема взаимосвязи языкового и общественного развития, междисциплинарных контактов в изучении этих связей имеет общенаучное методологическое значение и совершенно справедливо нашла отражение в

«Трактате о хорошей работе» Тадеуша Котарбинского, который писал следующее: «В области гуманитарных искусств... повторяется ситуация, когда мастера той или иной отдельной отрасли вдохновляются лозунгом обретения независимости этой дисциплины от других искусств и учета только того, что характерно для нее, например, в настенной живописи — чисто цветовых критериев при игнорировании изображения... Этому сопутствуют изоляционистские лозунги вроде призывов к искусству для искусства, к объяснению языковых явлений исключительно языковыми причинами». В таких отраслях, продолжает автор далее, наряду с периодами наивысших достижений возникают периоды парадоксальности, экстравагантности «то ли оттого, что наскучили типовые проблемы, то ли оттого, что исчерпались новые непарадоксальные возможности. Главным лекарством против тяжелой болезни следующего за этим бесплодия является разрыв с изоляционизмом, установление связи с другими дисциплинами» [6].

Меньше всего могут упрекнуть себя в изоляционизме лексикографы, поскольку они работают со словом, главной особенностью которого является способность корреспондировать с внеязыковыми явлениями и их эволюцией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
2. Богатова Г. А. Эволюция внеязыковых связей слова и историческая лексикография (Номинационная часть словарной статьи) — *Slavia*, ročn. XLIX, seš. 1—2, Praha, 1980.
3. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 3, с. 24.
4. Maurhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. II. Heidelberg, 1963, S. 593.
5. Зарубин Н. Н. Заря утренняя или вечерняя. — ТОДРЛ, т. IV. М.—Л., 1935, с. 148—149.
6. Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1973, s. 315—316.

ХУХУНИ Г. Т.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

В специальной литературе неоднократно отмечалось, что в современном языкознании разработка проблем, связанных с прошлым науки о языке, приобретает все большее значение и начинает привлекать пристальное внимание многих советских и зарубежных лингвистов. Само собой разумеется, что успешное изучение истории нашей науки невозможно без полного и всестороннего учета той роли, которую сыграли в мировом языкознании достижения русских и советских языковедов.

Следует отметить, что для русской филологии интерес к проблемам историко-лингвистического характера является в известной степени традиционным. Дореволюционная историография науки о языке XIX—XX вв. оставила нам в наследство труды Т. Н. Каченовского, А. А. Котляревского, А. Н. Чудинова, Н. К. Грунского, И. В. Ягича¹ и мн. др. В советскую эпоху вопросов, связанных с историей лингвистической и, в первую очередь, грамматической мысли, касались такие крупные ученые, как Е. Ф. Карский, С. И. Бернштейн, Е. М. Галкина-Федорук, М. Н. Петерсон, С. И. Абакумов и мн. др. Особенно важное место принадлежит здесь многочисленным трудам В. В. Виноградова, в которых, по существу, содержится вся двухсотлетняя история русской грамматической науки от середины XVIII в. до середины XX в.

Качественно новым этапом в развитии советской лингвистической историографии стали 60-е и 70-е гг., когда произошло значительное возрастание числа историко-лингвистических работ, расширение их проблематики, углубление поставленных в них вопросов. В этот период появились многочисленные монографии, сборники, статьи, хрестоматии, посвященные как истории русской науки о языке в целом, так и тем или иным этапам ее развития, а также отдельным лингвистам прошлого. Назовем в этой связи труды Ф. М. Березина, В. В. Щеулина, Н. А. Слюсаревой, Н. Ю. Шведовой, В. Г. Руделева, Г. П. Ижакевич и др.

Таким образом, изучение прошлого русской грамматической мысли имеет в нашей стране богатые традиции. Однако по вполне понятным причинам отдельные этапы развития русского языкознания исследованы не вполне равномерно: если период от второй половины XVIII до конца XIX в. (условно говоря, от Адодурова до Фортунатова) был изучен с достаточной полнотой и объективностью, то о грамматических концепциях, созданных русскими и советскими языковедами XX в., этого пока сказать нельзя: здесь больше пробелов, спорных вопросов, поводов для дискуссий и полемики. Кроме того, относительная хронологическая близость указанного периода обусловила и гораздо большую субъек-

¹ Хотя сам И. В. Ягич, естественно, не может считаться собственно русским ученым, однако его основной историографический труд «История славянской филологии» (СПб., 1910), написанный по-русски и, в первую очередь, для русских читателей, был в значительной степени продолжением той историко-лингвистической традиции, которая существовала в русской науке.

тивность в оценке созданных в данную эпоху грамматических систем, чем, скажем, при характеристике «Российской грамматики» М. В. Ломоносова или «Исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева.

В предлагаемой статье сделана попытка проанализировать некоторые тенденции, характерные для русской грамматической мысли первой половины XX в., и рассмотреть вкратце в связи с ними наиболее важные проблемы, выдвигавшиеся в трудах русских языковедов интересующей нас эпохи на первый план.

Вначале представляется необходимым сказать несколько слов о периодизации рассматриваемого отрезка времени. Наиболее отвечающим действительности было бы, по нашему мнению, следующее деление истории русской грамматической науки первой половины XX в.: 1) дооктябрьский период (1900—1917 гг.); 2) двадцатые годы (кроме собственно двадцатых, сюда войдут годы революции и гражданской войны, т. е. 1917—1920, а также начало 30-х); 3) период с начала 30-х гг. до первой половины 50-х.

Такое подразделение, помимо соображений хронологического порядка, диктуется и тем, что в каждом из указанных периодов наличествовал тот «великий и основной вопрос», на разрешение которого были направлены главные усилия русских языковедов: в первом — проблема «школьной и научной грамматики», в связи с критикой традиционной грамматической системы; во втором — дискуссия о сущности грамматического формализма и его правильном понимании; в третьем — отказ от «формальной» грамматики и стремление к выработке такой грамматической системы, которая опиралась бы, в первую очередь, на семантическую сторону языка.

Можно, разумеется, указать на то обстоятельство, что подобная периодизация не учитывает такой важный момент в истории советского языкознания, как лингвистическая дискуссия 1950 г. Разумеется, она оказала определенное воздействие на развитие грамматической теории в нашей стране, однако на разработку проблем собственно русской грамматики она особого влияния не оказала. Характерно, что наиболее крупный грамматический труд первой половины 50-х гг. (академическая «Грамматика русского языка») использовал в качестве основной теоретической базы те самые положения, которые господствовали в 30—40-е гг., найдя наиболее полное воплощение в работах Л. В. Щербы и В. В. Виноградова. Не случайно, открывая в середине 50-х гг. обсуждение курса «Современный русский язык», редакция журнала «Вопросы языкознания» отметила, что «...наиболее „радикальная“ переработка вузовской программы после дискуссии 1950 г. выразилась в изъятии отдельных формулировок, ссылок на „учение“ акад. Н. Я. Марра и в частичном изменении раздела „Лексика“; но эта „переработка“ почти не затронула центральных разделов программы — „Морфологии“ и „Синтаксиса“» [1].

Переходя к вопросу об источниках формирования грамматических концепций, созданных русскими учеными XX в., следует учитывать то обстоятельство, что, опираясь в первую очередь на труды своих предшественников, особенно таких классиков русского языкознания, как А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртене, русские лингвисты в полной мере учитывали и достижения своих зарубежных коллег — в начале XX в. в основном немецких и писавших по-немецки (Ф. Миклошича, И. Риса, Б. Дельбрюка, Г. Пауля, В. Вондрака, В. Вундта и др.), а позже и других: французских (А. Мейе, Ж. Вандриеса), швейцарских (Ф. де Соссюра, А. Сеше, Ш. Балли), датских (О. Есперсена, В. Брэндаля) и т. д. Следует отметить, что вопрос о характере взаимоотношений между русской и зарубежной лингвистической мыслью, порой приобретающий

излишнюю остроту — от утверждений о полной зависимости русской науки о языке от западной (А. Вейсман, Д. Введенский) до высказываний противоположного характера (Е. Д. Поливанов) — в настоящее время подавляющим большинством исследователей разрешается в том смысле, что две эти традиции не могут и не должны противопоставляться друг другу, ибо они развивались в тесном контакте, взаимно влияя и взаимно обогащая друг друга.

Как мы уже отмечали, для дооктябрьского периода характерно выдвижение на первый план вопроса о взаимоотношении между научной и школьной грамматикой. Если последняя отождествлялась (иногда излишне прямолинейно) с системой Ф. И. Буслаева, то под первой понимали, по существу, всех «антибуслаевски» настроенных (т. е. бывших противниками логической грамматики) языковедов, вне зависимости от того, какой традиции они придерживались. Поскольку первой на научную арену выступила школа А. А. Потебни, постольку и ученых, вышедших из рядов других направлений, зачисляли порой в разряд учеников и продолжателей харьковского языковеда. В последующие годы, когда различие между концепциями Потебни и Фортунатова стало ясно осознаваться, в историко-лингвистических трудах начало акцентироваться то обстоятельство, что «резкий антагонизм между учением Потебни и учением Фортунатова выступает с полной отчетливостью», тогда как «существенное сходство между двумя этими направлениями почти исчерпывается негативным признаком — отрицательным отношением к сближению грамматики с логикой» [2]. Но поскольку именно в этом последнем и заключалось в те годы основное расхождение между «научной» и «школьной» грамматикой, постольку неудивительно, что моменты схождения между концепциями Московской и Харьковской школ были для тогдашней научно-педагогической общественности гораздо важнее, нежели объективно существовавшие между ними различия.

Кроме того, следует учесть, что разных представителей «научной грамматики» объединяли и другие общие воззрения, помимо антилогицизма: психологизм, внимание к живой речи, связанное с протестом против смещения звука и буквы, сочетание синхронизма с историзмом, признание системного характера языка, наконец, интерес к формальной стороне языка. Разумеется, конкретная реализация указанных черт была неодинаковой в разных направлениях и даже среди ученых, вышедших из рядов одного направления. Однако в своей совокупности они создавали определенную базу для рассмотрения таких, скажем, работ, как «Синтаксис русского языка» Д. Н. Овсяннико-Куликовского, который являлся последователем А. А. Потебни, «Общего курса русской грамматики» В. А. Богородицкого, бывшего казанским учеником И. А. Бодуэна де Куртэна, «Русского синтаксиса в научном освещении», где автор — А. М. Пешковский — поставил целью синтезировать концепции Фортунатова и Потебни, статей и выступлений Л. В. Щербы, Д. Н. Кудрявского, Е. Ф. Будде и др., в первую очередь, в русле «единого потока» научной грамматики, считая различия, хотя порой и довольно резко высказываемые, второстепенными. Способствовала сплочению лагеря «научной» грамматики и та критика, которая шла из рядов приверженцев традиционной школьной грамматики, отрицательно относившихся к самой мысли о том, что «грамматика должна и может быть особою наукою или, по меньшей мере, особою отраслью языковедения, которая всеми признана за науку» [3, с. 3], и утверждавших, что ответить на основные вопросы, стоящие перед грамматикой, «она может, лишь опираясь на другую науку, совершенно точную — на логику» [3, с. 20].

Но и в этот период относительного единства в лагере «научной грам-

матики» были заметны определенные трещины. Причем следует отметить, что они отнюдь не совпадали, так сказать, с естественными границами между научными школами: об этом явственно свидетельствует полемика между Д. Н. Кудрявским и Д. Н. Овсянко-Куликовским, которые считали себя продолжателями традиций Потебни, или острая дискуссия между А. М. Пешковским и Е. Ф. Будде, подчеркивавшими свою принадлежность к фортунатовской школе, с одной стороны, и свой пиетет перед А. А. Потебней — с другой. И уже на раннем этапе развития «научной грамматики» XX в. стало ясным, что «между учеными филологами... очень большое разногласие» и что «нет согласия между учеными» [4]. И в качестве основного пункта этих разногласий все более выдвигался тот, который и сторонники и противники «научной грамматики» считали основным — ее антилогизм, отождествлявшийся с «формализмом». Именно под флагом последнего выступили ее представители в борьбе с «логицистами». И если на Первом съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях (декабрь 1903 г.) говорившему от имени «научной грамматики» Л. В. Щербе пришлось столкнуться с довольно сильной оппозицией, то состоявшийся перед революцией Первый Всероссийский съезд преподавателей русского языка подчеркнул в своей резолюции: «Не следует препятствовать осуществлению в средней школе курса грамматики, построенного на основе формально-грамматической точки зрения, как наиболее отвечающей современному состоянию науки о языке» [5]. Таким образом, казалось, что «школьная грамматика» побеждена окончательно.

Но теперь, когда «враг», с которым «научная» грамматика столь упорно боролась, исчез с ее пути, те противоречия, которые наблюдались уже в ранний период, должны были проявиться с полной очевидностью. И в первую очередь предметом дискуссии должен был стать вопрос о сущности «формализма» и его особенностях.

Сопоставляя концепции Потебни и Фортунатова, исследователи обычно обращали особое внимание на разное понимание ими сущности формы — семантико-синтаксическое у харьковского лингвиста и морфологическое у его московского коллеги. Казалось бы, именно между «потебнианцами» и «фортунатовцами» и должно было в 20-х гг. произойти основное столкновение по вопросу о том, какова же сущность грамматической формы. Однако, хотя указанное противоречие между двумя пониманиями последней действительно сыграло важную роль, реальная картина той борьбы, которая шла в 20-х гг. по вопросу о формализме, выглядела несколько сложнее.

Из трех основных направлений, сложившихся в русской лингвистике к началу века — потебнианского, фортунатовского и бодуэновского, — в разработке теории русской грамматики ведущая роль принадлежала Московской школе Фортунатова. Если не считать «Общего курса русской грамматики», представители Казанско-Петербургской школы в предыдущий период не создали цельных работ в данной области (упомянутый доклад Л. В. Щербы на съезде 1903 г. содержал лишь некоторые общие соображения, а специфический характер его докторской диссертации, в которой описывалось восточнолужицкое наречие, также не позволяет включить эту работу в круг трудов, посвященных собственно вопросам русской грамматики).

Следует к тому же учесть, что многие утверждения В. А. Богородицкого относительно тех или иных грамматических проблем вызвали критические замечания самого Бодуэна де Куртене. Что же касается «чистого» потебнианства, то оно к началу 20-х гг. испытывает заметный кризис, и работы его представителей либо вообще не получают широкого отклика, либо характеризуются резко отрицательно (что, однако, как будет показа-

по ниже, отнюдь не означало исчезновения традиций, заложенных А. А. Потемной в области теории русской грамматики).

Таким образом, сложилось довольно своеобразное положение: с одной стороны, по старой памяти «формальной» продолжали называть всю «научную» грамматику в целом, вне зависимости от существовавших внутри нее течений; с другой стороны, данный термин («формализм») все более и более закреплялся за фортунаговской школой. Этой двойственностью, по-видимому, и объясняются некоторые, на первый взгляд, взаимоисключающие высказывания ученых тех лет, касающиеся интересующей нас проблемы. Так, Л. В. Щерба, с одной стороны, говорил: «Слово *формальный* я понимаю... в... широком смысле... и в этом же смысле я готов объявить себя „формалистом“, хотя, по совести, совершенно не вижу надобности говорить об особой „формальной школе в грамматике“: современное научное языкознание в общем едино и противопоставляется старой грамматической традиции» [6, с. 93], а с другой стороны, он же неоднократно подчеркивал, что одна из основных задач советского языкознания — «это борьба с формализмом» [6, с. 75].

При первом понимании «формализма» (т. е. при отождествлении последнего с «научной грамматикой» в целом) нам необходимо установить, какие течения существовали внутри его. По-видимому, здесь можно говорить о потембианском «формализме» (иногда называемом «синтаксическим»), фортунаговском «формализме», обычно квалифицируемом как «морфологический», и, наконец, своего рода «мнимом формализме», когда к числу сторонников последнего причислялись лингвисты, неоднократно выражавшие свое отрицательное отношение к нему (кроме Л. В. Щербы, здесь можно назвать и представителя соссюрианства в России С. И. Карцевского).

В свете фактов, отмеченных нами выше, вполне естественно, что при разговоре о «формализме» 20-х г. особое внимание должно уделяться фортунаговской школе, игравшей, как говорилось, ведущую роль. И первое, что бросается в глаза исследователю, приступающему к изучению трудов, созданных представителями этой школы, — резкая полемика между двумя лагерями, на которые разделились ученики Фортунатова, — умеренными и крайними, полемика, обострявшаяся с каждым годом все сильнее и сильнее и приведшая в конце концов к расколу на просто «формалистов» и «ультраформалистов» (последние, впрочем, предпочитали говорить о своем «последовательном формализме»).

Не касаясь сейчас всех деталей шедшей между ними дискуссии, напомним, что главным вопросом ее стал вопрос о месте и роли значения в грамматическом исследовании. Если для «ультраформалистов», при всех оттенках, существовавших между ними, характерен был протест против «случаев увлечения смысловым моментом» [7] и подчеркивание того, что «смещение моментов логического и формального в системе научной грамматики совершенно недопустимо» [8], то собственно «формалисты» противопоставили им утверждение о том, что «никакого противоречия между логикой и научной грамматикой нет» [9] и что отрывать форму от значения — значит окружать грамматику «...своеобразным ореолом бессмыслия...» [10, с. 96]. Естественно при этом, что обе стороны энергично открепивались от выдвигавшихся их оппонентами обвинений: «формалисты» — от упреков в возвращении к «ненаучной» школьной грамматике, «ультраформалисты» — от утверждений, что их позиция «обесмысливает» грамматику.

Поскольку полемика между двумя лагерями фортунаговской школы шла отнюдь не в безвоздушном пространстве, а на глазах у представителей других направлений — от эпигонов потембианства до поборников соссюрианства — постольку перед «умеренными» и «крайними» неизбежно

должен был встать вопрос: продолжать ли им по-прежнему, несмотря на углубляющиеся расхождения, считать себя сторонниками единой фортунаатовской линии, противопоставляющей всем другим, или же окончательно признать раскол Московской школы и начать поиски союзников за ее пределами?

Большинство в обоих лагерях стремилось к сохранению единства. Стремление это проявлялось двояким образом: с одной стороны, как «умеренные», так и «крайние» апеллировали к авторитету Фортунатова и, упрекая своих противников в отходе от заветов учителя, призывали их вернуться к последним (т. е. принять свое толкование фортунаатовского наследия); с другой стороны, многие полемические статьи включали в себя тезис о том, что «современная научная грамматика считает своим основоположником Ф. Ф. Фортунатова» и что к продолжателям последнего можно отнести как Н. Н. Дурново и А. М. Пешковского, так и М. Н. Петерсона и А. И. Павловича, т. е. как формалистов, так и «ультраформалистов» [11].

Такое поведение было вполне понятным. С одной стороны, фортунаатовской школе угрожала «внешняя опасность» — критические выступления со стороны эпигонов потебнианства (например, И. П. Лыскова), учеников Бодуэна де Куртенэ (в первую очередь, Л. В. Щербы), представителя Женева школы С. И. Карцевского, который, несмотря на высокую оценку учеными фортунаатовской школы «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и их стремление объявить швейцарского языковеда наряду с его московским коллегой основателем теории формы, резко осудил фортунаатовский формализм как раз с позиций соссюрианства². С другой стороны, ко всем этим обстоятельствам прибавилось еще одно, едва ли не самое роковое — в середине 20-х гг. начал выходить в свет последний труд А. А. Шахматова — «Синтаксис русского языка», наглядно показавший, сколь далеко отошел от Фортунатова крупнейший и любимейший его ученик, по существу полностью отказавшийся от ориентации своего учителя и ставший объективно, при всей оригинальности своих взглядов, гораздо ближе к тем семантико-синтаксическим традициям, которые в русском языкознании заложены были А. А. Потебней.

И, наконец, ко всему этому следует добавить, что, едва завоевав на свою сторону большинство преподавателей русского языка, «формалисты» оказались перед опасностью его утраты. Отсутствие единства в рядах «формалистов», постоянные дискуссии между ними, неспособность дать школе доступную для нее и относительно стабильную учебную литературу, наконец, невозможность применить грамматическую схему, выработанную «формальной» грамматикой для русского языка, при описании и преподавании других языков народов СССР, — все это привело к тому, что, не успев по-настоящему, так сказать, «очароваться» фортунаатовским формализмом, многие педагоги в нем уже разочаровались...

Вся эта совокупность фактов оказалась настолько сильной, что попытки большинства «умеренных» и «крайних» представителей фортунаатовской школы сохранить последнюю от распада успеха не принесли. Кроме того, логика внутреннего развития воззрений признанного лидера «умеренных» — А. М. Пешковского — привела его к выводу о том, что «...формализм-то... в смысле движения, исходящего от Фортунатова, не смеет

² Это, на первый взгляд, парадоксальное явление объясняется, видимо, тем обстоятельством, что, сближаясь с Фортунатовым в ряде пунктов своей теории ассоциаций, учение Соссюра резко противостояло концепции московского языковеда своей теорией синтагм. Напомним, что в то время как фортунаатовская школа была по известной характеристике проникнута «морфологизмом», Соссюр вообще отрицал самостоятельность морфологии.

отождествляться с наукой во всем ее объеме» [10, с. 227], а сама «концепция языка, ...характерная для Ф. Ф. Фортунатова, представляется... перевертывающей природу изучаемого объекта» [12]. И происходит на первый взгляд странное, но, как вытекает из вышеизложенного, вполне естественное явление: для ученого, считавшего себя учеником и последователем Фортунатова, позиции противников последнего — С. И. Карцевского и Л. В. Щербы — становятся гораздо ближе, нежели позиции «тоже фортунатовцев» — «ультраформалистов». Приведем в этой связи слова из биографии Л. В. Щербы: «В 1928 г. Лев Владимирович публикует статью „О частях речи в русском языке“, вызвавшую многочисленные нападки со стороны представителей формальной школы. В ходе оживленной дискуссии, возникшей по поводу этой статьи в Москве, Лев Владимирович сближается с А. М. Пешковским. Оба ученых находят взаимное понимание по некоторым интересующим их вопросам» [13].

Следует сказать, что этой статье Л. В. Щербы приписывается иногда роль чуть ли не единственной причины, приведшей к ликвидации «формальной» грамматики. Это, конечно, не совсем так. С одной стороны, как было показано выше, распад «формализма» был обусловлен целым комплексом разнообразных причин (помимо упомянутых, можно назвать еще возрасставшее со второй половины 20-х гг. влияние «нового учения о языке», для сторонников которого, стремившихся целиком «растворить» морфологию в лексикологии и синтаксисе, «морфологизм» фортунатовской школы был принципиально неприемлем). С другой стороны, и после публикации названной статьи (в 1929—1931 гг.) продолжают появляться работы, в которых наличествует «формальная» и даже «ультраформальная» трактовка грамматических проблем. Однако вместе с тем несомненно, что если статья Л. В. Щербы не может быть названа причиной, вызвавшей ликвидацию «формализма», то она вполне может быть охарактеризована как катализатор, значительно ускоривший этот процесс.

Так или иначе, но к началу 30-х гг. неоспоримым становится «...отход большинства лингвистов от формального изучения русского языка...» [14] и, соответственно, — устранение «формалистически» ориентированного преподавания как из средней, так и из высшей школы.

Подобного рода «смена вех», естественно, должна была повлечь за собой и значительную переоценку наследия, оставшегося от лингвистического прошлого. На смену господствовавшему в 20-х гг. стремлению ориентироваться, в первую очередь, «на Фортунатова» приходит часто повторяющийся, начиная с 30-х гг., тезис о том, что для фортунатовской школы характерны «схематизм грамматических наблюдений, игнорирующих структурную целостность разных сторон языковой системы, пристрастие к абстрактно-классификационным формальностям, наивный эмпиризм морфологических построений, не считающихся с присущим коллективному пониманию живой социальной природы данного языка» [15] и иные отрицательные моменты. Хотя было бы неправомерно делать отсюда вывод о том, что концепция Фортунатова вообще перестала служить источником формирования новых грамматических теорий (или, тем более, чуть ли не оказалась под каким-то запретом) — этому противоречат многочисленные высказывания в лингвистической литературе 30-х — первой половины 50-х гг., высоко оценивающие наследие Фортунатова и принадлежащие разным ученым (С. П. Обнорский, П. С. Кузнецов, Е. М. Галкина-Федорук, М. Н. Петерсон и др.), — однако несомненно, что удельный вес фортунатовского влияния по сравнению с предыдущим периодом резко снизился.

Неудивительно, что в сложившихся условиях произошел (особенно в научно-методической литературе) довольно заметный перелом в отноше-

нии многих специалистов к трудам Ф. И. Буслаева, которые еще в ранний (можно даже сказать, «доfortunатовский») период существования «научной грамматики», т. е. со времен А. А. Потебни, трактовались, как правило, однозначно — в качестве синонима традиционной, логической, школьной — одним словом, «ненаучной» грамматики. Была переиздана основная методическая работа Ф. И. Буслаева «О преподавании отечественного языка», в предисловии к которой подчеркивалось, что «борьба формалистов... против единства языка и мышления, против науки в школе (?! — Х. Г.) затемнила принципиальное значение методической системы Буслаева и не дала использовать его наследство...» [16]. В появившейся в середине 30-х гг. другой методической работе по русскому языку находим утверждение о том, что «установки Буслаева представляются во многом близкими современной школе», а «его основные положения... в значительной степени соответствуют положениям современного языкознания» [17].

Однако поскольку, с одной стороны, устарелость многих положений буслаевской системы была очевидной и для ее защитников, а с другой — нельзя было строить грамматическую теорию на основе простого возвращения к концепции Ф. И. Буслаева, игнорируя тем самым многолетний путь, пройденный «научной грамматикой», оживился и интерес к «неfortunатовским» течениям последней, в первую очередь — к работам А. А. Потебни, причем зачастую внимание акцентировалось как раз на том обстоятельстве, что «учение Потебни является действенным противоядием против формализма и нигилизма грамматистов из fortunатовской школы...» [18, с. 318].

Но и потебнианство, возникшее в 70—80-х гг. прошлого века и, как мы видели выше, к началу 20-гг. в своем чистом виде сошедшее с научной арены, не могло стать непосредственной базой для создания новой «антиформалистической» грамматики. Такой базой стали работы двух ученых, вышедших из рядов разных направлений, никогда не бывших по своим общелингвистическим взглядам особенно близкими друг к другу, однако пришедших независимо друг от друга к сходным грамматическим воззрениям, — Л. В. Щербы (главным образом, в сфере морфологии) и А. А. Шахматова (в области синтаксиса), причем тем своеобразным «общим знаменателем», благодаря которому и стало возможным их синтезирование, явились как раз традиции, заложенные А. А. Потебней.

В уже упомянутой статье Л. В. Щерба, как известно, резко выступил против отстаивавшейся fortunатовской школой формальной классификации слов на форменные и бесформенные с последующим подразделением первых на склоняемые, спрягаемые и т. д. Подчеркивая, что «... в вопросе о „частях речи“ исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать... какие о б щ и е к а т е г о р и и различаются в данной языковой системе» [6, с. 78—79], — ученый формулирует свое известное, намеренно заостренное против fortunатовского «морфологизма» положение о том, что «...едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные. Я полагаю, что все же функция слова в предложении является всякий раз наиболее решающим моментом...» [6, с. 79].

С другой стороны, отказ А. А. Шахматова от fortunатовской концепции синтаксиса как учения о словосочетаниях, выдвигание им на первый план понятия предложения в связи с учением о коммуникации, отказ от разделения словосочетаний на грамматические и неграмматические, постулат о том, что «...морфологический принцип деления частей речи не может выдержать критики, и нам остается обосновать это деление... с и н-

таксическими условиями, характерными для каждой из ... частей речи» (к каковым следует добавить и «более глубокие основания для такого различия — основания семасиологические» [19]), — также составляли хорошую основу для построения противопоставленной «формализму» грамматической системы.

Осуществление этой задачи взял на себя В. В. Виноградов, о котором Н. Ю. Шведова пишет: «Грамматическая концепция В. В. Виноградова сложилась под сильным и непосредственным влиянием концепции и взглядов его учителей — акад. А. А. Шахматова и акад. Л. В. Щербы. В сохранении и развитии шахматовских и щербовских традиций В. В. Виноградов видел залог плодотворного постулательного развития русской грамматической науки» [20, с. 5].

Эти традиции явственно сказываются в подходе В. В. Виноградова к основной морфологической проблеме — проблеме частей речи. «Классификация слов, — подчеркивает ученый, — должна быть конструктивной. Она не может игнорировать ни одной стороны в структуре слова. Но, конечно, критерии лексические и грамматические (в том числе и фонологические) должны играть решающую роль. В грамматической структуре слов морфологические своеобразия сочетаются с синтаксическими в органическое единство. Морфологические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике... Морфологические категории неразрывно связаны с синтаксическими. В морфологических категориях происходят постоянные изменения соотношений, и импульсы, толчки к этим преобразованиям идут от синтаксиса. Синтаксис — организационный центр грамматики. Грамматика, имманентная живому языку, всегда конструктивна и не терпит механических делений и рассечений, так как грамматические формы и значения слов находятся в тесном взаимодействии с лексическими значениями» [21, с. 29]. Поэтому и сама система частей речи носит у В. В. Виноградова лексико-грамматический (или, иначе, семантико-синтаксический) характер — ср. выдвинутый им тезис: «Деление частей речи на основные грамматические категории обусловлено: 1) различиями тех синтаксических функций, которые выполняют разные категории слов в связной речи, в структуре предложения; 2) различиями морфологического строя слов и форм слов; 3) различиями вещественных (лексических) значений слов; 4) различиями в способе отражения действительности; 5) различиями в природе тех соотносительных и соподчиненных грамматических категорий, которые связаны с той или иной частью речи» [21, с. 38—39].

Выделяя в грамматике, помимо учения о слове, еще три раздела — учение о словосочетании, учение о предложении и учение о сложном целом и о синтагмах как его составных частях — В. В. Виноградов в своих синтаксических изысканиях отводил особую роль предложению, считая его, наряду со словом, центральным понятием грамматики и видя в нем «... основную синтаксическую единицу языкового общения...» [18, с. 264]. Говоря же о словосочетании, В. В. Виноградов подчеркивал: «Только в составе предложения и через предложение словосочетания входят в систему коммуникативных средств языка. Рассматриваемые вне предложения, как строительный материал для него, словосочетания так же, как и слова, относятся к области номинативных средств языка, средств обозначения предметов, явлений, процессов и т. п.» [18, с. 231].

Таковы в очень кратком и схематичном изложении основные положения грамматической концепции В. В. Виноградова, ставшие основой для ряда грамматических трудов, созданных в последующие годы, в первую очередь — для академической грамматики русского языка. Сохранило

свое значение учение В. В. Виноградова и в дальнейшем — ср. высказывание Н. Ю. Шведовой: «На его систему в значительной степени ориентируется современное вузовское и школьное преподавание русской грамматики» [20, с. 10].

Подведем итоги сказанному.

1. В истории русской грамматической науки первой половины XX в. можно выделить три этапа: а) дооктябрьский период; б) двадцатые годы; в) время от начала 30-х гг. до первой половины 50-х. В первый из выделенных нами периодов центральное место занимала проблема взаимоотношения школьной и научной грамматики в связи с критикой традиционной грамматической системы; во второй — на передний план выдвинулся вопрос о сущности и принципах грамматического формализма; третий период характеризуется отказом от установок «формальной» грамматики и стремлением к выработке противоположной формализму грамматической системы.

2. Если «школьная грамматика» в конце XIX — начале XX в. отождествлялась, как правило, с концепцией Ф. И. Буслаева, то к «научной» относили грамматические труды, созданные, в основном, противниками буслаевской («логической») системы, вне зависимости от того, к какой традиции они принадлежали. Поскольку первенство в этом плане принадлежало А. А. Потебне и его последователям, постольку и ученых, вышедших из рядов других направлений, считали часто продолжателями Потебни. Этому способствовало и то обстоятельство, что, несмотря на глубокие расхождения, существовавшие внутри различных течений «научной» грамматики (в первую очередь — между концепциями Потебни и Фортунатова), ее представителей объединял и ряд общих воззрений.

3. Даже в период относительного единства взглядов между сторонниками различных «фракций» «научной» грамматики имелись и определенные разногласия — в том числе и между учеными, считавшими себя представителями одной научной традиции. Однако в первый период, когда главной задачей «научной» грамматики была борьба с логико-грамматической системой, господствовавшей в школах, разногласия между отдельными лингвистами казались второстепенными. С провозглашением «научной» (или, иначе, «формальной») грамматики ведущей системой в школьном преподавании относительное единство внутри последней сменилось острым расхождением.

4. Поскольку основной чертой «научной» грамматики считалось внимание к формальной стороне языка, постольку центральным предметом дискуссий между учеными должен был стать вопрос о сущности и основных принципах грамматического формализма. У названного термина, однако, не было должной определенности: с одной стороны, им продолжали по традиции называть все течения «научной» грамматики в целом; с другой стороны, это слово все больше и больше закреплялось за фортунатовской школой, игравшей ведущую роль в грамматической жизни 20-х гг.

5. Poleмика о месте и роли значения в грамматике разделила фортунатовскую школу на два лагеря: крайних формалистов («ультраформалистов»), отрицавших правомерность обращения грамматистов к семантике и трактовавших грамматику как исключительно формальную науку, и умеренных формалистов (или просто «формалистов»), выступавших за учет как формальной, так и семантической сторон языка. Эта дискуссия осложнялась той критикой, которой подвергалась фортунатовская школа со стороны представителей других направлений. Несмотря на попытки многих ученых из обоих лагерей (умеренного и крайнего) сохранить единство Московской школы, во второй половине 20-х гг. внутри ее явственно

обозначился раскол, значительную роль в углублении которого сыграло знакомство научно-педагогической общественности с грамматическими воззрениями А. А. Шахматова.

6. К началу 30-х гг. «формализм» фортунаатовского толка под воздействием целого ряда причин (внутренний кризис, влияние сторонников «нового учения о языке», критика со стороны Л. В. Щербы, потеря влияния в среде преподавателей русского языка и др.) сходит со сцены и устраняется из средней и высшей школы. На смену прежней ориентации «на Фортунатова» приходит, с одной стороны, возрождение интереса к системе Ф. И. Буслаева, с другой — стремление опереться при построении грамматики на традиции А. А. Потемни и особенно, на положения, выдвинутые А. А. Шахматовым и Л. В. Щербой.

7. К концу 30-х — началу 40-х гг. ведущую роль в советской грамматической мысли начинает играть концепция В. В. Виноградова, в значительной степени продолжающая тенденции, зародившиеся в трудах Л. В. Щербы и А. А. Шахматова. Основные положения этой концепции — «антиморфологизм», лексико-грамматическая теория частей речи, выдвигание на первый план в синтаксисе учения о предложении и др. — носят резко «антифортунаатовский» характер и являются полной антитезой «грамматическому формализму».

ЛИТЕРАТУРА

1. От редакции (К обсуждению курса «Современный русский литературный язык» в высшей школе). — ВЯ, 1955, № 1, с. 91.
2. Бернштейн С. И. Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского. — В кн.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, с. 12, 11.
3. Первов П. Грамматика и логика. — Педагогический вестник Московского учебного округа. Средняя и низшая школа, 1915, № 5—6.
4. Шахматов А. А. Педагогический вестник Московского учебного округа. Средняя и низшая школа, 1915, № 4. — Рец. на кн.: Гусев Н. и Сидоров Н. Учебник синтаксиса русского языка. М., 1914, с. 51.
5. Первый Всероссийский съезд преподавателей русского языка средней школы в Москве. 27.XII.1916 — 4.I.1917. М., 1917, с. 26.
6. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
7. Павлович А. И. Между Спиллой и Харибдой. — Родной язык в школе. Педагогический сборник. Кн. 1 (2). 1919—1922. М. — Пг., 1923, с. 11.
8. Абакумов С. И. Этюды по формальной грамматике. — Родной язык в школе. Педагогический сборник. Кн. 3. М., 1923, с. 43—44.
9. Дурново Н. Н. В защиту логичности формальной грамматики. Родной язык в школе. Педагогический сборник. Кн. 3. М., 1923, с. 40.
10. Пешковский А. М. Избранные труды. М., 1959.
11. Шапиро А. Б. За кем идти (Современные грамматические разногласия). — Р. яз. в советской шк., 1929, № 6.
12. Пешковский А. М. Еще к вопросу о предмете синтаксиса (по поводу статьи А. П. Боголепова). — Р. яз. в советской шк., 1929, № 2, с. 52.
13. Щерба Д. Л. Лев Владимирович Щерба — В кн.: Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944). Сборник статей. Л., 1951, с. 12—13.
14. Руделев В. Г. Грамматическая теория Ф. Ф. Фортунатова. — В кн.: Русские языковеды. Тамбов, 1975, с. 19.
15. Виноградов В. В. Современный русский язык. Вып. 1. М., 1938, с. 38.
16. Петрова Е. Н. Академик Федор Иванович Буслаев и его значение для школы. — В кн.: Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. Л., 1941, с. 28.
17. Баргин К. Б. и Истрина Е. С. Методика русского языка в средней школе. М., 1935, с. 14.
18. Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
19. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М. — Л., 1941, с. 424.
20. Шедова Н. Ю. Грамматические труды академика Виктора Владимировича Виноградова. — В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
21. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. — Л., 1947.

АСФАНДИЯРОВ И. У.

УЗБЕКСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ С УЗБЕКСКОГО

Языки наций и народностей, населяющих Советский Союз, взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга благодаря прямым и косвенным контактам между собой.

Особое место в этом процессе занимает русский язык, которому по праву принадлежит роль единого межнационального средства общения народов СССР. Русский язык, оказывая большое влияние на языки народов СССР, и сам испытывает их воздействие, причем данный процесс активизировался в условиях развитого социализма. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Ш. Р. Рашидов по этому поводу говорит следующее: «В ходе исторического развития словарный состав русского языка пополнялся за счет других языков. Но это не только не ослабляло, а, наоборот, обогатило и усилило его, ибо, сохранив свой грамматический строй, основной словарный фонд, русский язык продолжал продвигаться вперед и совершенствоваться» [1, с. 13].

Русский язык един как средство межнационального общения для всех народов СССР. Обогащаясь словами из национальных языков народов СССР, которые наряду с русской лексикой употребляются в составе русского языка повсеместно, он располагает и заимствованной лексикой, используемой в определенном регионе, национальной республике. Однако «эти особенности не приводят к появлению территориального ответвления русского языка...» [2, с. 20]. Со временем региональные заимствованные слова могут стать широкоупотребительными в русском языке [3—6]. Известно, что значительная часть такой заимствованной лексики была в свое время региональной.

При анализе Толкового словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (1940) Н. К. Дмитриевым в 50-х гг. выявлено около 370 широкоупотребительных заимствованных тюркизмов в русском языке; вместе с тем отмечается, что в него не вошло еще 41 слово тюркского происхождения [5, с. 3—47]. На современном этапе продолжается процесс заимствования тюркской лексики из различных тюркских языков, в том числе из языков народов Средней Азии и Казахстана [7—10]. Существенный интерес в этом плане представляет анализ лексики прессы и передач на русском языке по радио и телевидению Узбекской ССР, а также переводов узбекской художественной литературы на русский язык.

Наше исследование проводилось с целью выявления объема и особенностей функционирования узбекских заимствований в русском тексте указанных жанров. При сопоставлении русского перевода и узбекского оригинала мы условно относим к заимствованиям из узбекского языка не только узбекизмы, но и другие тюркизмы, а также арабскую и иранскую лексику, ограниченную для современного узбекского языка.

Источники материала следующие. Выборочно проанализировано свыше 200 номеров областных и республиканских газет за 1978—1980 годы:

областные газеты «Советская Бухара» (СБ), «Андижанская правда» (АП), «Ташкентская правда» (ТП), «Хорезмская правда» (ХП), республиканские — «Пионер Востока» (ПВ), «Комсомолец Узбекистана» (КУ), «Правда Востока» (Пр. В). Всего выявлено более 1000 примеров интересующих нас словоупотреблений.

Материалы радиовещания (РВ) и телевидения (ТВ) также охвачены выборочно (1976—1980 гг.), и по каждому из этих видов массовой информации выписано более чем по 1000 словоупотреблений узбекских заимствований (в случаях, когда материалы подготовлены для центра, ссылка — ЦРВ и ЦТВ).

Нами проанализировано двенадцать художественных произведений узбекских советских писателей в переводе на русский язык, из них только два изданы в Ташкенте, причем один из романов — первый вариант «Умида» Мирмухсина ранее печатался в Москве (1972), остальные выпущены в Москве издательствами «Советский писатель», «Молодая гвардия» и Профиздатом; как правило, переводы авторизованы и сделаны представителями неузбекской национальности: И. Рахим, повесть «Хилола», М., 1977; роман «Судьба», М., 1977; Мирмухсин (Мирсаидов), романы «Умид», Ташкент, 1977 и «Сын литейщика», М., 1976; Шараф Рашидов, роман «Победители», М., 1974; Хамид Гулям, роман «Ташкентцы», Ташкент, 1971; Джонрид Абдуллаханов, роман «Ураган», М., 1975; Пиримкул Кадыров, роман «Черные глаза», М., 1968; Аскад Мухтар, роман «Чинара», М., 1977; Адыл Якубов, роман «Совесть», «Дружба народов», 1980, № 1—2; Уткур Хашимов, роман «Свет без тени», М., 1979; повесть «День мотылька», М., 1970. (Далее в тексте дается сокращенный вариант фамилии и инициалов.) Из этих произведений выписано свыше пяти тыс. карточек.

Тематически представлены следующие группы лексик¹.

I. Наименования, характеризующие специфические орудия труда, природные и климатические особенности: *омач* «соха», *мала* — вид бороны, *окарыж* «магистральный оросительный канал», *чигирик* — приспособление для очистки хлопка от семян, *заур* «дренаж», *хауз* (араб.) «бассейн, водоем», *гуза* (иран.) «коробочка хлопчатника», *гузапая* (иран.) — стебель или кусты хлопчатника, с которых снят хлопок, *курак* — нераскрывшаяся коробочка хлопка, *хирман* (иран.) «ток», *канар* «большой мешок», *шала* (иран.) — неочищенный рис, *чайрикер* (иран.) — издольщик, обрабатывающий чужую землю за 1/4 доли урожая, *девазира* (иран.) — сорт риса, *танап* (араб.) — мера земельной площади, *джайляу* «горное пастбище», *адыр* «холмистая местность», *гармсель* (иран.) «суховея», *саратан* (араб.) — самый жаркий период лета, *сай* «горная речка, ручей», *чуль* «степь» и др.

II. Названия лиц по профессиональным, возрастным, социальным и прочим признакам: *мираб* (араб., иран.) — лицо, ведающее распределением воды в оросительной системе, *арбакеш* (араб., иран.) «возчик», *ата* «отец», *ана* «старшая сестра», *ака* «старший брат», *биби* «бабушка», *бобо* «дедушка», *уста* (иран.) «мастер», *кенжатай* — самый маленький, последний ребенок в семье, *уртак* «товарищ», *келин-пошишо* «невестка», *аскиябаз* (араб., иран.) «острослов», *палван* (иран.) «богатырь», *маскарабаз* (араб., иран.) «шут, скоморох, клоун», *табиб* (араб.) «лекарь, врачеватель», *раис* (араб.) «председатель».

III. Наименования предметов быта: *кумган* — медный или чугунный кувшин, служащий для кипячения воды на чай, *ляган* «блюдо» (посуда),

¹ Этимология лексических заимствований определялась по двухтомному «Толковому словарю узбекского языка» [11]. Слова без помет собственно узбекские или общетюркские.

дастархан (иран.) «скатерть; скатерть с угощением», *каса* (иран.) «большая чашка», *курпача* «одеяльце», *хантажта* (иран.) «низенький столик», *сюзание* (иран.) — род гобелена с вышивкой, *бешик* «люлька», *чапан* «халат», *чачван* (иран.) — волосяная сетка, покрывающая лицо женщины, *бекасам* в значении «бекасамовый халат», *хан-атлас* — сорт шелковой материи.

IV. Названия населенных мест: *махалля* (араб.) «квартал», *гузар* (иран.) «перекресток, бойкое место, маленький базар».

V. Названия жилых и хозяйственных построек: *панджара* (иран.) «решетка, решетчатая часть ограды», ганч «алебастр, гипс», *пахса* (иран.) «глинобитная стена», *тандыр* (араб.) «печь для выпечки хлеба», *айван* (араб.) «веранда, терраса», *кувур* «труба», *кала* (араб.) «крепость», *тарнов* (иран.) «желоб», *дувала* (иран.) «глиняный забор», *михманхана* (иран.) «помещение для приема гостей, гостиная; гостиница», *кутан* — загон для овец и др.

VI. Наименования понятий, связанных с особенностями узбекской и восточной культуры: *аския* (араб.) «острословие», *танбур* (иран.) — струнный музыкальный инструмент, *дойра* (араб.) «бубен», *карнай* (иран.) «труба, горн», *сурнай* (араб., иран.) — духовой музыкальный инструмент; *рубоб* (иран.) — щипковый струнный инструмент, *кураш* «борьба», *улак* «козлодрание», *хорманг* — приветствие работающим, букв. «не оставайтесь!», *хашар* (араб.) — добровольная общественная взаимопомощь, *пахта байрами* «праздник хлопка», *навруз-байрами* (иран., тюрк.) «день весеннего равноденствия», *хосил-байрами* (араб., тюрк.) «праздник урожая», *ковун-сайил* (тюрк., араб.) «праздник дыни», *ичкари* «женская половина дома», *ташкари* «мужская половина дома», *суюнчи* «подарок за радостную весть» и др.

VII. Названия, имеющие отношение к религии, старому быту: *курбан-хаит* (иран., араб.) «праздник жертвоприношения», *руза-хаит* (иран., араб.) «праздник разговения», *ишан* (иран.) — видное духовное лицо, *курши* — главарь басмаческой шайки, *домулла* (араб.) «учитель медресе» и др.

VIII. Названия блюд, пищи, напитков: *казы* — колбаса из конины со специями, *манты* — крупные паровые пельмени, *шурпа* (иран.) «суп», *шавля* (иран.) — рисовая каша, приготовленная с мясом, луком и морковью, *самса* «пирожок», *вараки-самса* «слоеный пирожок», *кокчай* (тюрк., кит.) «зеленый чай», *хамиртуруш* (араб., иран.) «дрожжи», *патыр* «пресная лепешка», *туй-нон* (иран.) «свадебная лепешка», *пиезли-нон* (иран.) «лепешка с луком», *ширман-нон* «молочная лепешка», *сумалак* «кисель» и др.

IX. Названия, относящиеся к животному миру: *кеклик* «горная куропатка», *майна* — индийский скворец, *карабаир* — порода лошади, *бедана* «перепелка», *каракал* — среднеазиатская рысь, джейран и др.

X. Наименования растительного мира: *маш* (иран.) — бобовое растение, сорт мелкой фасоли, *карагач* «вяз», *арча* «можжевельник», *гумай* — вид сорняка, *аджирик* — пальчатая трава, *янтак* «верблюжья колючка» и др.

Заемствованную лексику представляют безэквивалентные и фоновые слова. Безэквивалентная лексика не имеет соответствий в русском языке: *манты*, *гузаяя*, *кусаж* и т. д. Фоновые слова легко переводятся на русский язык, но, несмотря на это, в проанализированных нами материалах предпочтение отдается оригинальным словам, потому что они полнее и точнее отображают местный колорит. Как отметил А. В. Миртов, «от замены пиалы чашкой, кетменя — лопатой или киркой, дувала — забором, арыка — ручьем, наша речь проиграет в точности, исказится по содержанию» [12, с. 9] (разрядка наша. — А. И.). Действительно, *кетмень* — это не лопата и не кирка, а род мотыги с широким

лезвием, *арык* — это не ручей, а оросительный канал или канава, *пиала* — это не чашка, а сосуд без ручки, в отличие от чайной чашки. В силу указанной безэквивалентности данные слова давно и прочно вошли в русский словарь.

Ниже проиллюстрируем на нескольких примерах вхождение фоновых слов в русское словоупотребление.

Слова *дежканин*, *дежкане* употребляются обычно для создания исторического колорита — дореволюционная жизнь, революционные события, послереволюционные изменения в жизни крестьян, например: В мае 1918 года в Булакбагинской волости местными рабочими и *дежканами* с помощью областного совета был организован волостной Совет мусульманских рабочих, чайрикерских и дехканских депутатов (АП, 1978, 3 февр.); *Дежкане* закабалены жестоким, едва ли не потерявшим человеческий облик богачом Кадырбаем (РВ, 1979, 25 мая); ; Голодные, измученные жаждой *дежкане* повеселели (А. Мухт., Чинара); Пока в парандже приходят в дом *дежканина*, чтобы не давать врагам Советской власти новый повод для сплетен (КУ, 1979, 18 августа).

Однако эти же слова широко используются для обозначения современного крестьянства, например: Добился участка для пришкольного огорода, где под наблюдением опытных *дежкан* учащиеся выращивали овощи (Пр. В, 1978, 6 марта); Да, первые машины русские рабочие послали в далекий Узбекистан, желая помочь *дежканам* быстрее освоить новые земли, расширить посевы хлопчатника (ЦРВ, 1976, 12 окт.); Уборочная страда... С каким волнением и надеждой ждали ее хлопкоробы. Это самая радостная пора для *дежканина* (ТВ, 1977, 7 сент.); Созовем общее колхозное собрание, посоветуемся с *дежканами*, обсудим этот вопрос всем миром (Ш. Раш., Победители). В рассмотренных примерах слова *дежканин*, *дежкане* подчеркивают в русском тексте то, что описываемые события происходят в условиях Узбекистана. Если же употреблять вместо них слова *крестьянин*, *крестьяне*, то национальный колорит и ощущение места действия исчезнут.

Слово *хирман* встречается как в прямом, так и в переносном значении: *хирман* — площадь на поле, на которую складывают собранный хлопок, и метафорически — *общеколхозный хирман*, *хирман республики*, *общесоюзный хирман*. Например: Совхоз имени Абдалина создан осенью прошлого года, и нынешний урожай первым будет нашим вкладом в большой *хирман республики* (Пр. В, 1979, 4 июля); В сложнейших условиях Узбекистан (в 1978 г. — А. И.) поставил на *общесоюзный хирман* свыше пяти с половиной миллионов тонн хлопка (РВ, 1979, 8 марта); На полях хлопковых не смолкает гул уборочных комбайнов, груженные «белым золотом» тележки днем и ночью бегут на *хирманы* (ЦТВ, 1978, 25 окт.); Пока сборщицы отдыхали на *хирмане*, Умид заговорил с бригадиром (Мир., Умид); Их вклад в *общеколхозный хирман* составляет почти 350 тонн «белого золота» (СБ, 1979, 12 янв.).

Слово *хирман*, употребленное в русской речи, связано со сбором хлопка, и поэтому в данных иллюстрациях нельзя употреблять слово *ток*, означающее площадку для молотбы зерна, или гумно.

Слово *гузапая* — стебель или кусты хлопчатника, с которых снят хлопок, — также связано с возделыванием хлопчатника, оно не имеет эквивалента в русском языке и незаменимо при описаниях многообразного использования *гузапая* в качестве строительного и подсобного материала, на корм скоту в качестве добавки и т. д., например: На северный участок каркаса поверх стекла или полиэтиленовой пленки укладываем утеплитель — это может быть *гузапая* или другой дешевый материал (Пр. В, 1979, 9 янв.); На двадцать второй — двадцать третий день невестушки

(шелковичные черви. — А. И.) готовы облачиться в кокон, теперь им подавай вязанки из горной польни или *гуза-паи*²... (ПВ, 1979, 14 июля); С завершением уборки приступили к зачистке полей от *гузапай*, промывным поливам, заготовке органических удобрений (ХП, 1978, 14 янв.); На этом же оборудовании можно перерабатывать *гузапай*, солому и тем самым повысить питательность *гузапай* в полтора раза, а соломы — в 2 раза (РВ, 1977, 14 ноября); В следующей пятилетке *гузапая* станет для нас весомым кладом (И. Рах., Хилола).

Займованная лексика представлена и такими словами, семантика которых расширилась за счет приобретения ими дополнительных значений в советский период. Так, слово *домулла* (*домла*) в дореволюционное время употреблялось в значении учителя медресе мусульманской духовной школы. В наше время *домулла* чаще используется как вежливое обращение к людям, известным своей ученостью: Но ведь вы, *домулла*, сами сказали с трибуны Союза писателей, что сад поэзии должен расти... (РВ, 1979, 19 апр.); В машине *домулла* затеял разговор о своей брошюре, вышедшей недавно (Мир., Умид): *Домулла* — буквально «ученый», вежливое обращение к образованному человеку (П. Кад., Черные глаза).

Вхождение узбекских слов в русский литературный текст происходит прежде всего в жанрах массовой коммуникации, причем в большей степени — в местной прессе, радиовещании и телевидении на русском языке: Никто лучше не испечет *вараки-самса* — слоеные пирожки, чем жена, моя, Гульнора (ТВ, 1979, 8 марта); Всем этим заводам-поставщикам хочется сказать *катта рахмат* — большое узбекское спасибо (РВ, 1976, 29 июня); *Кугирчак уюн* — искусство театра кукол издревле знакомо и близко узбекскому народу (РВ, 1979, 2 июня); Сидя рядом с водителем, непривычно насуспенный, с поджатыми губами, Гафур-ака, как только наступала пауза, коротко бросал: «*Яна битта*», то есть: «Еще одно», и Хамид тут же откликнулся новым стихотворением (РВ, 1979, 19 апр.); Прибежал он к баю, упал перед ним на колени и говорит: «*Икки ат ёк! Дух лошадей нет!*» (ТВ, 1977, 22 авг.)

В большинстве случаев, как видно из приведенных примеров, оригинальные слова вводятся в русский язык — на этапе употребления их в материалах центральной прессы и радио, посвященных жизни республики [ср. лишь отдельные примеры: *бобо*, *хауз*, *гармсель* (Известия, 1979, 19 сент.); *табиб*, *дежканин*, *чайхана* (Лит. газета, 1979, 26 сент.); *арча*, *зашар* (Правда, 1979, 6 ноября); *апа*, *ака*, *дастархан*, *чапан*, *шурпа* и др (ЦРВ)], а также в переводах художественных произведений.

Интересно отметить сохранение в русском тексте таких специфических узбекских слов, как звукоподражания, междометия, частицы, оттеняющих или усиливающих национальную специфику речи персонажей: «*Тум-ля-ка-тум*», — вступила дойра (ПВ, 1979, 16 июня); Но это же ужасно! *Вай дод!* Остаться одной с двумя крошками (РВ, 1979, 6 янв.); *Вай*, что же я заговорила с вами, совсем разум потеряла... (ТВ, 1979, 12 ноября); «*Товба-а-а*», — развел удивленно руками старик. — И что теперь делать?» (РВ, 1979, 12 апр.); *Вах!* Пять волчат он взял. Голыми руками, *вах* (И. Рах., Судьба); *Ой, вай!* Ну и сила! (Ш. Рах., Победители); *Хош*, чем могу служить? (А. Мухт., Чинара); *Оббо!* Разве могут переселять без вашего согласия? (П. Кад., Черные глаза); *Ия*, *ия*, оказывается, и председатель приходит молотъ пшеницу (И. Рах., Хилола); *Хой-хой*, песня, сердце-песня (А. Мухт., Чинара); *Хоп*, *хон!* — улыбнулся прокурор (А. Мухт., Чинара).

² Написание через дефис было употреблено в данной газете, хотя в других иллюстративных материалах дано слитное написание этого слова.

В проанализированных материалах иногда встречается не вполне обоснованное употребление узбекских слов, например: На районном *кенгаше* это отметили (АП, 1978, 7 февр.). В данном случае правильное, на наш взгляд, было бы использовать слово *совещание*.

Совершенно очевидно, что русский язык как средство межнационального общения, функционируя в национальных республиках, создает благоприятные условия для их взаимодействия и взаимообогащения. Обогащая национальные языки, русский язык обогащается и сам. Естественно, что в силу сложившихся объективных исторических условий больше обогащаются национальные языки за счет русского, одного из наиболее развитых мировых языков. Взаимовлияние и взаимообогащение русского и национального языков — это двусторонний процесс, приносящий обоюдную пользу участвующим в нем языкам. Лексика русского языка в каждом регионе имеет специфическую прослойку заимствованных слов, характерную для данной историко-культурной области. С течением времени употребление части подобной лексики расширяется, она перестает быть только региональной, входит в общенациональный русский язык, благодаря чему такие слова начинают функционировать на территории всего Советского Союза, а не только в каком-либо регионе. На смену уходящим в общий лексический фонд словам могут приходиться новые региональные заимствования.

Дальнейший рост общего лексического фонда народов СССР необходимо рассматривать как прогрессивное явление на современном этапе развития национальных языков Советского Союза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рашидов Ш. Р. Язык дружбы, братства и сотрудничества. Ташкент, 1979, с. 13.
2. Кушлина Э. Н. Среднеазиатская лексика в русском языке (на материале газет Узбекистана и Таджикистана). Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Душанбе, 1964, с. 20.
3. Тюркизмы в восточно-славянских языках. М., 1974.
4. Гальченко И. Е. О статусе слов северокавказского происхождения в русском языке. — ВЯ, 1979, № 4.
5. Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского языка. — В кн.: Лексикографический сборник. Вып. 3. М., 1958.
6. Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского словаря. — В кн.: Строй тюркских языков. М., 1962, с. 508—511.
7. Шипова Е. Н. Словарь тюркизов в русском языке. Алма-Ата, 1976.
8. Шеломенцева Э. С. Тюркизмы в русском языке жителей Киргизии: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1971, с. 10.
9. Назаров О. Н. Функционирование русского языка в Туркмении. — В кн.: Русский язык в национальных республиках Советского Союза. М., 1980, с. 64.
10. Гизонова Э. В. Узбекская лексика в произведениях русских писателей Узбекистана: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1970.
11. Узбек тилининг изоҳли дугати. Т. I, II. Под ред. Магруфова З. М. М., 1981.
12. Миртов А. В. Лексические заимствования в русском языке в Средней Азии. Ташкент — Самарканд, 1941, с. 9.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

АСЛАНОВ Г. Н.

О КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

За шестьдесят лет Советской власти в Азербайджане среди многих достижений особо можно выделить успехи в области социалистической культуры и языкового строительства. Этому всемерно способствовали новые общественные условия, создавшие равные возможности для духовного развития всех народов СССР. Следствием установившихся новых контактов и взаимоотношений между людьми разных национальностей в национальной республике является распространение национально-русского двуязычия.

Ф. П. Филин в статье «Современное общественное развитие и проблема двуязычия» раскрывает глубинные причины, породившие принципиально новые языковые взаимоотношения в СССР: «С возникновением социалистического общества создаются принципиально новые условия для развития двуязычия и многоязычия. Находит свое претворение в жизнь ленинское учение о нации, одно из положений которого — полное равноправие наций и народностей, больших и малых. Это равноправие сочетает в себе две взаимосвязанные стороны: 1) самые широкие права и возможности развивать свою национальную культуру, свой родной язык; 2) такие же права и возможности приобщаться к достижениям мировой культуры, что предполагает усвоение одного из мировых языков, причем не в ущерб своему родному языку, а наоборот, для обогащения и развития родного языка... В условиях нашей страны языком межнационального общения стал русский язык, являющийся по своим общественным функциям одним из мировых языков» [1].

В новых условиях равноправного функционирования двух литературных языков при развивающемся массовом двуязычии коренного населения на повестку дня выдвигается ряд неотложных задач, связанных в конечном счете с культурой речи в Азербайджане.

Вопросы культуры русской речи в межъязыковой среде вообще можно рассматривать как общую проблему в целом и отдельно — как развитие русской речи в конкретном регионе при национально-русском двуязычии (например, азербайджанско-русском, армянско-русском и т. д.).

При изучении состояния азербайджанско-русского двуязычия возможно отдельно рассматривать развитие русской речи азербайджанцев (РРА) в крупных городах (Баку, Кировабад, Сумгаит и др.), где представлена интернациональная среда и русский язык используется в значительной степени, и в сельской местности, где основную функцию общения выполняет азербайджанский язык и ситуативно употребляется русский¹.

¹ Опыт социолингвистического описания азербайджанско-русского двуязычия на материале Закатальского района АзербССР представлен в статьях А. Н. Баскакова, которые опубликованы в коллективной монографии [2].

Материалом для настоящей работы послужили наши наблюдения за речью студентов и преподавателей Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы им. М. Ф. Ахундова, использованы записи, сделанные во время передач азербайджанского радио и телевидения, а также магнитофонные записи уроков русского языка в пятом и восьмом классах Зардобской средней школы № 2 им. Ш. Курбанова Зардобского района АзербССР (запись произведена на уроках русского языка в апреле 1979 г. преподавателем школы Р. И. Исаевым).

Высокая культура языка вообще предполагает: 1) строгое соблюдение норм данного литературного языка, 2) умение найти из возможных способов выражения мысли наиболее рациональный, доходчивый, стилистически оправданный.

Из многоаспективной проблемы культуры речи рассмотрим два вопроса: интерференция в РРА, обусловленная расхождениями в фонологических системах русского и азербайджанского языков, и некоторые тенденции словообразования и словоупотребления у азербайджанцев-билингвов.

Наблюдения показывают, что наиболее распространенными и характерными фонетическими ошибками в РРА являются: нарушение ритмики русского слова, выражающееся в несоблюдении принципов количественной и качественной редукции безударных гласных (особенно четко это проявляется при произношении гласных неверхнего подъема *a, o, e*: *к[о]лѣба*, *к[о]ммунист*, *[j]азык*, *л[е]сник*); отсутствие фонологически осознанной палатализации в ряду парных по твердости—мягкости согласных (наиболее отчетливо это наблюдается в словах с несингармоническими слогами: *тетрадь* [т'етрѣт] и [т'етрѣт'] в зависимости от степени владения русским языком); смягчение непарных шипящих *ш, ж* и аффрикаты *ц* (у лиц, которые освоили эту аффрикату): *жить* [ж'ит'] и [ж'ит'], [ж'ит'], *шить* [ш'ит'], [ш'ит'], [ш'ит'], редко [жыт], [шыт]; *медицина* — *меди-ц[ѣ]на* и *медиц[ѣ]на*; твердое произношение *ц* [ш:']: *тощий* — *то[ш]ий*, *тощ* — *то[ш]*; длительность согласного *у* разных индивидов колеблется от обычного [ш] до долгого [ш:]; ошибки на произношение стечения согласных в начале слова — появление протетических гласных: *стакан* — [ис-такан], *старый* — [ас-тарый]; вставка гласного (эпентеза): *пример* — [п'ир'и]мер и [п'ир'и]мер, *вглядывался* — [выг]лядывался; диереза гласного и «йота»: *выполняет* — [фп]лняет, *высокая* — [фсб]кая, *подъем* — [пдѣ]м; замена сочетания согласных *дж* в корневом элементе слова, соотносенного по семантике с азербайджанской основой, звонкой аффрикатой [дж] (в азербайджанском языке орфографическое *ч*): *азербайджанский* — *азербай[дж]анский*, *джейран* — [дж]ейран, такое же явление наблюдается и в заимствованных словах типа *джемпер*, *джаз*.

Перечисленные и некоторые другие нарушения норм русской орфоэпии в РРА проявляются у отдельных групп населения в различной степени: в крупных культурно-экономических центрах (Баку, Кировабад, Сумгаит и др.) — в меньшей мере, а в сельских районах республики реализуются полностью и могут быть осложнены некоторыми особенностями территориальных диалектов. Например, многие жители Ордубадского района НахАССР вместо переднеязычной глухой аффрикаты *ч* произносят зубную глухую аффрикату *ц*, по звучанию близкую к русской аффрикате, встречающейся в некоторых северных цокающих говорах, однако фрикативная часть завершается придыханием [ц':]: *час* — [ц'ас], *начальник* — *на[ц'е]альник*.

Чтобы выяснить природу большинства фонетических ошибок, встречающихся в РРА, необходимо провести типологическое сопоставление фонологических систем русского и азербайджанского языков. Это позволит

наглядно увидеть близкие и специфические фонологические единицы в обоих языках и на этой основе выявить потенциальное «поле» интерференции (ШИ) на уровне фонем в сильной позиции.

При типологическом сопоставлении за отправное принимаем следующее: если представленные в двух языках звуковые единицы типа *a, y, n, b, m* и др. в фонетической системе каждого сопоставляемого языка в одинаковых позициях и одинаковых оппозициях выполняют тождественную лингвистическую функцию и носителями обоих языков воспринимаются на слух как *a, y, n, b, m*, а не как-нибудь иначе, то такие звуковые единицы будут считаться эквивалентными, а не отвечающие этим условиям — неэквивалентными. Разумеется, эквивалентность звуковых единиц в этом случае не свидетельствует об абсолютном тождестве, ибо «отношение сравниваемых фонем ко всем другим фонемам данной системы является в каждой системе несколько иным и никогда не может быть совершенно идентичным» [3].

Типологическое сопоставление систем согласных русского и азербайджанского языков может быть произведено с учетом трех признаков²: 1) места образования, 2) способа образования и 3) участия шума и тона. Если по указанным выше трем признакам расположить согласные русского и азербайджанского языков на одной оси (причем коррелятивные мягкие согласные русского языка представить рядом с твердыми), то можно будет наглядно увидеть эквивалентные и неэквивалентные звуковые единицы этих языков.

С методической точки зрения целесообразно при сопоставлении включать максимальное число фонологических единиц: для русского языка — 37 (как самостоятельные рассматриваются мягкие вариации заднеязычных *к', г', х'*), для азербайджанского языка — 24 (включается глухой заднеязычный смычный *k*, употребляемый в заимствованных из русского языка словах).

В предлагаемой таблице дан полный перечень консонантных единиц. На оси последовательно размещаются согласные с учетом места образования (губные, губно-зубные и т. д.). В разделе «русский язык» (РЯ) приводятся глухие твердые, рядом с транскрипционным знаком мягкости коррелятивные мягкие согласные, затем твердые звонкие и т. д.

В разделе «азербайджанский язык» (АЯ) сохраняется та же последовательность, поскольку диапазон артикуляционной базы переднеязычных согласных в азербайджанском языке шире, чем в русском, и смещен несколько назад за счет включения язычковой и глоточной артикуляций: увулярные (языковые) *x, ɣ* и фарингальный (глоточный) *h* следуют после заднеязычных.

Знаком «минус» обозначается отсутствие фонологической единицы в соответствующем языке, т. е. указывается на фонематическую неэквивалентность противостоящей единицы в одной из сопоставляемых консонантных систем.

РЯ:	п	п'	б	б'	м	м'	ф	ф'	в	в'	т	т'	д	д'	н	н'	л	л'	с	с'	з	з'	ш	ж
АЯ:	п	—	б	—	м	—	ф	—	в	—	т	—	д	—	н	—	л	—	с	—	з	—	ш	ж
РЯ:	ш'	ж'	р	р'	ч	—	ц	й	—	—	к	к'	г	г'	х	х'	—	—	—	—	—	—	—	—
АЯ:	—	—	р	—	ч	—	ç	—	ç	—	ç	—	ç	—	ç	—	ç	—	ç	—	ç	—	ç	ç

Из таблицы видно:

1) В сопоставляемых фонологических системах 25 неэквивалентных единиц и только 18 эквивалентных.

² Обоснование такого сопоставления см. в нашей работе [4].

2) Неэквивалентными по отношению к фонологической системе азербайджанского языка являются 17 мягких согласных из консонантной системы русского языка — *n', б', м', ф', в', т', д', н', л', с', з', ш', ж', р', к', г', х'* и непарная по признаку «твердость—мягкость» аффриката *ц*.

3) По артикуляторно-акустическим признакам все твердые согласные русского языка — губно-губные *п, б, м*; губно-зубные *ф, в*; переднеязычные *т, д, н, л, с, з, ш, ж, р*, а также непарная аффриката *ч*, среднеязычный «йот» [j] и заднеязычные *г* и *к* — имеют эквивалентные единицы в звуковой системе азербайджанского языка.

4) Из шести неэквивалентных согласных азербайджанского языка (*ч, к, ж, х, ф, һ*) только глухой фрикативный фарингальный *һ* и звонкий фрикативный увулярный *ф* не выступают в РРА в роли заместителей звуковых единиц русского языка, т. к. в консонантной системе русского языка отсутствуют близкие по звучанию единицы.

Рассмотрение таблицы дает возможность также сделать следующие выводы:

1) Все мягкие согласные (губно-губные, губно-зубные и переднеязычные) как не имеющие соответствий в фонологической системе азербайджанского языка представляют ППИ в РРА.

2) Обычно аффриката *ц* в РРА замещается эквивалентной в этих языках единицей *с*: *цури*[с]а, [с]арапина. У некоторых лиц, освоивших аффрикату *ц*, в ее произношении проявляется влияние азербайджанского языка — в сочетании с гласным непереднего ряда ее звучание отвечает норме русского языка: *цури*[ц]а, [ц]арапина, а в составе слога с гласными переднего ряда она произносится смягченно или мягко: [ц']епь и [ц']ирк и [ц']ирк. В определенной степени здесь сказывается и влияние русской орфографии. Только у лиц с высокой культурой речи и в этой позиции выступает орфоэпическая норма русского языка.

3) Среднеязычные согласные азербайджанского языка (глухой смычный *к* и звонкий смычный *к*) являются субститутами соответственно для русских заднеязычных [к'] и [г'].

4) На месте заднеязычного фрикативного русского [х] выступает в РРА увулярный фрикативный [х] азербайджанского языка.

5) Неэквивалентная русской фонологической системе звонкая аффриката азербайджанского языка *ч* [дж], коррелирует к глухому *ч*, в РРА всегда замещает сочетание *дж*, если оно встречается в корневых морфемах, соотнесенных с соответствующими словами в азербайджанском языке, например, *азербайджанский* — *азербай*[дж]анский.

Типологическое сопоставление фонологических систем согласных русского и азербайджанского языков позволило наглядно увидеть фонологические несоответствия и артикуляторно-акустически близкие в двух языках единицы. Это и дает возможность определить ППИ в РРА и осознать причины, порождающие интерференцию на уровне фонем (звуков).

Однако интерференция в РРА может наблюдаться и при произношении эквивалентных фонетических единиц в определенных фонетических условиях в пределах слова. Например, слово *бал*, состоящее из последовательности трех эквивалентных единиц в двух языках, в РРА не испытывает фонетической интерференции, а *бил*, имеющее в своем составе две эквивалентные единицы *и* и *л*, в РРА претерпит существенные изменения: оно будет произнесено с полумягким или мягким конечным *л* [п'ил'] или [п'ил'] (то же в словах *пел, мел, тир, кит* и др.).

Причину этого явления следует искать в принципиально различной основе соотношения признаков «твердость—мягкость» в фонологических системах рассматриваемых языков.

В русском языке мягкость согласного как фонологический признак может быть представлена в начале, середине и конце слова (*лед* [л'от], *большой* — б[л'шой, *даль* — д[а'л']), ряд образования гласных зависит от твердости—мягкости соседних согласных³, а в азербайджанском языке этот признак у согласных нефонологичный, зависящий от ряда образования гласного. Азербайджанец в своей речи пытается трансформировать сочетания согласных и гласных русского языка по образцу и подобию сочетаний родного языка. Практически это выглядит так: в слове *больной* [л'] в РРА будет произноситься как [л], т. к. этот согласный находится в слоге рядом с гласным непереднего ряда; слово *мил* в РРА звучит как м[ил'] или м[ил'], полумягкость (= мягкость) конечного л зависит от качества соседнего гласного переднего ряда, конечное [л'] в слове *даль* произносится твердо да[л], т. к. л находится в слоге рядом с гласным непередним⁴.

Изложенное позволяет сделать следующее обобщение: ППИ в РРА равно сумме неэквивалентных фонем⁵, представленных в фонологических системах русского и азербайджанского языков, при учете некоторых частных фонетических законов реализации эквивалентных фонем внутри фонетической системы азербайджанского языка.

Устойчивость фонетической интерференции увеличивается, если в контактирующих языках имеются близкие по акустико-артикуляционным признакам фонологические единицы. Реализация этих единиц, а также неэквивалентных фонем в пределах словоформ и составляет ярко выраженный национальный азербайджанский акцент в русской речи.

Только на стадии высокой культуры устной речи говорящий в состоянии контролировать речь и исправлять свои ошибки. Отсюда вытекает настоятельная необходимость, во-первых, повышения общего уровня преподавания русского языка на всех этапах его изучения (школа, вуз) с акцентом на те звенья, которые порождают устойчивую интерференцию; во-вторых, создания специальных сборников упражнений, самоучителей, словарей и т. д., учитывающих особенности конкретных национальных языков.

Рассмотрим некоторые тенденции словообразования и словоупотребления в гор. Баку. Баку — многонациональный город, где русский язык широко используется как средство коммуникации в различных сферах официальной и бытовой жизни. В настоящее время все его жители коренной национальности практически являются двуязычными.

Наблюдения показывают, что в последние 10—15 лет в неофициальной обстановке русская речь двуязычных азербайджанцев (прежде всего молодежи и некоторой части представителей среднего поколения) неоправданно стала насыщаться отдельными азербайджанскими словами с грамматически русифицированной формой: к производящей азербайджанской основе прибавляется русский суффикс.

Приведем наиболее распространенные примеры:

³ «...различия гласных по ряду в современном русском языке обусловлены позицией: они зависят от качества соседних согласных (в особенности от их твердости или мягкости), а также от наличия или отсутствия согласного перед гласным или после него. Позиционно обусловленные различия гласных по ряду (т. е. по более заднему или переднему образованию) в русском языке очень велики. Ввиду сказанного ряд гласных не входит в число конститутивных, различительных признаков гласных фонем русского языка, а характеризует лишь ту или иную конкретную разновидность фонемы (основной ее вид, тот или иной вариант) [5].

⁴ Более подробные данные о роли гласных и несколько иная методика выявления ППИ в РРА дана в работе [6].

⁵ За исключением двух фонем из системы согласных азербайджанского языка — увулярной г и фарингальной х.

азербайджанская производящая основа	прибавляемый суффикс	слово-«гибрид»
<i>биби</i> «тетя» (сестра отца)	-ишк-	<i>бибйшка</i>
<i>баба</i> «дед, бабушка»	-ашк-	<i>бабашка</i>
<i>балача</i> «маленький»	-ашк-	<i>бала[дж]бшка</i>
<i>хала</i> «тетя» (сестра матери)	-ашк-	<i>халашка</i>
<i>нанэ</i> «бабушка»	-ашк-	<i>нанашка</i> ⁶
<i>јумујта</i> «яйцо»	-ышк-	<i>јумуртйшка</i>
	-(ыш)шиц-	<i>јумуртйшшица</i> ⁷

Другая значительная группа слов связана с ономастикой. В русской речи молодежи многосложная основа мужских собственных азербайджанских имен укорачивается за счет усечения финалий, в результате чего как производящая основа выступает первый слог, к которому и прибавляются суффиксы *-ик-*, реже *-ушк-* из грамматической системы русского языка. Ударение в новых словах (именах-кличках) переносится на предсуффиксальный слог. Женские собственные имена трансформируются только путем усечения и соответствующего переноса ударения с конечного слога на первый.

Приведем в орфографической записи на азербайджанском и русском языках наиболее распространенные примеры.

Мужские собственные имена:

на азербайджанском языке	на русском языке	новообразования
<i>Азэр</i>	<i>Азэр</i>	<i>Азик</i>
<i>Али</i>	<i>Али</i>	<i>Алик</i>
<i>Извэт</i>	<i>Извэт</i>	<i>Изик</i>
<i>Имамверди</i>	<i>Имамверди</i>	<i>Имик</i>
<i>Интигам</i>	<i>Интигам</i>	<i>Интик</i>
<i>Микайл</i>	<i>Микайл</i>	<i>Мйка</i>
<i>Мусá</i>	<i>Мусá</i>	<i>Мусик</i>
<i>Нурмамэд</i>	<i>Нурмамэд</i>	<i>Нурик</i>
<i>Фэрхад</i>	<i>Фэрхад</i>	<i>Фарик</i>
<i>Фуád</i>	<i>Фуád</i>	<i>Фушка</i>

Женские собственные имена:

<i>Афáа</i>	<i>Афáа</i>	<i>Афа</i>
<i>Диларá</i>	<i>Диларá</i>	<i>Дэля</i>
<i>Зульфунáа</i>	<i>Зульфунáа</i>	<i>Зуля</i>
<i>Зулалá</i>	<i>Зулалá</i>	<i>Зуля</i>
<i>Зулейáа</i>	<i>Зулейáа</i>	<i>Зуля</i>
<i>Йнајэт</i>	<i>Йнајэт</i>	<i>Йна</i>
<i>Кифајэт</i>	<i>Кифајэт</i>	<i>Кйфа</i>
<i>Куларá</i>	<i>Куларá</i>	<i>Гюля</i>
<i>Мирварй</i>	<i>Мирварй</i>	<i>Мйра</i>
<i>Назакэт</i>	<i>Назакэт</i>	<i>Нáа</i>
<i>Садэт</i>	<i>Садэт</i>	<i>Сáа</i>

Описанная выше тенденция словоупотребления, к сожалению, распространяется постепенно и за пределами Баку.

Недостаточно хорошо знающий нормы русского языка азербайджанец, употребляя слово *бибишка* вместо русского *тетя*, полагает, что эта русифицированная производная форма имеет значение ласкательное, однако

⁶ В РРА сохраняется неэквивалентная фонологической системе русского языка гласная фонема азербайджанского языка *э* — переднего ряда средненижнего подъема — [н'э'эш'кэ].

⁷ *Юмуртйшка* с оттенком уничижительности означает «яйцо», а производное от него с суф. *-ниц-* (*јумуртйшшица*) «яичница».

ему невдомек, что слушающий русский оценивает это новообразование с позиций родного языка как слово стилистически сниженное с оттенком пренебрежения, ибо в русском от производящей основы имен существительных посредством суффикса *-ишк-* образуются существительные со значением пренебрежительности, уничижительности и реже с оттенком ласкательности, в последнем случае часто, чтобы подчеркнуть незрелость или с оттенкомнисходительной иронии (ср. *шалунишка, ворюшка, братишка*) (см. [7, с. 134—135, 87; 8]). Если бы азербайджанец полностью осознал все оттенки значения, которые придадут суффиксы *-ишк-*, *-ашк-* присоединяемым словам, то несомненно, он не стал бы употреблять слова-гибриды с азербайджанской производящей основой вместо русских их эквивалентов.

Неоправданными, с нашей точки зрения, являются также русифицированные формы личных имен типа *Алик, Нурик*⁸ и др., ибо они употребляются в РРА не только в разговорном стиле, но часто вклиниваются в официальный стиль речи, иногда вкрапливаются и в азербайджанский контекст высказывания (*Нурик, китабы вер!* «Нурик дай книгу!»).

Итак, употребление русифицированных форм азербайджанских лексем в РРА не мотивировано лингвистически. Это плод «лингвистических» заблуждений людей, которые не знают достаточно хорошо норм русского и азербайджанского литературных языков; в условиях активно развивающегося азербайджанско-русского двуязычия смешивают системы двух языков. С таким словотворчеством необходимо вести решительную борьбу.

Изгоняя из употребления лингвистически немотивированные слова и словечки, неизбежно появляющиеся в условиях развивающегося двуязычия, мы тем самым активно боремся за чистоту как русского литературного языка, так и национального.

Необходимость борьбы за высокую культуру русского языка в республике возрастает еще и потому, что русский язык является в настоящее время одним из активных источников обогащения и пополнения словарного запаса азербайджанского литературного языка в области культуры, науки и техники.

В этой борьбе за соблюдение высокой культуры речи ведущая роль принадлежит учителям, писателям, ученым и всем тем, кому дорог родной язык — сокровищница национальной культуры — и русский язык — язык межнационального общения и сотрудничества народов СССР.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Современное общественное развитие и проблема двуязычия. — В кн.: Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972, с. 22.
2. Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976.
3. *Милевский Т.* Предпосылки типологического языкознания. — В кн.: Исследования по структурной типологии. М., 1963, с. 10—11.
4. *Асланов Г. Н.* Фонологические основы построения сборника упражнений по практической фонетике русского языка для азербайджанцев. — В кн.: Уч. зап. вузов МВ и ССО АзербССР. Азербайджанский пед. ин-т русского яз. и лит-ры им. М. Ф. Ахундова, 1977, сер. XII, № 4.
5. *Аванесов Р. И.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956, с. 88—89.
6. *Мамедов Р. С.* Фонетическая интерференция в русской речи азербайджанцев (функциональное приращение признаков «твердость—мягкость» согласных и «ряд образования» гласных в звуковых системах русского и азербайджанского языков): Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1978.
7. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
8. *Потиха З. А.* Современное русское словоупотребление. М., 1970, с. 255.

⁸ Эти личные имена образованы по аналогии с русскими именами, имеющими уменьшительно-ласкательное значение (*Шура — Шурик, Владимир — Владик*); см. [7, с. 137—138].

МЕНОВЩИКОВ Г. А.

**СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ ЗАВИСИМОГО
ДЕЙСТВИЯ В ЭСКИМОССКОМ ЯЗЫКЕ**

Предложение как коммуникативная единица языка возникает и реализуется в процессе речевых актов и в языках различного строя приобретает множество дифференциальных признаков. В лингвистике в качестве основной модели предложения принято рассматривать простое предложение с его предикативным, субъектным и объектным членами, иначе — глагольным сказуемым, подлежащим и прямым дополнением. Вместе с тем принимается во внимание и тот факт, что предикативную функцию в отдельных структурах предложения могут выполнять и выполняют именные и другие неглагольные части речи.

В нашем сообщении о полипредикативных структурах предложения будут рассмотрены лишь предложения с глагольными предикатами, когда простое предложение с предикатом — глаголом независимого (главного) действия окружается многообразными придаточно-обстоятельными предложениями, предикативным ядром которых выступает глагол зависимого действия — д е е п р и ч а с т и е.

Исполнителем предикативного акта в глагольном предложении выступает субъект действия, который может быть выражен как лексически (подлежащим), так и грамматически (личной формой глагола). В языках с эргативным строем предложения, где переходный субъектно-объектный глагол в функции предикативного члена двусторонне управляет лексически выраженными субъектом (подлежащим) и объектом (прямым дополнением), показатели лица субъекта и объекта действия эксплицируются в самой форме глагола. Так, в эскимосском языке в предложении типа *Kuyápa aglátak'ā k'íkmiik'* «Куйапа ведет-он-ее собаку» реальный субъект действия означен именем в относ. падеже (суф. -м), а реальный объект — именем в абсол. падеже (эргативная конструкция предложения) и вместе с тем указание на субъект и объект действия суффиксально обозначено в структуре глагольного сказуемого субъектно-объектным показателем 3-го лица ед. числа (-ā) («он-ее»). Глагол в таком предложении двусторонне управляет именными членами — подлежащим и прямым дополнением.

Что же касается двухчленных конструкций предложения с односторонним управлением, когда в глагольном сказуемом эксплицируется только показатель лица и числа субъекта, то в эскимосском языке функционирует несколько типов таких предложений, рассмотрение которых не входит в задачу данной статьи [см. 1]. Известно, что во многих языках глагол в ряде своих форм имеет только субъектные показатели или же не имеет их совершенно. Так, в русском языке глаголы настоящего и будущего времени получают окончания только субъекта действия, а в прошедшем времени совсем не различают лица.

Если координация между подлежащим и сказуемым в двухчленном эскимосском предложении осуществляется по линии согласования их в лице и числе, то в трехчленном предложении в сферу такого согласования вступает также и прямое дополнение, лицо и число которого эксплицирует-

ся в структуре глагола наряду с лицом и числом подлежащего. В таких русских предложениях со сказуемым — переходным глаголом в форме прошедшего времени, как *Я видел Павла, Ты видел Павла, Павел видел меня, Павел видел тебя, Я видел тебя, Ты видел меня*, именные члены предложения — подлежащее и прямое дополнение, выраженные местоимениями 1-го и 2-го лица, не могут быть эллиптированы из состава предложения во избежание утраты его смысла, поскольку данная форма глагола не имеет показателя лица субъекта и объекта. В эскимосском же языке с его субъектно-объектной структурой глагола эти предложения могут быть как двусоставными, так и односоставными, хотя тройное отношение — предикат-субъект-объект в них сохраняется полностью, ср. чапл. диал.: *Ысх'атак'а Павел* «Видел-я-его Павла», *Ысх'атан Павел* «Видел-его-ты Павла», *Павлам Ысх'атан'а* «Павел видел-он-меня», *Павлам Ысх'ататын* «Павел видел-он-тебя», *Ысх'атамкын* «Видел-я-тебя», *Ысх'атаг'пйн'а* «Видел-ты-меня». Именные актанты, означенные в русских предложениях отмеченного типа местоимениями 1-го и 2-го лица субъекта и объекта, в идентичных предложениях эскимосского языка оказываются избыточными.

В языках, где глагол не имеет личных форм, субъект и объект действия фиксируются только лексически, если предложение рассматривается изолированно от контекста. Так, например, в нивхском языке фиксированные показатели лица-числа субъекта получают лишь глаголы в императиве, тогда как глаголы других наклонений таких показателей не имеют, потому наличие в структуре предложения именных членов оказывается неперменным условием речевого акта, ср.: *Н'и п'эрд'* «Я устал», *Иф п'эрд'* «Он устал», *Чи п'эрд'* «Ты устал». В нивхском языке не только лицо-число, но и настоящее и прошедшее время не различаются формой глагола, ср.: *ны н'ивгу к'э варкт* «Эти люди о сетке спорили»; *Н'и п'ыкынго варкт* «Я со старшим братом спорю» [2, с. 7, 51, 91, 102, 130—132].

Простое двусоставное или трехсоставное предложение без эллиптированных членов, а также не осложненное зависимыми предикативными оборотами возможно лишь в ситуации коммуникативного акта, выражающего относительно законченную мысль, не зависящую от контекста, от разного рода ситуативных причин. Такие «чистые» по структуре дву- или трехсоставные простые предложения в повседневной речи встречаются гораздо реже, чем предложения, связанные с контекстом, усложненные зависимыми предикативными оборотами, или же простые с эллиптированными именными членами. Особое место в этом плане занимают структуры предложений, осложненных так называемыми обстоятельственными оборотами, которые в одних языках образуются посредством союзных слов, сочетающихся с глаголами независимого действия, в других — посредством причастных и деепричастных форм глагола.

Деепричастия в функции сказуемого независимого действия в ряде алтайских и палеоазиатских языков образуют так о д н о с у б ъ е к т н ы е структуры предложений типа эскимосских *Атама унан'канын' к'аму-маг'ма, к'уйаман'а* «Отца-моего добычу-его волоча-я, радуюсь-я», *Ану-симаг'ма, итых'тутын гуйгувнун* «Проводив-меня, вошел-ты в дом-твой», так и разносубъектные типа *Талййасик, йугыт к'ыпх'амат* «Придя-ты, люди работали», *Абых'туг'иста айиан, таг'нуж'ат малйхтат* (чапл. диал.) «Выйдя-он, дети последовали-за-ним».

Преимущественно предикативная (сказуемая) функция эскимосских деепричастий в составе придаточного предложения не позволяет выделять их в обособленный от глаголов независимого действия лексико-грамматический разряд слов. Вместе с тем деепричастия имеют как общие с глаголами независимого действия морфологические признаки, так и осо-

бые. К общим с глаголами признакам относятся изменяемость деепричастий по лицам и числам (субъектные и субъектно-объектные формы), по морфологическим показателям темпоральных, модальных, качественных и количественных характеристик. Различие в том, что показатели лица глаголов независимого действия и деепричастий материально совпадают лишь частично, а основы деепричастий образуются от глагольных и именных основ посредством особых, присущих только им, суффиксов.

В ряде языков деепричастия отличаются от глаголов своей неизменяемостью по лицам и наличием в их структуре особых основообразующих формантов. Так, в русском языке к деепричастным формантам относятся *-а/-я, -ючи/-ючи, -в/-вши/-ши*, в каракалпакском *-ып/-уп/-п, -а/-е-й* [3], в нивхском — одиннадцать формантов [2], а с вариантами — около двадцати [2, с. 141—149], в чукотском — около десяти [4], в якутском — *-ан/-аам, -ы/-а, -аары* с их фонетическими вариантами [5] и т. д.

В эскимосском языке, где все без исключения деепричастия изменяются по лицам-числам (субъектные, объектные и субъектно-объектные формы), основообразующих деепричастных формантов насчитывается около двадцати [6, с. 142—175].

В тех языках, где деепричастие не получает показателей лица в самой структуре слова, признак предикативности выражается им на синтаксическом уровне соотносительностью его с личной формой главного глагола. В языках же, где деепричастие последовательно оформляется личными показателями, как в эскимосском [7], значение предикативности выражается им как синтаксическим согласованием с лицом субъекта главного действия, так и его морфологической структурой, отличной от структуры глаголов независимого действия.

Изменяемость деепричастий по лицам как один из признаков их предикативности характерна также, например, для ряда тунгусо-маньчжурских, монгольских [7], самодийских, финно-угорских [8], иберийско-кавказских (адыгейского, кабардинского, лакского [9] и некоторых других языков. Выступая в функции зависимого предикативного члена в составе сложносочиненного предложения как с одним, так и с разными субъектами в главном и зависимом действиях, деепричастия в указанных языках обнаруживают прежде всего свое многоплановое глагольное значение, а не преимущественно атрибутивно-адвербиальное, как в русском.

Между тем изменяемость деепричастий по лицам и числам, указывающая на относительную морфологическую общность их с глаголами независимого действия, свидетельствует лишь об идентификации отдельных категориальных признаков, что безусловно существенно, но еще недостаточно для отнесения этой группы слов к особым глагольным словоформам. Самым существенным и определяющим фактором отнесения деепричастий к лексико-грамматическому разряду глагольных слов является фактор «синтаксического назначения», которое они приобретают в строе предложения [10].

В подавляющем числе исследований грамматического строя тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, самодийских, финно-угорских, палеоазиатских и других агглютинативных языков народов Советского Союза фиксируются общие категориальные признаки деепричастий как особых глагольных словоформ, основной синтаксической функцией которых является функция зависимого глагольного предиката в придаточных предложениях. По определению М. И. Черемисиной, зависимой предикацией следует называть «тот особый синтаксический механизм, который обеспечивает формальное своеобразие зависимых звеньев полипредикативных конструкций по сравнению с главными и простыми свободными предложениями» [11]. К этому определению следует добавить, что кроме формально-

го своеобразия зависимых предикативных звеньев сложных синтаксических конструкций необходимо (и прежде всего) учитывать особенности их в плане содержания, которое многообразно варьируется в зависимости от лексической семантики используемых форм «неконечных» глаголов — деепричастий.

Главный и зависимый (или несколько зависимых) предикативные узлы сложного предложения обладают известной семантической автономией, поскольку их глагольные члены, не однозначные структурно и содержательно, самостоятельно управляют зависимыми от каждого из них именными, адвербиальными и другими неглагольными членами, образуя полноправный предикативный узел.

Если в русском языке в структуре сложноподчиненного предложения придаточное предложение выделяется посредством союзов и сочетаний слов союзного значения типа *если, чтобы, для того, чтобы, так как, когда, в то время, как, хотя, потому что, поэтому, вследствие того, что, из-за того, что* и др., а в функции сказуемых при этом как в главном, так и придаточном предложениях выступают глаголы независимого действия, то в эскимосском языке, например, при равных условиях коммуникации сказуемым главного действия является преимущественно независимый глагол а сказуемым зависимого действия — деепричастие. Придаточные предложения, или иначе, предложения зависимого действия, сочетаются с главным действием в большинстве случаев бессоюзно, ср. наук. диал.: *Тáкук агйх'тына'ак ун'йх'пах'тук, Имак'льини'бис'аг'нилуку йук агйх'лыг'е к'айáмын', т'итни'ан, умёлым к'айгэныи' атх'аг'нилуку аг'нак', т'ау-хкын мале'ультык, нйх'сак' к'айáмын' й'ук'аг'нилуку* «Эти-два вернувшиеся-только-что-двое рассказали-они-двое, [что] на Имакликке увидел-мол-его¹ человека, возвращающегося на-каяке, [когда] подъехав-он, [когда] старшины из-землянки-его выйдя-мол-она женщина, затем вдвоем-будучи-они, [тогда] верну с-каяка (вян-мол-ес). Очевидно, что по-русски такое полипредикативное предложение с несколькими придаточными предложениями со сказуемыми, выраженными деепричастиями и причастиями можно передать лишь весьма сложным предложением с союзными связками, в котором зависимые предикативные узлы будут выражены предложениями со сказуемыми — независимыми глаголами, ср.: «Эти двое, вернувшиеся только-что, рассказали, что они на Имакликке увидели, мол, человека, возвращающегося на каяке, который подъехал к причалу, а в это время из землянки, мол, вышла женщина, и когда они оказались вдвоем, тогда с каяка сняли, мол, нерлу». Поскольку в эскимосском предложении приведенной структуры налицо лишь один независимый глагол *ун'йх'пах'тук* «рассказали-двое-они», являющийся сказуемым главного действия, а сказуемыми всех придаточных предложений здесь выступают деепричастия, не употребляющиеся в языке в функции независимых сказуемых, то классификация его как сложной разносубъектной структуры с главной и несколькими зависимыми предикативными единицами представляется вполне оправданной.

Зависимое действие, выражаемое в упомянутых выше языках и, в частности, в эскимосском, деепричастиями, может иметь как общий субъект с главным действием, так и собственный субъект, поэтому его предикативность представляется более определенной, чем, например, предикативность деепричастий в русском языке, где предложения с деепричастными оборотами только односубъектны, а самим деепричастиям по уста-

¹ Значение аудитивного действия, передаваемое в русском языке модальным словом «мол» или глаголами «говорит», «говорят», в эскимосском маркируется суф. -ни в структуре глагола, посредством которого прямая речь переводится в косвенную.

новившейся грамматической традиции приписывается преимущественно адverbially-атрибутивная функция, а не предикативная. Как справедливо отметил А. А. Юлдашев, русская грамматическая традиция оказала несомненно влияние на многих тюркологов (да и не только на тюркологов.— М. Г.), рассматривающих деепричастия в ряде тюркских языков как адverbially-группу слов [12].

В. В. Виноградов русские деепричастия рассматривает в разделе с наречиями, определяя их как гибридную наречно-глагольную категорию, [13]. В грамматике русского языка признается, что «подобно глаголу оно (деепричастие) обладает категорией вида, возвратными и невозвратными формами и сохраняет глагольное управление» [14, с. 522], и вместе с этим утверждается, что «близость деепричастия к наречию выражается также в том, что деепричастие имеет тенденцию в известных словосочетаниях усиливать в себе значение качественности и ослаблять и даже утрачивать значения вида, времени и способность глагольного управления» [14, с. 522]. В новой академической грамматике русского языка деепричастие определяется как «атрибутивная форма глагола, в которой совмещаются значения двух частей речи: глагола и наречия, т. е. значения действия и обстоятельно-определятельные...» [15]. Тот факт, что деепричастия русского языка типа *лежа, сидя* в сочетаниях *чтение лежа, читать лежа, читает лежа* квалифицируются в грамматике как обстоятельно-определятельные и относятся к разряду наречий по тому признаку, что они «перестали обозначать сопутствующее действие и начали выступать как определятельное слово к сказуемому-глаголу» [14, с. 628], представляется односторонним, поскольку второстепенный признак атрибутивности принимается за абсолютный, а признак предикативности игнорируется.

В предложениях такого типа, как *Лежа на покрытой цветами поляне, я с наслаждением читал эту книгу, Сидя на цветастом ковре, они пили душистый чай*, деепричастия не только обозначают зависимое от главного действие, но и сами управляют относящимися к ним членами предложения. То же следует сказать и о деепричастиях типа *зашкаясь, таясь, не задумываясь*, которые названы «бывшими» и отнесены в разряд наречий [14, с. 526]. В данном случае не учитывается способность деепричастий выражать значение зависимого предикативного члена в составе обстоятельного оборота, а односторонне по выборочной употребительности определяется их адverbially-роль в языке.

Зависимые предложения, конструируемые на основе деепричастных форм глагола, в плане структурной организации коррелятивны простому двусоставному или простому трехсоставному предложению, поскольку они обладают собственными синтаксическими потенциями, будь то односубъектные или разносубъектные предложения типа эскимосских 1) (односубъектного): *Аг'наг'ах'ам, ик'ылэк'ух'ани, тайыккына кыпумалг'и сүпуман, нуна тырыг'йак'ыни, кийхлэагык, такумаккыкын* «Девочка, на-мизинец-свой тот порезанный, когда-подув-она, землю прочертив-она, реку-большую сотворила-она-ее» и 2) (разносубъектного) *Мыг'ым итых'пынакык, уелугым к'апшахсак'ыгни, улэх'итах'сак'ыгни акмагутак, к'атыг'ийг'ах'ак' мин'ух'усималг'и* (чапл. диал.) «Вода не-входя-в-нее (в торбу), волна раскачивая-ее (торбу), переворачивая-ее (торбу), птичка вымазалась (о торбу)».

В первом предложении главной предикативной единицей выступает эргативная конструкция *Аг'наг'ах'ам... кийхлэагык такумаккыкын* «Девочка реку-большую сотворила-она-ее», а деепричастные обороты *сүпуман* «когда-подув-она» и *тырыг'йак'ыни* «прочертив-она» с относящимися к ним словами образуют предикативные единицы зависимого действия, хотя они и конструируются по типу простых независимых предложений. Во

втором разносубъектном предложении главной предикативной частью выступает простое независимое двусоставное предложение *к'атыг'ийг'ах'ак' мин'үх'усымалг'й* «птичка вымазалась», совершающееся на фоне зависимых от него двух разносубъектных предложений с относящимися к ним субъектными и объектными членами — *мыг'ым итых'пынăкык* «вода-не-входя-в-нее» и *увлүгым к'апшăхсак' — ыгни, улх'ытах'сăк'ыгни акмăгутак* «волна раскачивая-ее, переворачивая-ее торбу» (последний оборот с двумя однородными зависимыми предикативными членами).

Как односубъектные, так и разносубъектные предложения с деепричастными оборотами образуют полипредикативные структуры предложения, поскольку в любом из них налицо два и более предикативных узла, один из которых выражает независимое действие, другой (другие) — зависимое от первого действие. Такие структуры предложений отмечаются в разных языках. Так, например, в азербайджанском моносубъектное предложение *О мэнэ базараг жулумеэди* «Глядя на меня, он улыбался» (деепр. суф. -эраг) и разносубъектное *Чобан чох оlanda, гојуну гурд јејер* «Пастухов много будучи, овец поедает волк» (деепр. суф. -анда); в гагаузском *Бан гидинжăк лафка капанымышты* «Я пошла-пока (пойдя), лавка закрылась» [деепр. суф. -инжă(к)]; в шорском *Кўн шыкпаанче, арчы курубас* «Солнце пока-не-взойдет (не-взойдя), она не-высохнет» (деепр. суф. -паанче); в алтайском *Танатканча, јааш балды* «Дождь шел, пока не-рассветло» (деепр. суф. -канча) [16, с. 82, 127, 477, 515]; в нивхском *Н'уун'ан мэр q'оньд'ла?* «Когда-стемнеет, мы будем-спать?» (деепр. суф. -н'ан) [7, с. 423]; в корякском *Выг'аёк тылама, гацволэн эчгилкыык* «Потом когда-он-шел (идя), показался свет» (деепр. суф. -ма) [17]. Подобные моносубъектные и разносубъектные конструкции с деепричастными предикатами в зависимом действии продуктивно функционируют и во многих других языках агглютинативного строя.

В эскимосском языке все деепричастия изменяются по лицам и числам, что наделяет их способностью с наибольшей полнотой выражать субъектно-объектные отношения как внутри зависимого предикативного узла, так и между субъектами и объектами главного и зависимого действия.

Сочетание главного предикативного узла с зависимым образует одну целостную синтаксическую единицу — сложное предложение. Деепричастия не выступают в функции предикативного члена независимого предложения, однако в функции предикативного члена зависимого предложения они способны управлять относящимися к ним именными членами — подлежащим и дополнением. Разнообразные по формально-грамматическим и семантическим признакам, деепричастия в составе сложного предложения создают особые условия, на фоне которых происходит главное действие. Без деепричастного окружения такое действие становится менее информативным, поскольку оно изолируется от обстоятельств, послуживших следствием его возникновения.

Эскимосский гипотаксис примечателен тем, что в одном предложении может быть от одного до семи и даже восьми придаточных предложений. Иначе говоря, при одном главном глагольном предикате выделяется один или несколько односубъектных с главным предикатом или разносубъектных зависимых от него глагольных предикатов².

Сложные предложения моносубъектной структуры в качестве предикативных членов зависимого действия могут иметь как однородные по форме и семантике деепричастия, так и разнородные. Проследим на примерах.

² Термин «глагольный предикат» в этой работе употребляется в значении сказуемого (грамматического), а не в логико-грамматическом. Термин «предикативный узел» означает предикат с относящимися к нему членами.

1) *Иук май̄џми най̄гамун, им̄анун й̄сх'апахтук'* (наук. диал.) «Человек, взобравшись-он на-гору, на-море посмотрел» — один субъект для главного и зависимого действий, где суф. -ми — 3-е л. ед. ч. деепричастной формы непереходного действия, а суф. -к' — 3-е л. ед. ч. — формы непереходного глагола главного действия.

2) *Й̄ӯгым̄ к̄асам̄ӣгӯ а̄г'нак', ак'̄ӯмумал̄г'̄й̄ к'̄ам̄ий̄ы̄гнун* (чапл. диал.) «Мужчина, настигнув-он-ее женщину, сел на-нарту» — один субъект для главного и зависимого действий, но зависимое действие здесь выражено субъектно-объектной формой деепричастия (личный суф. -мигу «он-ее»), управляющего объектным актантом *а̄г'нак'* «женщина», -са — суф. деепр. предшествующего действия («когда-настиг-ее»).

3) *Нук̄ӯв'̄ам̄ӣ нап̄ах'̄тум̄ан̄ к̄ас̄оми, май̄ӯх'̄тук'̄ нап̄ах'̄тыхун* (наук. диал.) «Вставши-он, к-дереву подойдя-он, взобрался на-дереву» — один субъект для главного и двух зависимых действий, выраженных деепричастиями предшествующего действия.

4) *Т̄а̄ӯа̄ а̄г'нак'̄ г̄а̄гум̄а̄г'̄ми, ук̄ӣнӣма̄г'̄ми, пы̄л̄ӯх̄тук'̄ т̄ӯма̄г'̄ми, ын̄н'̄атал̄ ав̄ӣник'̄ а̄кы̄фтук'* (чапл. диал.) «Там женщина варя, шья, скребя (шкура) проворная-оказывается-она» — при главном субъекте — три односубъектных зависимых действий, выраженных деепричастиями одновременного действия (деепр. суф. -маг', -ми — суф. 3-го л. ед. ч. этой формы).

5) *К'̄а̄тыл̄г'̄й̄ пы̄н'̄ӯх'̄к'̄ах'̄а̄г'̄мун̄ к̄а̄л̄ьун̄ӣ, т̄а̄й̄ан̄ӣ к'̄ав̄а̄г'̄нак'̄с̄ами, й̄й̄ы̄гн̄ӣ нӯс̄ӯграг'̄л̄ӯкык, с̄а̄й̄г'̄мин̄ӯн̄ л̄ь̄илӯкык, к'̄ав̄амал̄г'̄й̄* (чапл. диал.) «Песец к-холмику подойдя, там спать-собравшись (когда-собрался-спать), глаза-свои вынув-их, рядом положив-их, заснул». Здесь при главном предложении *К'̄а̄тыл̄г'̄й̄ ... к'̄ав̄амал̄г'̄й̄* «Песец заснул», четыре зависимых действия, выраженных тремя различными по значению деепричастиями: *к̄а̄л̄ьун̄ӣ* «подойдя-он» — состояние; *к'̄ав̄а̄г'̄нак'̄с̄ами* «спать-собравшись» — предшеств. действие; *нӯс̄ӯграг'̄л̄ӯкык* «вынув-их» и *л̄ь̄илӯкык* — «положив-их» — объектные формы деепричастий, характеризующих предварительные условия совершения главного действия.

6) *На̄тыг'̄м̄ӣ т̄а̄й̄ан̄ӣ а̄ткы̄гын̄ мат̄ах'̄л̄ӯк̄ӯ, к'̄ам̄а̄вык̄ ил̄ун'̄анун̄ й̄тх'̄у!* (чапл. диал.) «В-сенях там одежду-твою сняв-ее, туда внутрь войди!». В этом предложении, представляющем прямую речь, деепричастие *мат̄ах'̄л̄ӯк̄ӯ* «сняв-ее» употреблено в функции предиката зависимого действия, а предикатом главного действия выступает глагол повелительного наклонения *й̄тх'̄у* «войди».

Сложные предложения разносубъектной структуры столь же разнообразны по составу деепричастных оборотов, как и моносубъектные структуры. Рассмотрим лишь наиболее типичные из них.

1) *Сик̄ӣл̄ак'̄ к̄асал̄г'̄й̄ми, мы̄ты̄х'̄л̄ӯк̄ ак'̄ӯмгак'̄ы̄ф̄тук'* (чапл. диал.) «Ев-ражка подойдя-она (когда-подошла), ворон сидит-оказывается-он» — соотношение субъектов предикативных узлов один к одному (1 → 1)³; *М̄а̄тх'̄ак'̄ иг̄аны̄н'̄ ат̄ӣх'̄тӯг'̄й̄а̄х'̄к'̄аны̄н'̄ аг̄ла̄так'̄н'̄а̄м̄кы̄н, ав̄иты̄ф̄т̄ӯты̄н* (чапл. диал.) «Сегодня с-книгами для-чтения когда приходил-я-к-тебе, отсутствовал-оказывается-ты» — соотношение субъектов предикативных

³ Римской цифрой обозначается субъект главного действия, арабскими — субъекты зависимых действий, при этом цифрами 2, 3 обозначается соответственно один и тот же субъект, повторяющийся в 2-х или 3-х зависимых действиях; разные субъекты в зависимых действиях передаются через дефис, например: 1-2-1-1, где 1 — субъект главного действия, 2 — один и тот же субъект зависимого действия, повторяющийся в двух зависимых предложениях, цифрой 1 обозначены субъекты, не повторяющиеся в других зависимых действиях. Место субъекта главного действия (I) в таком сложном предложении может быть как на первом, так и на последнем плане, ср.: 1-2-1, 2-1-1, 1-1-2-1, 1-2-1-2 и т. д.

узлов — 1 → 1, при этом предикат зависимого действия представлен деепричастием субъектно-объектной формы (-м — суф. 1-го л. субъекта, -кын — суф. 2-го л. объекта), а предикат главного действия — глаголом субъектной формы (-тын — суф. 2-го л. субъекта); именные субъектный и объектный актанты здесь не эксплицированы.

2) *Б'ныкытык к'авак'уевк, накълъу анык'уевк, тук'улъык'атын* (чапл. диал.) «Если-же уснешь-если-ты, или-же выйдешь-если-ты, убьют-они-тебя» — соотношение субъектов главных и зависимых действия — 2 → 1; зависимые действия выражены здесь деепричастиями условного действия (-к'у — суф. деепр. условн. действия субъектной формы, -евк — суф. 2-го л. субъекта при этой глагольной форме); главное действие представлено переходным глаголом субъектно-объектной формы (суф. -т-ы-н «они-тебя»); поскольку показатели лиц субъекта и объекта в глагольных формах эксплицированы соответствующими формантами, именные субъектно-объектные актанты здесь также опущены.

3) *Ак'ылк'ак кълъутык, итыг'йах'тā, аг'наг'ам йсх'аг'йак'ыни, имāни үкүк пилүгулълүлъләхтук* (чапл. диал.) «Гости-двое подходя-двое, когда-вошли-двое («войдя-когда-двое»), девушка когда-взглянула-она (взглянув-она), там эти-двое одежду-плохую-имеют-двое» — соотношение субъектов главного и зависимых действий — 2 → 1 → 1, при этом субъекты двух первых зависимых действий являются общими с субъектом главного действия, а субъект третьего зависимого действия выражен другим лицом; здесь при зависимых и главном действиях наличествуют именные субъектные актанты (*ак'ылк'ак* «гости-двое», *аг'наг'ам* «девушка», *үкүк* «эти-двое»), так как речь идет о третьих лицах, которые в процессе коммуникативного акта требуют конкретизации.

4) *Нанук' тагйхпнāни, мулүйан, йухак' гйпаньх'кун к'иньх'салг'йми, малг'ук нанук ынн'аталь тугүтак'ыфтук* (чапл. диал.) «Медведь возвращаясь-он, когда-отсутствовал-долго-он, человек через-отдушину когда-заглянул-он, два медведя схватились-оказываются-два-они». Соотношение субъектов главного и зависимых действий здесь таково, что при первых двух зависимых предикатах — один именной субъектный актант, при третьем зависимом предикате — другой именной актант, и при главном глагольном предикате — третий именной субъектный актант: 2 → 1 → 1; вместе с тем в деепричастных формах, как и в главном глаголе, эксплицированы показатели лица субъекта.

5) *Унами аг'ных'лъутык, унүглуку, к'атылг'й к'аваг'йан мытых'лъугым к'атылг'йм манāтан'и тыгыг'луки, аңлунй, манāг'йамалг'й* (чапл. диал.) «Назавтра продневав-вдвоем-они, с-наступлением ночи (ночь-наступив), пещец когда-заснул (заснув-когда-он), ворон песцовы удочки-его похитив-их, выйдя-он, удить-пошел-он» — соотношение субъектов главного и зависимых действий здесь 1 → 1 → 1 → 2 → 1, т.е. 5-I, при этом субъект одного зависимого действия является общим с субъектом главного действия («похитив, удить-пошел»), тогда как субъектом первого («продневав-вдвоем»), второго («ночь-наступив») и третьего («когда-заснул») выступают разные лица.

6) *Муг'үних'та таўавык кълъунй, мын'тыг'аг'лүни, итыг'лунй, амсйкал'лүни, пигйныни, матāх'лъукү, иг'аминун к'анāх'лъукй, кумй-кысыг'аг'лүни, киййах'симāлуку, амйг'умākāн'ах'āлгам* (чапл. диал.) «Охотник туда придя, убежище-смастерив-он, войдя-он, разувшись-он, стельки-свои, раздевшись-он, на-ключицы положив-их, поджав-ноги-он, находясь-так-он, слышался-ему голос» — соотношение зависимых действий с главным — 8 → I, где *амйг'умākāн'ах'āлгам* «слышался-ему голос» — главное предложение, а все восемь предшествующих ему действий — зависимые предложения, представленные деепричастными оборотами. Зависимые

предикативные единицы такого сложного синтаксического образования характерны тем, что каждая из них в плане содержания и выражения подчинена собственному субъекту. Комплекс зависимых обстоятельственно-предикативных актов в составе такого сложного предложения представляет фон для совершения главного действия («послышался-ему голос»), субъектом которого выступает другое лицо. А существенное качественное различие между этими двумя основными формами глагола в том, что независимый глагол способен выражать конечный результат действия, а зависимый (деепричастие) — незавершенное, подчиненное действие.

В предложении с разными субъектами главного и зависимого действия содержательная и грамматическая связь его предикативных частей двухсторонняя: с одной стороны, зависимое действие, выраженное деепричастной формой глагола, управляет непосредственно относящимися к нему членами (именными субъектными и объектными актантами), с другой — оно опосредованно связано с главным действием, характеризуя различные стороны предикативно-атрибутивных признаков, на фоне которых последнее совершается.

Синтаксически и содержательно деепричастия, тесно взаимодействуя с глаголами главного действия, не используются автономно от него, исключая особые, не типичные для синтаксической системы в целом, случаи. Например, при сочетании деепричастного оборота косвенной речи с прямой речью, когда главный глагол косвенной речи опускается, а предикативная акцентуация переходит на прямую речь, ср. в синтаксических сочетаниях: *Аг'наг'ак'итыг'луни*: «*Л'аг'ан-н'ам ук'ых'пунт к'акма йулуку'*» (чапл. диал.) «Девочка войдя-она: „Правда-ведь у-входа-нашего снаружи человек-находится“»; здесь после деепричастного оборота *итыг'луни* «войдя-она» опущено глагольное сказуемое *пймакн'а* «сказала-ему-она», а предикативная нагрузка логически перемещается на прямую речь. Сходное с этим по структуре сочетание косвенной и прямой речи с опущенным предикатом имеет место и в отрывке из текста *Мытих'л'ум йсх'аг'люку*: «*Аг'най, кй, нулк'ыкйлакын'*» (чапл. диал.) «Ворон увидел-ее: „Женщина, о, женой-будь-мне-ты!“», где также опущен глагол *пймакн'а* «сказал-ей».

Второй, встречающийся в фольклорных текстах, способ передачи значения главного предикативного члена суждения выражается тем, что функцию глагольного сказуемого выполняет имя, не оформляющееся в данном случае формальными показателями предикативности (лицо, число, наклонение и пр.), как в предложении: *Тусамын', аг'нам, к'уных'л'уни, алигни фсугулькык, йсх'аг'йалг'йми, мын'тыг'ам саг'йани — к'уйн'ик'* (чапл. диал.) «Достигнув-они (суши), женщина зажмурилась-она, рукава-свои вытряхнув-их, когда-посмотрела (посмотрев-она), жилища около — стадо оленей». В этом предложении с четырьмя субъектами зависимых предикатов (соотношение 1-3) главным предикативным ядром выступает имя *к'уйн'ик'* «стадо оленей» (и «олень») без формальных показателей предикативности. Между тем имя, оказывающееся при совершении коммуникативного акта в позиции предиката, в эскимосском языке чаще всего преобразуется в отыменной глагол, а в аналогичной этой позиции — в отыменной глагол-континант (иначе — бытийный глагол), характеризующий определенное состояние субъекта речи (ср. *к'уйн'ик'* «олень», но *к'уйн'игуку'* «олень-есть-он») [6, с. 24—27].

Следует отметить, что деепричастия не всегда прямолинейно выполняют функцию предиката зависимого действия. Так, в эскимосском языке деепричастия на форму *-лу/-л'у*, образованные от основ темпорально-временной и качественно-количественной семантики типа *сукал'укй* «скоробудучи», *пниг'лукй* «хорошо-будучи», *углаг'лукй* «много-будучи» в таких

предложениях, как *Углаг' лутā кинбйамāкут* (чапл. диал.) «Много-будучи-мы в-кино-пошли-мы», сохраняя грамматическое значение предиката зависимого действия, в то же время выражают адвербиально-обстоятельственное значение и характеризуют условия протекания главного действия. Между тем способность деепричастий такого типа управлять относящимися к ним именными актантами и изменяемость их по лицам и числам сохраняют за ними статус глагольных слов зависимого действия.

Из рассмотренных конструкций предложений с деепричастными оборотами в эскимосском и ряде типологически близких ему языков кратко можно заключить, что: а) деепричастия — глагольные словоформы, основной функцией которых является выражение сказуемого зависимого действия, могущего управлять относящимися к нему именными членами, но неспособного выполнять функцию независимого сказуемого; б) признак неизменяемости деепричастий по лицам и числам, также по некоторым другим категориям глагола в отдельных языках (в том числе и в русском) не определяет их категориальной отнесенности к разряду адвербиальных слов, хотя в семантическом отношении отдельные группы деепричастий одновременно с предикативностью и могут выражать значение адвербиальности; в) изменяемость деепричастий по лицам и числам в эскимосском и некоторых других языках как один из ведущих признаков их глагольности способствует более определенному в плане выражения и содержания выражению субъектно-объектных связей как между членами главного и зависимого предложений, так и в пределах каждого зависимого предложения или отдельного оборота (без относящихся к нему членов); г) в моносубъектном сложном предложении сказуемое зависимого действия в лице и числе полностью согласуется со сказуемым главного действия, тогда как в разносубъектном сложном предложении такого полного согласования главного и зависимого (зависимых) предикативных членов не происходит, хотя по другим грамматическим и семантическим параметрам соподчиненность автономной и зависимых частей сохраняется полностью, поскольку любое предложение с деепричастными оборотами представляет собою цельную коммуникативную единицу языка; д) моносубъектные предложения невозможно относить к простым, поскольку зависимое действие, выраженное деепричастием, способно управлять относящимися к нему членами, если таковые наличествуют или могут быть в данном придаточном предложении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Меновщиков Г. А. Об основных конструкциях простого предложения в эскимосско-алеутских языках. — В кн.: Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
2. Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. Ч. 2. М. — Л., 1965.
3. Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. Т. II, М., 1952, с. 461—467.
4. Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка. Ч. II. Л., 1977, с. 142—164.
5. Харитонов Л. Н. Современный якутский язык. Ч. I. Якутск, 1947, с. 235—242.
6. Меновщиков Г. А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. II. Л., 1967.
7. Языки народов СССР. Т. V (Монгольские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки). М., 1968.
8. Языки народов СССР. Т. III (Финно-угорские и самодийские языки). М., 1966.
9. Языки народов СССР. Т. IV (Иберийско-кавказские языки). М., 1967.
10. Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. Л., 1978, с. 319.
11. Черемисина М. И. Некоторые вопросы теории сложного предложения. Новосибирск, 1979, с. 24.
12. Юлдашев А. А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских языках. М., 1977, с. 7.
13. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947, с. 384.
14. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1952.
15. Русская грамматика. Т. I. М., 1980, с. 672.
16. Языки народов СССР. Т. II (Тюркские языки). М., 1966.
17. Жукова А. Н. Грамматика корякского языка. Л., 1972, с. 267.

МАЛКОВА О. В.

К ПРОБЛЕМЕ ВТОРОГО ПОЛНОГЛАСИЯ

Полногласие является специфически восточнославянским рефлексом праславянских сочетаний гласных с плавными между согласными. Как правило, оно состоит в том, что после плавного повторяется тот же гласный, какой предшествует плавному: **tort*, **tert*, **tolt* > *torot*, *teret*, *tolot* — первое полногласие (*горox*, *берег*, *болото*), **tъrt*, **tъrt*, **tъlt* > **tъrъt*, **tъrъt*, **tъrъt*, **tъlъt* > *torot*, *teret*, *tolot* — второе полногласие (*къръмити*, *чървению*, *стълънъ*, *кором*, *жередъ*, *молюня*). Литература, в которой обсуждаются вопросы, связанные с возникновением первого и второго полногласия, обширна, однако ход развития процессов и их хронология до сих пор не установлены [1—3]. Считается общепризнанным, что причиной изменения сочетаний **tort*, **tert*, **tolt* в *torot*, *teret*, *tolot* (первое полногласие) была тенденция к устранению закрытых слогов, действовавшая в праславянском языке и в древних славянских языках в доисторическое время. Разнообразные мнения относительно причин и времени возникновения второго полногласия на основе сочетаний **tъrt*, **tъrt*, **tъlt* можно свести в две группы гипотез. Согласно одной из них, второе полногласие начало развиваться в восточнославянских языках приблизительно в то же время и в силу тех же причин, что и первое полногласие. Вследствие действия тенденции к открытости слога редуцированный и плавный отошли к двум разным слогам, при этом был получен либо слоговой плавный с гласным призвуком **tъ-ɣ^o-t* и др. (в иной графической передаче **tъ-ɣ^o-t*), либо неслоговой плавный и вставной гласный **tъ-ɣ^o-t* и др. (в иной графической передаче **tъ-ɣ^o-t*). Подобно тому, как в сочетаниях *torot*, *teret*, *tolot* гласный после плавного был первоначально короче обычных *o* и *e* (в украинском языке он, как правило, не подвергся дифтонгизации и изменению в *i*), в сочетаниях **tъrъt*, **tъrъt*, **tъrъt*, **tъlъt* редуцированный после плавного был короче обычных *ъ* и *ь*. В эпоху падения редуцированных первый редуцированный перед плавным последовательно вокализировался в *o* и *e*, а редуцированный после плавного в большинстве говоров был бесследно утрачен. В северной зоне древнерусского языка падение редуцированных произошло приблизительно на один век позднее, чем в южной зоне, за это время второй редуцированный успел эволюционировать в «нормальный» редуцированный, поэтому в дальнейшем он нередко вокализировался (*къръмъ* > *кором*). Первый вариант этой гипотезы был создан А. А. Потемной.

Согласно другой группе гипотез, которая восходит к А. А. Шахматову, второе полногласие генетически было не связано с первым полногласием, оно было региональным севернорусским явлением и развилось после падения редуцированных в новых закрытых слогах. В результате сокращения и падения слабого редуцированного в следующем слоге плавный в сочетании удлинился, в большинстве говоров удлинение не оставило следов, а в северо-западных русских говорах после плавного выделился гласный элемент (*торог*, *скатереть*). Появление второго полногласия в открыто м слоге А. А. Шахматов объяснял действием грамматической аналогии (*скатерети* как *скатереть*).

Первое и второе полногласие распространены в современных восточнославянских языках неравномерно. Первое полногласие — явление регулярное: оно имеется во всех восточнославянских говорах и зарегистрировано во всех словах, где оно должно было иметь место. Второе полногласие — явление нерегулярное: в литературных языках оно представлено в отдельных словах (*бестолочь, сумеречный, остолоп* — в русском языке, *терен, толок, жеревник* — в украинском языке), в русских северо-западных говорах второе полногласие наблюдается часто, обычно перед слогом с утраченным редуцированным (*верех, кором, холом*). Есть категории слов, где второе полногласие охватывает все формы слова, например, это является правилом для существительных женского рода третьего склонения (*завереть — заверети, жереть — жереди, бестолочь — бестолочи*), реже оно представлено в словах мужского рода (*холом — холомы*), сохраняют обычно второе полногласие уменьшительные имена существительные (*холом — холомок, челон — челонок, столоб — столобок, гороб — горобок*). Имеются и такие слова, где второе полногласие пока не обнаружено (*волна, толстый, твердый, горло*). Писцы древнерусских рукописей, созданных до падения редуцированных (XI — начало XII вв.), по-разному отражали сочетания **tъrt*, **tъrt*, **tъlt*. Они писали *ѣр, ѣр, ѣл* (*ѣрло, църкъвь, дѣлжнѣ* — «русские» написания), *ръ, рь, лъ* (*грѣло, дрѣжати, исплѣни* — «болгарские» написания) — так передавались в старославянских памятниках слоговые плавные, которые были получены к XI в. в южнославянских языках), *ѣръ, ѣрь, ѣръ, ѣлъ* (*скѣръбѣ, зѣрно, мѣлъва*), *ѣр', ѣр', ѣл'* (*дѣл'жнѣ*). Разные писцы отдавали предпочтение различным типам написаний, при этом редко по всему памятнику последовательно проводился какой-либо один тип. Написания с двумя редуцированными имеются в памятниках различного территориального происхождения, однако в севернорусских памятниках они наблюдаются чаще и проводятся последовательнее, чем в памятниках, созданных на территории Юго-Западной Руси. Существенное различие между вторым полногласием, как оно засвидетельствовано в современных севернорусских говорах, и написаниями с двумя редуцированными в древнерусских рукописях XI—XII вв. заключается в том, что второе полногласие в современных говорах является, как правило, в новых закрытых слогах, в то время как написания с двумя редуцированными не имеют таких ограничений. А. А. Шахматов (вслед за И. В. Ягичем) считал написания *ѣръ, ѣрь, ѣръ, ѣлъ* результатом объединения (контанации) «русских» написаний *ѣр, ѣр, ѣл* с «болгарскими» *ръ, рь, лъ*. Однако позиция А. А. Шахматова была двойственной. Он допускал, что на Руси в церковно-книжном стиле существовало «искусственное» произношение слов, имевших сочетания **tъrt*, **tъrt*, **tъlt*, с двумя редуцированными, по обе стороны плавного. Это объяснение неоднократно критиковалось. Его невозможно принять потому, что в употреблении редуцированных после плавных отчетливо прослеживаются определенные фонетические закономерности: в ряде рукописей написания с двумя редуцированными обычно отражают сочетания в позиции перед группой согласных (*дрѣръновение, оумѣрътвиеѣ, жѣрътмоу*), в некоторых рукописях сочетание **tъrt* передается перед твердыми переднеязычными орфограммой *ѣръ*, а в других позициях — *ѣръь* (*вѣръьѣ, вѣвьръже, дрѣръзаи*); в древнерусских рукописях обычно не смешиваются *ръ* и *рь*, что характерно для рукописей старославянских. Если же смешение *ръ* и *рь* имеет место, то оно отражает восточнославянские фонетические явления: *ръ* употребляется перед твердыми переднеязычными (*мрътви*), *рь* — в других случаях (*вьръьѣ, вѣвьръже*). Указывалось, далее, что среди севернорусских рукописей есть такие, где господствуют «русские» написания *ѣр, ѣр, ѣл* и написания с двумя редуцированными *ѣръ, ѣрь, ѣръ, ѣлъ*, а «болгарские» написания *ръ, рь, лъ*

отсутствуют. Можно ли в этом случае расценивать написания *ѣръ*, *ѣрь*, *ѣръ*, *ѣль* как результат контаминации, если «болгарские» написания писец не употребляет? Особое значение имеет тот факт, что в севернорусских нотных рукописях над редуцированными после плавных могут стоять нотные знаки, однако наблюдаемая картина сложна и не поддается однозначной интерпретации [4]. Нотные знаки употребляются весьма непоследовательно. Имеются и такие рукописи, где сочетания часто отражены через *ѣръ*, *ѣрь*, *ѣръ*, *ѣль* и над каждым редуцированным стоит нотный знак. Если же считать гласными оба редуцированных, в слове не хватит одного нотного знака, какая-то из букв гласных останется без нотного знака. Если сочетания отражены через *ѣр*, *ѣр*, *ѣл*, количество нотных знаков соответствует количеству букв гласных.

Камнем преткновения в проблеме второго полногласия являются следующие вопросы. Почему к словам, которые имели в своем составе сочетания редуцированных с плавными, не применимо правило Потебни — Гавлика о делении редуцированных в слове на слабые и сильные: почему редуцированный перед плавным всегда развивался как сильный (есть *корм* — *корма*, *корм* — *корма*, *корм* — *корома* и нет *кром* — *корма*), а редуцированный после плавного (если он имелся) в большинстве говоров был всегда слабый, за исключением русских северо-западных говоров, где оба редуцированных могли развиваться как сильные? Почему столь пестро отражают сочетания редуцированных с плавными древнерусские рукописи XI — XII вв.? Если второе полногласие было общерусским явлением, однородным и одновременным с первым полногласием, почему в большинстве древних памятников, характеризующихся выдержанным употреблением редуцированных, сочетания обычно отражаются в виде *ѣр*, *ѣр*, *ѣл*, а не *ѣръ*, *ѣрь*, *ѣръ*, *ѣль*? Если второе полногласие развилось после падения редуцированных, что же отражали орфограммы с двумя редуцированными в памятниках, созданных до падения редуцированных?

Настоящая статья содержит данные, в свете которых более предпочтительной является первая гипотеза — об общерусском изменении сочетаний **tъrt*, **tъrt*, **tъlt* в **tъ-rъ-t*, **tъ-rъ-t*, **tъ-rъ-t*, **tъ-lъ-t* в эпоху, предшествующую падению редуцированных. В статье использованы материалы Галицкого евангелия 1266—1301 гг. (ГПБ, Ф. п. I.64), созданного на южнорусской диалектной территории, вошедшей позднее в состав украинского языка. Изложение ограничивается рефлексамии сочетаний **tъrt*, **tъrt*, которые наиболее информативны. Рефлексы сочетаний **tъlt* отражаются в рукописи орфограммой *олъ* в 82% написаний, за исключением корня *полн-* (*полньнъ* 145г, *полъни* 124б, *полнь* 95в, *наполниша* 17а), где орфограммы *олъ* составляют только 14% (общее число написаний 54). Другие корни, где за *л* следует *н*, отражены немногими примерами. Самое большое число орфограмм передает сочетание **tъrt*.

1. Сочетание **tъrt* отражено в Галицком евангелии 1266 — 1301 гг. 417-ю орфограммами, в том числе 139 раз использована орфограмма *ерь*, 39 раз — *ерь* и 239 раз — *ер*. Тенденции в распределении орфограмм *ерь*, *ерь* и *ер* описываются в терминах фонетических: сочетание отражается в виде *ерь*, *ерь*, если за ним следуют шумные спиранты *з*, *с*, *х*, *г*¹ (*веръзи* 28г, 29а, *изверъгоша* 40в, *веръхоу* 27а, *меръзость* 51г, *перъстѣнь* 106г); сочетание обычно отражается в виде *ер*, если за ним следуют буквы шумных взрывных *п*, *т*, *д*, *к*, шипящих *ж*, *ш* и *н* (*серъ* 58в, *смертъю* 26а, *челрта* 27а, *оутверди* 76г, *одержими* 80г, *свершихъ* 138г, *свершенъ* 98г, *жерновъ* 45г, *терновъ* 143 г, *сквернитъ* 64в, *помержнетъ* 124б). Сходные тенденции

¹ Сведения о фрикативном характере *г* в говоре писца будут изложены в другой работе.

наблюдаются в распределении орфограмм *оръ* — *ор* и *олъ* — *ол*. Статистические сведения о распределении орфограмм *еръ*, *ерь*, *ер* содержит табл. 1. Цифры, помещенные в скобки, указывают количество написаний на переносе, например, *черъ/тъ* 87в, *въверъ/же* 106бб.

На общем фоне употребления букв редуцированных в Галицком евангелии 1266—1301 гг. [5] орфограммы *еръ*, *ерь* надежно интерпретируются как отражающие присутствие редуцированного гласного после сонанта, прежде всего в позиции перед шумными спирантами. Другими словами, написа-

Таблица 1

Перед	Образцы орфограмм, отражающих сочетание *ьrŕ	Написания			
		<i>еръ</i>	<i>ерь</i>	<i>ер</i>	<i>еръ</i> и <i>ерь</i> (в %)
б'	<i>скеръби, скеръбъ</i>	—	5	3	62
п	<i>почеръпъше, серпъ</i>	1	—	3	25
п'	<i>терпънъи, терпълю</i>	—	4(1)	13	7
м'	<i>черъмноу</i>	—	—	2	0
в	<i>исперъва</i>	1(1)	5	34	15
в'	<i>перъви, черъленицу</i>	—	21(3)	9	70
л	<i>оумерьла, оумерьлъ</i>	2	—	2	50
н	<i>жерънъваъ, зеръноу</i>	1	2	12	20
н'	<i>терънъи, беръникъ</i>	—	6(2)	26	18
ж	<i>въверъже, одерьжа</i>	—	15(10)	54	21
ш	<i>сверъши</i>	—	4	17	19
ч	<i>меръче</i>	—	1	—	100
д'	<i>оутверъдите, смердитъ</i>	—	2(1)	12	14
т	<i>верътоградъ, мертвыгъ</i>	1	—	25	3
т'	<i>смерти</i>	—	4(1)	7	12
з	<i>дверъвъ, деръваи</i>	24(5)	1(1)	8	75
з'	<i>веръш</i>	—	34(4)	—	100
с	<i>перъстъ, перъста</i>	9(1)	—	1	90
с'	<i>перъси, перъстбънъ</i>	—	6(2)	—	100
з	<i>наверъгоша, четверъвъ</i>	—	24(1)	6	80
к	<i>померъкнетъ</i>	—	1	2	33
х	<i>веръхоу</i>	—	9(2)	3	75
Всего		39	139	239	42

ния *еръ*, *ерь*, *оръ*, *олъ* дают основание считать, что во второй половине XIII в. в южной зоне древнерусского языка существовали такие говоры, где плавный в составе сочетаний составлял с последующим редуцированным отдельный слог.

2. Данные орфографии Галицкого евангелия 1266—1301 гг. позволяют также считать, что в говоре писца этого евангелия плавные в составе сочетаний образовывали самостоятельный слог и в эпоху до падения редуцированных, по крайней мере в XI — начале XII в. Об этом можно судить по состоянию твердости и мягкости в группах согласных. В рукописи зафиксировано два типа отношений по твердости и мягкости в группах согласных.

1-й т и п. Группа согласных построена в соответствии с праславянской тенденцией к «слоговому сингармонизму», в нее входят звуки, однородные в отношении твердости и мягкости. Твердость или мягкость всей группы определяется артикуляторным рядом следующего гласного: если далее находится гласный переднего ряда, вся группа согласных является мягкой, если далее находится гласный заднего ряда, вся группа согласных явля-

ется твердой. Например, *дъ/вигноути* 726—в, *дъвъ/ри* 8г, *шестьи* 121г, *къзъ/вы* 85в—г, *тъ/ворю* 132г, *позъ/наша* 62а, *дъ/роуги* 1276. Первый тип отношений по твердости и мягкости отражен 228-ю «правильными» орфограммами, исключений около 10, они легко интерпретируются либо как описки, либо на иной основе. К числу рассматриваемых групп согласных относятся: исконные группы согласных, унаследованные от праславянского языка (*ѣтъ/ви* 58в, *чистѣи* 132г), группы согласных, возникшие в восточнославянском языке-основе (*пристоупъ/ль* 85г, *земь/ли* 27г, *червь/леною* 147г), группы согласных, полученные из старославянского языка (*пъ/рѣд нимъ* 96г, *во вѣрѣмъ* 89б, *извѣльче* 140а). Первый тип отношений по твердости и мягкости наблюдается и в новых группах согласных, где после падения редуцированных соседями оказались однородные по твердости и мягкости согласные [*два, сна, вси* < *дъва, съна, всси* и т.д. (примеров много)].

2-й т и п. Группа согласных включает в себя неоднородные по твердости и мягкости согласные: перед мягким согласным находится твердый согласный или перед твердым согласным — мягкий. К числу таких групп согласных относятся сочетания **tʔrt*, **tʔrt*, **tʔlt* и многие новые группы согласных, возникшие вследствие падения редуцированных. Существует связь между особенностями реализации твердости и мягкости согласных в сочетаниях **tʔrt*, **tʔrt* и тенденциями в преобразовании отношений по твердости и мягкости в новых группах согласных.

Полагают, что в позднем праславянском языке плавные в сочетаниях **tʔrt*, **tʔlt* были твердыми, а в сочетании **tʔrt* плавный был полумягким. Позднее полумягкость *p* развилась в полную мягкость и либо сохранилась, либо оставила след в восточнославянских и северо-западных славянских языках. Мягкость *p* засвидетельствована в этих языках перед мягкими согласными, перед твердыми губными и заднеязычными (русск. *вер'х, вер'ба*, польск. *wierzch, wierzba*). Перед твердыми переднеязычными следов мягкости *p* современные славянские языки не сохранили, однако в древнейших восточнославянских памятниках стражена и твердость, и мягкость *p* в этой позиции, ср. написания типа *дъръзостью, жърѣтвою*. О древнем происхождении твердости *p* перед твердыми переднеязычными свидетельствует изменение *e* в *o* в этой позиции при отсутствии такового перед твердыми губными и заднеязычными, например, *верба, верх, церковъ, первый, но зёрна, мёртвый*. В современных восточнославянских литературных языках *p* в рефлексах **tʔrt* является твердым во всех позициях, в том числе перед твердыми губными и заднеязычными (*верба, верх, серп, черпачи, черкати, червоний*). Однако присущий ранее сочетаниям **tʔrt* тип отношений по твердости и мягкости господствует в новых группах согласных, возникших вследствие падения редуцированных: перед твердыми переднеязычными употребляются только твердые согласные, а перед твердыми губными и заднеязычными употребляются и твердые, и мягкие согласные: *изба — резьба, банка — банька, розмова — визьму, матка — батько*). Перед мягкими согласными реализация твердости и мягкости варьируется (*дв'е — д'в'е, ст'я — с'т'я*). На параллелизм между условиями сохранения и утраты мягкости *p* в сочетании **tʔrt* и условиями сохранения и утраты мягкости согласными в новых группах согласных обратил внимание В. Н. Сидоров. Он считал, что этот параллелизм свидетельствует о существовании в древности генетической связи между явлениями [6]. Материалы Галицкого евангелия 1266—1301 гг. подтверждают гипотезу В. Н. Сидорова; следует добавить, что сочетание **tʔrt* тоже вписывается в общую картину. Галицкое евангелие 1266—1301 гг. позволяет наблюдать, как тип отношений, характерный для сочетаний **tʔrt*, **tʔrt*, внедряется в новые группы согласных, захватывая пока только морфемный шов корень слова +

суффикс². Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить правила, которыми регулируется выбор буквы *ъ* или *ь* после *р* в составе сочетаний **tъrt*, **tьrt*, с тенденциями, наблюдаемыми в смешении букв *ъ* и *ь* в составе суффиксов.

Правило 1. В сочетании **tъrt* после *р* употребляется только буква *ъ*: *коръ/мъ* 58г, *горъстью* 63в, *горъличища* 162г, *проторъжеса* 173б, *торъжищихъ* 60б, *торъ/жищихъ* 73а, *торъжъникъ* 100б и 3 раза на переносе. Ср. правило 1, которым описывается распределение букв *ъ* и *ь* в новых группах согласных на морфемном шве корень слова + суффикс: в основах, которые имели в своем составе суффиксы *-ъв-*, *-ъс-* (<*-ъх-*), после букв губных и переднеязычных согласных корня употребляется только *ъ*, например, *любъве*, *любъви* 7г, 81в, *наплодъви* 115б, *ветъсб* 31б и т. д. Как видим, ассимиляционное смягчение согласных не засвидетельствовано ни в сочетании **tъrt*, ни в новых группах согласных на морфемном шве корень слова + суффикс.

Параллелизм между употреблением *ъ* после *р* в сочетании **tъrt* и употреблением *ъ* на месте слабого редуцированного *ъ* в суффиксах после букв переднеязычных и губных отчетливо виден, если сравнить табл. 2 с табл. 3 (в круглых скобках указано число написаний на переносе).

Таблица 2

В сочетании <i>*tъrt</i>	Употреблена	
	<i>ъ</i>	<i>ь</i>
Перед мягким губным (тип <i>коръ/мъ</i>)	(1)	—
Перед мягким переднеязычным (тип <i>горъличища</i> , <i>горъстью</i>)	2	—
Перед <i>ж</i> (тип <i>торъжищихъ</i>)	3(4)	—

Таблица 3

В суффиксах в соответствии со слабым редуцированным <i>ъ</i>	Употреблена	
	<i>ъ</i>	<i>ь</i>
Перед мягким губным после губного (тип <i>любъви</i>)	6	—
Перед мягким губным после переднеязычного (тип <i>неплодъви</i>)	2	—
Перед мягким переднеязычным после переднеязычного (тип <i>ветъсб</i>)	3	—
Перед мягким губным после заднеязычного (тип <i>цркъве</i>)	4	3

Правило 2. В сочетании **tьrt* после *р* употребляется буква *ь*, если далее следуют буквы твердых заднеязычных (а также и буквы мягких губных и переднеязычных, шипящих и аффрикат), например, *поверъгъ* 147а, *одержимы* 54г, 97а. Если же далее следуют буквы твердых переднеязычных, после *р*, как правило, употребляется буква *ъ*, например, *держъзи* 41б. Если далее следуют буквы твердых губных, наблюдается колебание в выборе буквы, например, *перъ/выка* 146г, *перъвихъ*, *исперъва* 57в, 80а. Ср. правило 2, которым описывается распределение букв *ъ* и *ь* в новых группах согласных на морфемном шве корень слова + суффикс. Если за корнем следуют буквы твердых заднеязычных и твердых губных

² Группы согласных на морфемном шве корень слова + окончание отражены единичными написаниями.

в составе суффиксов *-ьк-*, *-ьб-* и в окончании *-ьма*, после согласного корня пишется *ь*, например, *горько* 141в, *татьбы* 42г. Если за корнем следуют буквы твердых переднеязычных в составе суффиксов *-ьн-*, *-ьд-*, *ьств-*, после согласного корня часто употребляется *ъ*, например, *распоустънык* 98а, *равъны* 47а, *моурънак* 154а, *болъна* 111в, *лицемъбрьство* 102б.

Как видим, и в сочетании **tьrt*, и на морфемном шве корень слова + суффикс ассимиляционное отверждение согласного засвидетельствовано многочисленными примерами в позиции перед твердыми переднеязычными и не засвидетельствовано перед твердыми заднеязычными. Перед твердыми губными наблюдается различие в употреблении *ъ* и *ь*: в сочетании **tьrt* уже имеется 3 случая с *ъ* (предвестники будущего отверждения *p* в этой позиции), в то время как на морфемном шве корень слова + суффикс отверждение в этой позиции не засвидетельствовано. Описанные закономерности в распределении букв *ъ* и *ь* в названных группах согласных отчетливо прослеживаются на табл. 4 и 5.

Таблица 4

В сочетании <i>*tьrt</i>	Употреблена	
	ь	ъ
Перед твердым губным (тип <i>перьвытъ</i> , <i>перьвоумьнка</i>)	5	3
Перед твердым переднеязычным (тип <i>перьста</i> , <i>зерьноу</i>)	4	43
Перед твердым заднеязычным (тип <i>изверьгоша</i> , <i>серьхоу</i>)	38	—
Перед мягким губным (тип <i>сжьрби</i>)	35	—
Перед мягким переднеязычным (тип <i>перьстънь</i>)	59	—
Перед шипящим и аффрикатой (тип <i>свьрши</i> , <i>одерьжимы</i>)	30	—

Таблица 5

В суффиксах в соответствии со слабым редуцированным <i>ь</i>	Употреблена	
	ь	ъ
Перед твердым губным после переднеязычного (тип <i>татьбы</i>)	3	—
Перед твердым переднеязычным после губного (тип <i>равъна</i> , <i>правъды</i> , <i>лоукавьство</i>)	5	13
Перед твердым переднеязычным после переднеязычного (тип <i>праведънаго</i> , <i>лицемъбрьство</i>)	26	18
Перед твердым заднеязычным после переднеязычного (тип <i>горько</i>)	2	—

Для целей данной работы первостепенное значение имеет тот факт, что в отношении твердости — мягкости сочетания редуцированных с плавными объединились не с исконными группами согласных, чего следовало бы ожидать, если бы они были обычными группами согласных, а с новыми группами согласных, возникшими в результате падения редуцированных. При этом по образцу сочетаний **tьrt*, **tьrt* стали формироваться отношения по твердости — мягкости на морфемном шве корень слова + суффикс.

Значение названного факта будет вполне очевидно, если учесть еще одно обстоятельство. В новых группах согласных, возникших в результате частичного падения редуцированных в XI — первой половине XII вв., отношения по твердости и мягкости формировались по 1-му типу, характерному для исконных групп согласных (праславянского или общеславянского происхождения). Здесь не существовало тех ограничений на ассимиляционные процессы, которые были характерны для сочетаний

**tʲɪrʲi*, **tʲɪrʲi* и для новых групп согласных на морфемном шве корень слова + суффикс. Ср. отверждение и смягчение в следующих группах согласных: губной + переднеязычный *пѣтиць*, *пѣтѣнѣца* 82б, 83в, 87г, 126г, 155а (вместо *пѣтиць*, *пѣтѣнѣца*), *пѣсомъ* 65а, 155г (вместо *пѣсомъ*), *избѣ/раньныи* 145б, *собѣ/рашася* 140г (вместо *избраньныи*, *собьрашася*), *распѣноуть* 143в (вместо *распѣноуть*), *мѣ/нѣ* 20 в—г, 118б, 138г, *мѣ/нѣ* 7в, 13в, 18а, 22в, 26а, 129а и т. д., в одном случае буква ъ написана по ъ *мѣ/нѣ* 7бб; переднеязычный + губной *дѣ/ѣ* 33б, 106а (вместо *дѣѣ*), переднеязычный + переднеязычный *посѣ/лю* 160 в—г (вместо *посѣлю*), *посѣ/ланоу* 131а (вместо *посѣланоу*); заднеязычный + переднеязычный *кѣ/нижнѣ* 28в (вместо *кѣнижнѣ*) и т. д., статистические сведения см. в табл. 6, 7.

Таблица 6

Корни слов, в которых отражается смягчение	Употреблена		Буквы ъ, ь отсутствуют
	ѣ	ь	
<i>дѣѣ</i>	1(1)	2	133
<i>мѣ/нѣ</i>	(4)	(12)	195
<i>пѣтиць</i>	—	5(1)	42
<i>посѣлю</i>	1	(1)	159
<i>донѣдеже</i>	(1)	6(6)	59
<i>кѣ/нижнѣ</i>	—	(1)	120
<i>альчють</i>	1(1)	10	15

Таблица 7

Корни слов, в которых отражается отверждение	Употреблена		Буквы ѣ, ѥ отсутствуют
	ь	ѣ	
<i>собѣ/рашася</i>	—	(2)	58
<i>распѣноуть</i>	5(2)	1	—
<i>пѣсомъ</i>	—	2	1
<i>посѣ/ланоу</i>	1	1	—

Таким образом, в данном говоре вплоть до эпохи общего падения редуцированных для групп согласных был обязательным 1-й тип отношений по твердости—мягкости, который, однако, на сочетания **tʲɪrʲi*, **tʲɪrʲi* не распространялся. В то же время тип отношений, характерный для сочетаний **tʲɪrʲi*, **tʲɪrʲi*, не оказывал воздействия на исконные группы согласных. Ситуация изменилась в эпоху общего падения редуцированных. Отношения, присущие сочетаниям **tʲɪrʲi*, **tʲɪrʲi*, стали распространяться на новые группы согласных, раньше всего на морфемном шве корень слова + суффикс. Встает вопрос: какое свойство сочетаний на плавный могло изолировать их от остальных групп согласных и исчезнуть с началом общего падения редуцированных? Ответ может быть только один: до начала общего падения редуцированных сочетания **tʲɪrʲi*, **tʲɪrʲi* не являлись обычными группами согласных. В сочетаниях либо плавный был слоговым, либо после неслогового плавного имелся редуцированный гласный, бывший носителем слога. Фонетическая реальность обеих возможностей вряд ли существенно могла различаться. Выбор одной из двух названных

интерпретаций как более предпочтительной возможен на фонологическом уровне, однако обсуждение данного вопроса не входит в задачи настоящей работы.

Галицкое евангелие 1266—1301 гг. — не единственная рукопись, засвидетельствовавшая факт взаимодействия между сочетаниями редуцированных с плавными и группами согласных на морфемном шве корень слова + суффикс (окончание). Впервые этот факт отметил Л. Л. Васильев. В группе южнорусских рукописей, созданных накануне падения редуцированных и характеризующихся достаточно выдержанным употреблением букв *ѣ* и *ь* (Христинопольский апостол XII в., Толстовский сборник XII—XIII вв. и некоторые другие), Л. Л. Васильев обнаружил параллелизм в передаче сочетаний **ѣѣтѣ*, **ѣѣтѣ*, **ѣѣлѣ* и новых групп согласных на морфемном шве корень слова на *р*, *л* + суффикс (окончание). Сочетания **ѣѣтѣ*, **ѣѣтѣ*, **ѣѣлѣ* отражаются в этих рукописях обычно в виде *ѣр*, *ѣр*, *ѣл* (*ѣрдостѣю*, *ѣѣрмы*, *исѣѣрва*, *ѣѣрпѣтѣ*, *ѣѣрно*, *растѣѣрати*), параллельно с этим часто пропускаются буквы слабых редуцированных в составе суффиксов и окончаний после *р*, *л* (*ѣѣрныи*, *мирныи*, *горкоу*, *покорливи*, *творѣа*, *дѣѣрми*, *горша*, *створше*, *оужерша*, *морскыѣѣ*, *коварствоу*). После букв других согласных буквы *ѣ* и *ь* в суффиксах пропускаются редко или не пропускаются совсем (*разоумно*, *коупно*, *животныи*, *оузѣко*, *тяжѣкы*, *забыѣлиѣѣ*, *конѣѣца*, *людѣѣми*, *меньшю*, *погребѣѣше*, *зачѣѣньше*). Л. Л. Васильев интерпретировал обнаруженный им факт следующим образом. Второе полногласие развилось в доисторическую эпоху одновременно с первым полногласием во всех древнерусских говорах. В XII в. в древнерусском языке начал действовать «закон», по которому *ѣ* и *ь* после *р*, *л* стали исчезать интенсивнее, чем после других согласных. Действию «закона» подлежали как исконные редуцированные, так и случаи со вторым полногласием [7]. Идея Л. Л. Васильева о «законе», по которому в древнерусском языке накануне падения редуцированных редуцированные стали исчезать после *р*, *л* интенсивнее, чем после других согласных, не получила поддержки у историков восточнославянских языков, так как остались «совершенно непонятными причины того удивительного закона, о котором пишет Л. Л. Васильев» [8]. Однако в свете данных Галицкого евангелия 1266—1301 гг. «закон» Л. Л. Васильева перестает быть «удивительным». Поскольку накануне общего падения редуцированных сочетания *р*, *л* + слабый редуцированный в составе суффиксов были похожи на сочетания редуцированных с плавными, они отражались на письме одинаково: писали вместо *ѣѣрныи*, *зѣѣбрьскыи* — *ѣѣрныи*, *зѣѣбрьскыи*, как *чѣѣрныи*, *дѣѣръкыи*, *мѣѣръкыи*.

3. Ответ на вопрос: почему первый редуцированный в составе сочетаний редуцированных с плавными регулярно развивался как сильный, по-видимому, следует искать в славянском сравнительно-историческом языкознании.

Существовало три основные тенденции в развитии сочетаний редуцированных с плавными в славянских языках.

Первая тенденция — тенденция к утрате редуцированного гласного перед плавным в любой позиции (и в слабой, и в сильной) и к становлению плавного в качестве слононосителя. Эта тенденция развития наблюдалась в южнославянских языках и в двух западнославянских языках — в чешском и словацком, за исключением восточных словацких говоров. В историческое время в этих языках слоговые плавные частично сохранились, частично утратились, при этом либо развились при плавных гласные звуки, либо сам плавный был замещен гласным звуком (в сербохорватском языке *гѣло*, *ѣрба*, *ѣрати*, *ѣук*, *пун*, *жѣт*).

Вторая тенденция в развитии сочетаний — тенденция к сохранению

гласного при плавном в любом положении (и в сильном, и в слабом), при этом рефлекс редуцированного находится перед плавным и совпадает с рефлексом редуцированных в сильной позиции. Эта тенденция развития была характерна для восточнославянских языков, верхнелужицкого языка и, по-видимому, для полабского (ср. в русском языке *корчма, торг, верба, серна, волк*, в верхнелужицком *torh, korčma, wjerba, sorna*).

Третья тенденция в развитии сочетаний редуцированных с плавными — к сохранению гласного при плавном, но его качество определяется соседними звуками. Это привело к возникновению многих произносительных типов, среди которых есть и такие, где рефлекс редуцированного находится не перед плавным, а после плавного. Так развивались сочетания в польском языке (*martwy, czarny, twardy, twierdzić, serce, słunce, długi, pełny, wilk*).

Для целей настоящего исследования имеет значение сходство в развитии сочетаний редуцированных с плавными в восточнославянских языках и в верхнелужицком. Общие черты заключаются в следующем: во всех названных языках совпали рефлексы **tolt* и **tblt* (должен — долгий); в сочетании **tbrt* имелись одинаковые ограничения на мягкость *r* (он был мягким перед твердыми губными, заднеязычными, но твердым перед твердыми переднеязычными *вр'хъ, вр'ба, зрно*); редуцированный в составе сочетаний всегда развивался как сильный, а его рефлекс постоянно находился перед плавным; редуцированные в составе сочетаний совпали с *o* и *e*, подобно тому, как они совпали с этими гласными (в сильной позиции) и вне сочетаний, хотя распределение рефлексов (*o* или *e*) в верхнелужицком несколько иное, чем в восточнославянских языках. В восточнославянских языках рефлекс определялся только качеством редуцированного (*ъ* изменился в *o, ь* — в *e*), а в верхнелужицком результат развития зависел также от твердости или мягкости следующего согласного (*мох* «мох», по *krej* «кровь»). Столь большое сходство в развитии сочетаний редуцированных с плавным в восточнославянских языках и в верхнелужицком вряд ли можно считать только результатом независимого развития. Правдоподобнее предположить существование однородных тенденций, которые, будучи лишь в зачатке в эпоху общности, полностью были реализованы много лет спустя после расхождения праславянских диалектов. Думаем, что сохранение некоторого исконого начала, проявившегося в полной мере при историческом развитии языков, касается как твердости и мягкости *r* в составе сочетаний, которая развивалась далее одинаково, так и долготы редуцированных перед плавными, которая обусловила их регулярное развитие как сильных редуцированных. Напомним еще одно сходство между украинским, белорусским и западнославянскими языками — в рефлексах сочетаний **trbt*, **trbt*, **tblt*, **tblt*. В названных языках обычно сильные редуцированные вокализировались, а слабые были утрачены, позднее при плавных могли возникнуть различные гласные, ср. в украинском языке *кров, глотка, хрест, кирви, сільза, сельза, сльза, сыльза* и др., в верхнелужицком *krw', pleć, sylza*, в диалектах *sluza*. Сходство в рефлексах сочетаний **trbt*, **trbt*, **tblt*, **tblt* между этими языками делает параллелизм в развитии сочетаний **tbrt*, **tbrt*, **tblt* в восточнославянских языках и в верхнелужицком более убедительным.

4. В качестве причины бесследной утраты вторых редуцированных в сочетаниях **tbrbt*, **tbrbt*, **tbrbt*, **tblbt* в большинстве древнерусских говоров и редкого отражения их на письме называют особую краткость этих редуцированных [4]. В пользу такого объяснения свидетельствуют определенные явления в орфографии изученных нами южнорусских рукописей XII—XIII вв. Замечена следующая закономерность: чем рукопись древнее, чем выдержаннее в ней употребление редуцированных, тем меньше

в ней случаев постановки букв *ъ* и *ь* после *р*, *л* в составе сочетаний. Чем рукопись моложе, чем большие утраты редуцированных она отражает, тем чаще в ней употребление *ъ* и *ь* после *р*, *л* в составе данных сочетаний. В Галицком евангелии 1144 г., в Типографском евангелии № 6 XII в. не отражается или отражается слабо прояснение сильных редуцированных, в соответствии с этим буквы *ъ* и *ь* после *р*, *л* в составе сочетаний практически не употребляются. В Добриловом евангелии 1164 г. прояснение сильных редуцированных отражается многочисленными примерами, случаев употребления *оръ*, *еръ*, *ерь*, *оль* — 77 (42 раза в строке и 35 на переносе). В Галицком евангелии 1266—1301 гг. орфограмм *оръ*, *оль*, *ерь*, *ерь* — 302 (253 в строке и 49 на переносе). В целом картина подобна той, которую наблюдал в корне *алк-* (*алч-*) в старославянских памятниках Ф. Ф. Фортунатов: в тех памятниках, для которых характерно выдержанное употребление редуцированных, буква *ъ* в корне не пишется (Остромирово, Мариинское евангелия), в тех памятниках, которые отражают падение редуцированных, буквы *ъ*, *ь* после *л* обычно имеются (Саввина книга, Синайский требник). Ф. Ф. Фортунатов интерпретировал это явление следующим образом. В корне *алк-* (*алч-*), где перестановки гласного и *л* не произошло, развился «неслоговой переходный гласный» между согласными. В эпоху появления старославянской письменности, когда *ъ* и *ь* в слабой и в сильной позициях удерживались, этот переходный звук отличался от *ъ* и *ь*, не был замечаем и поэтому не обозначался на письме. Позднее, когда слабые редуцированные претерпели дальнейшее сокращение, изменились в подобные же «переходные» гласные, писцы стали употреблять буквы *ъ* и *ь* и для передачи призвук в корне *алк-* (*алч-*). Интересно отметить, что редуцированный после *л* в корне *алк-* (*алч-*) тоже не вокализировался, если далее следовал слабый редуцированный: *альчньи* > > *алчньи*.

Таким образом, рассмотренные факты сформировали следующее представление о судьбе сочетаний редуцированных с плавными в древнерусском языке. Второе полногласие возникло в доисторический период во всех восточнославянских говорах. Редуцированный перед плавным был сильным, второй редуцированный гласный не представлял собой самостоятельной артикуляции, тождественной артикуляции слабых редуцированных обычного образования. Возникнув в результате действия тенденции к открытости слога, переходный гласный элемент «законсервировал» сложившиеся к тому времени отношения по твердости и мягкости в сочетаниях на плавный, препятствуя как ассимиляционным процессам между согласными внутри сочетаний, так и переносу этого типа отношений по твердости и мягкости на другие группы согласных. В эпоху общего падения редуцированных второе полногласие исчезло: редуцированный перед плавным вокализировался в *о* или *е*, редуцированный гласный после плавного был утрачен. Несколько дольше существовал он в некоторых южно-русских говорах перед шумными спирантами — до второй половины XIII в. С падением редуцированных вновь открылась возможность для протекания ассимиляционных процессов внутри сочетаний, началось отвердение *р* в сочетании **tr̥t* перед твердыми губными, затем и в других позициях. В современных восточнославянских литературных языках мягкость *р* в этом сочетании утрачена. Падение гласного элемента после плавного в составе сочетаний открыло возможность для распространения типа отношений по твердости и мягкости, который был характерен для сочетаний на плавный, на новые группы согласных на морфемном шве корень слова + суффикс, а затем и на исконные группы согласных, что привело к созданию в восточнославянских языках современного типа отношений по твердости и мягкости в группах согласных.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962.
2. *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.
3. *Журавлев В. К.* Праиндоевропейские и праславянские слоговые плавные.— Вестник МГУ, 1966, № 2, сер. филол.
4. *Гринкова Н. П.* О случаях второго полногласия в северо-западных диалектах.— Тр. Ин-та русского языка. Т. 2. М.—Л., 1950.
5. *Малкова О. В.* О принципе деления редуцированных гласных на сильные и слабые в позднем праславянском и в древних славянских языках.— ВЯ, 1981, № 1.
6. *Сидоров В. Н.* Из истории звуков русского языка. М., 1966.
7. *Васильев Л. Л.* Одно соображение в защиту написаний ърь, ъръ, ърь, ъль древнерусских памятников как действительных отражений второго полногласия.— ЖМНП, 1909, ч. XXII, август.
8. *Марков В. М.* К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.

АКИМОВА Г. Н.

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Понятие экспрессии в синтаксисе строго не определено, однако применительно к русскому языку оно используется хотя и спорадически, но довольно давно и в связи с изучением языка художественной литературы. Так, В. В. Виноградов при анализе художественной прозы Пушкина противопоставлял субъектно-экспрессивные формы синтаксиса как средство «экспрессивной изобразительности» объектно-повествовательным и связывал это с проблемой субъективных форм повествования, прежде всего с проблемой несобственно-прямой («чужой») речи [1, с. 224]. Оценку отдельных синтаксических конструкций русской разговорной речи как имеющих «модально-экспрессивные значения» находим в монографии Н. Ю. Шведовой [2, с. 17]. Но в последние 10—15 лет в синтаксической литературе появился термин «экспрессивный синтаксис», наиболее эксплицитно и регулярно употребляемый при описании отдельных синтаксических конструкций письменной речи. Совершенно очевидно восприятие конструкций экспрессивного синтаксиса во многих работах в связи с новыми явлениями в области грамматики [3]: расчлененность синтагматической цепи является той структурной основой, на которой и развивается экспрессивный синтаксис. Понятие экспрессивного синтаксиса в этом значении относится только к определенной сфере бытования определенных синтаксических структур. Поэтому следует уточнить оба параметра, связанных между собой.

Обычно экспрессию определяют применительно к лексическому уровню, но как на этом, так и на других уровнях проявления данной языковой функции встают следующие существенные проблемы: (а) как соотносятся интеллектуальная (номинативная, информационная, рациональная) сфера языка и аффективная; (б) является ли аффективная сфера принадлежностью языка или речи; (в) что является составляющими аффективной сферы: экспрессивность, эмоциональность, образность и т. п. Все эти проблемы неоднократно обсуждались в русской и зарубежной лингвистике. Классиком постановки проблемы (а) считают Ш. Балли, который показал большую роль аффективного фактора, считая его обязательным компонентом любого высказывания. Проблематика, связанная с различием в языке интеллектуального и аффективного, имела для Ш. Балли программный характер, причем роль аффективного фактора им преувеличивалась [4, 5]. Суть соотношения этих сфер языка как Ш. Балли, так другие видные лингвисты, например, В. Матезиус, видели в том, что аффективное является не факультативным наслоением на интеллектуальное (назывное), а обязательным в любом высказывании. Существенным выводом из этого положения признается взаимосвязь обеих сфер и их частое взаимопроникновение, хотя акценты при этом делаются различные. Так, Ш. Балли считал, что любое предложение, например, *Жара, Дважды два четыре*, с общепринятой точки зрения не имеющие никакой аффективной окраски, имеют ее, ибо порождены в связи с какой-то ситуацией и в этой ситуации

они обязательно окрашены неким чувством говорящего. Например, предложение *Жара* может обозначать неприятные физические ощущения или то, что от жары погибнет урожай [6, с. 22—23]. В. Матезиус же видел в соотношении обоих компонентов высказывания другое: «... высказывание, с одной стороны, охватывает те явления действительности, которые настолько привлекли наше внимание, что мы хотим о них что-то сказать, с другой, — выражает наше отношение к этой действительности. Эти два основных момента каждого высказывания, а вместе с тем также и проявление двух основных актов, на базе которых возникает высказывание, — акта назывного, или номинативного, и акта формообразующего. Наша речь, однако, уже до такой степени автоматизирована, что мы эти два акта, как правило, не осознаем» [7, с. 447].

Отсюда можно перейти к проблеме (б), то есть к вопросу о том, является ли аффективная сфера принадлежностью языка или речи. Ш. Балли, связывая аффективное с констигуацией, считал его скорее принадлежностью речи, хотя в разных своих работах утверждал, что аффективность может потенциально модифицировать факты и идеи, а это уже должно выражаться в языке. В. Матезиус не отделял назывное и экспрессивное (как он называл) от системы самого языка: фоном для назывного акта является в целом словарный состав языка, а для формообразующего акта, где говорящий выражает свое отношение к назывному акту, являются модели предложения. Даже при сопоставлении взглядов таких двух лингвистов, как Ш. Балли и В. Матезиус, видно, насколько различно трактуется сам аффективный (экспрессивный) фактор и его соотношение с интеллектуальным. Современные исследователи, касаясь этой проблемы, относят аффективную сторону в высказывании чаще всего к языку, а не к речи.

(в) Наиболее трудной, особенно применительно к синтаксическому материалу, является проблема состава аффективного фактора в языке. Аффективное трактуется как выражение отношения говорящего, а отсюда, учитывая первоначальное значение слова «экспрессия» (= «выражение»), аффективное приравнивается к экспрессивному (так это понимал и Ш. Балли). Но поскольку аффективное часто приравнивается и к эмоциональному [8, с. 60], то образуется целый ряд понятий, сложно соотносенных между собой: аффективное, экспрессивное, эмоциональное, оценочное, образное, стилистически окрашенное и т. п. Попытки внести ясность в этот вопрос, даже на лексическом уровне, приводят к трудностям. А если учесть, что на синтаксическом уровне сюда относят и субъективно модальные значения (ведь и экспрессия, и модальность часто определяют как выражение уровня отношения говорящего к высказываемой информации), то проблема определения термина «экспрессивный» становится почти неразрешимой [9, с. 160]. Представляется самым существенным, во-первых, разграничение экспрессивного и эмоционального, т. к. именно эти аспекты чаще всего воспринимаются нерасчлененно, и, во-вторых, экспрессивного и стилистически окрашенного, ибо понятие экспрессивного (экспрессивно-эмоционального) понимается чаще всего не по Балли (выражение субъективного отношения говорящего к высказываемой информации, ориентированного на ситуацию и, таким образом, присущего любому предложению), а как стилистически отмеченное на фоне нейтрального.

Разграничение экспрессивного и эмоционального в языке было проведено Е. М. Галкиной-Федорук, которая отметила, что экспрессия возможна без эмоции. Отсюда следует, что понятие экспрессивного — более широкое, чем понятие эмоционального [10, с. 121]. Эта точка зрения получила распространение, и экспрессия понимается как комплексное явление, подчиняющее себе эмоциональность. Так, в одной из последних работ Т. Г. Винокур сказано: «Обобщающий, относительно функциональности

и эмоциональности, смысл термина „экспрессия“ удобен еще и потому, что в высказывании эти два признака чаще всего оказываются слитными» [11, с. 57].

В то же время имеется немало работ, в которых эмоциональное и экспрессивное оцениваются не с точки зрения их иерархии, а трактуются как независимые понятия. Эмоциональное значение связывается с нерасчлененной чувственной реакцией, в то время как экспрессивное понимается как связанное с вещественным значением — это усилительные оттенки, наслаивающиеся на основные. Определяя самую сущность экспрессии как семантической категории, обычно отмечают ее в о з д е й с т в у ю щ у ю функцию. Еще Ш. Балли различал в аффективном факторе две цели: 1) выражение субъективного мира говорящего (чувства, настроения), 2) использование языковых средств для воздействия на адресат. Воздействующее, убеждающее начало экспрессии связывают с усилением выразительности, изобразительной силы написанного¹. Самым существенным и представляется в различении эмоционального и экспрессивного, с одной стороны, непроизвольность, непреднамеренность эмоционального и, с другой стороны, специальная заданность экспрессии как средства воздействия, как преднамеренность использования определенных средств языка. Это, в свою очередь, предполагает наличие этих средств в языке в готовом виде. Значит, экспрессивность в языке — это свойство самих языковых единиц, независимо от сферы их употребления. Но такое положение также весьма спорно, поэтому стилистическая окрашенность и экспрессия понимаются либо по-разному [12], либо почти одинаково [11].

Переходя к области синтаксиса, следует вспомнить, что довольно давно используется такое понятие, как синтаксическая стилистика. Характерно, что на уровне синтаксиса нет понятий эмоционального, оценочного синтаксиса, в отличие от соответствующих понятий в лексикологии. Понятие же синтаксической стилистики весьма многозначно: от анализа синтаксических конструкций в художественных произведениях классиков литературы до так называемой практической стилистики. Разнообразие задач синтаксической стилистики определяется следующим образом: это и стилевая дифференциация и характеризованность синтаксических средств; и процессы, происходящие в пределах, ограниченных стилем или типом речи; и экспрессивно-выразительные качества синтаксических конструкций; и синонимические ресурсы синтаксиса в их стилистической ориентированности; и синтаксические средства в языке художественной литературы в их функционально-эстетическом качестве, и др. [13, с. 4]. Как видим из этого далеко не полного перечня задач синтаксической стилистики, описание экспрессивно-выразительных качеств синтаксических средств является частной задачей. Предполагается, что экспрессивные средства языка существуют в виде определенных синтаксических конструкций. Каков их набор и сфера их применения? Эти вопросы взаимосвязаны, ибо понимание использования синтаксических конструкций в целях экспрессии как специального, осознанного говорящим (пишущим) приема, направленного на повышение изобразительности, выразительности, принципиально зависит, во-первых, от формы речи (устная / письменная) и, во-вторых, от ее функциональной заданности.

Трудность противопоставления эмоционального и экспрессивного на синтаксическом уровне, очевидно, связана с тем, что если понимать под эмоциональным выражение чувств и настроений без желания воздейство-

¹ Ср. определение понятия экспрессии в словаре О. С. Ахмановой: «Выразительно-образительные качества речи, отличающие ее от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» [8, с. 524].

вать на слушающего, то чисто эмоциональное выражение присутствует прежде всего в устной форме языка как менее контролируемой говорящим. Имеются ли специальные конструкции, кроме междометных и некоторых видов нечлененных предложений типа *Черт побери!*, для выражения эмоций в устной речи? Ответить на этот вопрос трудно, ибо определенные синтаксические средства преднамеренного воздействия на слушающего в синтаксисе устной речи менее четко выделяются, чем в речи письменной. Во всяком случае этот вопрос мало изучен. Понятие экспрессии синтаксиса связывается преимущественно с письменной формой речи. Но письменная речь вторична и находится под большим воздействием устной, хотя не во всех разновидностях в равной степени. Общий вывод из трудов В. В. Виноградова, представителей пражского лингвистического кружка и многих других состоит в том, что устная речь входит в язык художественной литературы в измененном виде [14, с. 17]. Такие формы письменной речи, как научная и деловая, наиболее далеко отстоят от устной формы литературного языка и наиболее приближены к логизированному типу изложения, что несомненно отражается на их синтаксической организации [15]. Элементы экспрессии следует искать в тех формах письменной речи, которые могут иметь установки преднамеренного воздействия и изобразительности (в понимании В. В. Виноградова). Это прежде всего художественная и публицистическая речь, которые и в наибольшей степени испытывают влияние разговорной речи. О сложности соотношения функциональных и экспрессивных значений, а также о возможности существования экспрессивных стилей (дополнительно к функциональным) писала К. А. Рогова [16, с. 73].

В работах, где имеются попытки разграничить эмоциональное и экспрессивное в синтаксисе, выделяется различный набор конструкций, которые квалифицируются как экспрессивные. Так, В. В. Востоков [9] различает, с одной стороны, «эмоциональные» конструкции *Ах, хорошая погода!*, *К счастью, хорошая погода!* и, с другой стороны, «экспрессивные», имеющие усиленные оттенки, наслаивающиеся на основное значение: *Вот так лужа! Шел-шел и пришел; Ах она змея; Девочка ну и умна.* Предложения второго типа являются стандартными синтаксическими конструкциями, описанными Н. Ю. Шведовой под названием «построения, которые имеют частные модальные значения или значения субъективно-модальные (модально-экспрессивные)» [2]; предложения же первого типа «эмоциональные» за счет лексического, а не синтаксического уровня. Конструкции второго типа квалифицируются в Гр. 70 как построения с субъективно-модальными значениями, причем среди этих значений названо и значение экспрессивной оценки. Там же экспрессивными названы и определенные типы расположения слов, в которых рема предшествует теме, предложения с логическим или фразовым ударением в начале предложения. В «Русской грамматике» 1980 г. понятие экспрессии также связывается с субъективно-модальным значением в предложении, которое описано более детально, чем в Гр. 70, однако также четко не отграничено от эмоционального [17, с. 91]. К числу языковых средств, манифестирующих субъективную модальность, «Русская грамматика» относит целый ряд явлений (интонационный тип конструкции, порядок слов, лексические средства, употребление частиц, междометий и т. п.), среди которых выделены и специальные грамматические конструкции: *Ай да молодец!* *Ох уж эти родственники;* *Чего я не передумала;* *Отец не отец;* *Взял старик да вдруг и умер;* *И спит не спит, и слушает не слушает.* Хотя здесь перед нами предложения разной синтаксической организации, им дана общая стилистическая квалификация: «Как те, так и другие конструкции всегда экспрессивно окрашены; сфера их употребления — разговорная речь,

отражающие эту речь жанры художественной литературы и публицистики, просторечия» [17, с. 217]. Таким образом, в названных работах экспрессивное применяется по отношению к стилистически окрашенным, преимущественно устным конструкциям.

Совершенно иное значение понятие экспрессивного синтаксиса получило в связи с описанием новых синтаксических явлений. А поскольку новые тенденции в синтаксисе более всего выражаются в синтагматической расчлененности, то именно расчлененные конструкции или конструкции с ослабленными показателями синтагматической связанности и относят к экспрессивным³. Экспрессивными они становятся при наличии соответствующего стилистического эффекта, ибо расчлененные конструкции без стилистического эффекта к экспрессивным обычно не причисляют.

Дадим примерный перечень экспрессивных синтаксических конструкций русского языка в этом, более узком, понимании. Обычно к ним относят такие явления, как парцелляция, сегментация, лексический повтор с синтаксическим распространением, вопросо-ответные конструкции в монологической речи, цепочки номинативных предложений, особые случаи словорасположения и некоторые другие. Приведем примеры основных перечисленных разновидностей.

Парцеллированные конструкции: *Он открыл глаза. Звук шел справа. И слева. Это была наверняка не скрипка* (Лит. газета, 1980, 9 июля); *И как я раньше жил без всего этого?! Без Стравинского! Без Сезанна! Без Фолкнера, черт возьми! Читать его тяжело, но когда прочтешь — такое облегчение!* (Лит. газета, 1980, 9 июля).

Сегментированные конструкции: *Вот, например, рассказ «Чужая», о чем он?* (Роман-газета, 1980, № 5); *Он вообще нравился Нине, этот друг Павла Алексеевича* (Ю. Нагибин, Берендеев лес); *Игра и сказка! Одно время педагоги относились к ним подозрительно* (Советская культура, 1980, 18 июля).

Лексический повтор с распространением: *Такие портреты — плод не одного мастерства, но живой, творящей, очеловечивающей мир мысли художника, мысли, воплощенной в образах реальных людей, наших современников* (Огонек, 1980, № 33); *Удивительное это стихотворение! Удивительное по волшебству перевоплощения в человека иной социальной среды и опыта, по выразительности и точности каждого слова* (Новый мир, 1978, № 1).

Вопросо-ответные конструкции в монологической речи: *Сопrotивление этим силам бессмысленно? Нет!* — говорит Ч. Айтматов повестью «Пегий пес». *Человек — хозяин своей судьбы, а не игрушка обстоятельств* (Новый мир, 1978, № 12).

Цепочки номинативных предложений: *Лица. Портреты. Девочка. Не сказочная Аленушка, не литературная Наташа Ростова в детстве и не дочь наших близких знакомых — просто ребенок. Дитя. Женщина. Просто пожилая женщина над веткой расцветшего багульника. Кто они? Мы не знаем их имен* (Огонек, 1980, № 33).

Экспрессивно-стилистическое словорасположение: *Глубоко в душе у нее происходит какая-то торжественная перемена. Поражительным бывает иногда человеческое постоянство. Радостно и печально до сердцебиения стало ему* [19].

Названные синтаксические конструкции были уже обследованы в большей или меньшей степени, однако они, безусловно, не составляют окон-

³ «Новизна» этих конструкций, разумеется, относительна и неоднородна, ибо явления аналитизма отмечаются в русском письменном синтаксисе с самого начала становления русского литературного языка нового времени. Более подробно об истории этого процесса см. [18].

чательного списка расчлененных экспрессивных структур. Много еще будет вскрыто, тем более, что объем каждого из отмеченных явлений далеко не установлен и подчас трактуется неоднозначно. Общим структурным основанием названных построений является синтагматическая расчлененность, но среди них трудно выделить ведущее, наиболее характерное для экспрессивного синтаксиса. В истории разработки подобных явлений прежде всего было отмечено явление присоединения (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, С. Е. Крючков), описанное с различных точек зрения [20]. Позднее на основе явления присоединения выделили явление парцелляции (Е. А. Иванчикова, Ю. В. Ванников) как особый экспрессивный прием в письменной речи. Не останавливаясь на истории разработки этой проблемы³, следует лишь подчеркнуть, что внимание именно к парцелляции было привлечено, видимо, потому, что парцеллированные конструкции были распространены более других в художественной литературе XIX и начала XX в. и более всего манифестировали «рубленную» прозу, т. е. прозу сильно интонированную и как бы разбитую на куски, если сравнить ее с синтагматической классической прозой, где предложение представлено как единый, хорошо организованный сплав. Однако расчлененный, или «рубленный», синтаксис состоял и раньше не только из парцеллированных конструкций, да и осознан он был значительно раньше. Экспрессивный синтаксис возник в недрах языка художественной литературы (начиная от Карамзина и Пушкина), с развитием ее новых стилиобразующих черт. Корни этого явления уходят в XIX в., хотя только в XX в. расчлененный тип прозы стали называть «рубленным»⁴. Интересны наблюдения самих писателей XIX в. относительно новых тенденций в синтаксисе, например, наблюдения Ф. М. Достоевского, относящиеся к 1873 г. «Вчера заходил приятель: „У тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь — и вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще чего-нибудь вставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь...“» [22].

Представляется, что ведущим, наиболее общим является процесс сегментации, т. е. членение текста на отдельные сегменты. При этом информация подается частями, порциями, в то время как синтаксическая система русского языка позволяет передать ту же информацию без расчленения текста на сегменты. Теория сегментации была разработана Ш. Балли с ориентацией на синтаксическую систему французского языка [23, с. 60—80]. Ш. Балли сопоставляет передачу одной и той же информации посредством (1) сочинения, (2) сегментации и (3) сращения: (1) *Там имеется птица, и эта птица взлетает*; (2) *Вон птица, она взлетает*; (3) *Эта птица взлетает*. В сегментированных конструкциях имеется обязательно две части: первая обычно подготавливает слушателя к «теме», вторая сообщает нечто о теме (Балли называет ее «повод»). Иногда порядок следования темы и повода могут быть изменены. Ср.: *То счастье и удовлетворение собой, о котором говорил Достоевский, оно обязывает душу* (Д. Гранин, Обратный билет) — *Он деревянный, этот дом, с широкой террасой* (Жюмс. правда, 1978, 6 апреля).

Наиболее яркой сегментированной конструкцией современного русского языка является именительный темы, или представления (А. М. Пешковский), описанный достаточно полно в литературе [24]. Однако имеются и другие разновидности сегментированных конструкций, не столь броских,

³ Из последних работ отметим работы А. П. Сковородникова, который, в отличие от Е. А. Иванчиковой, противопоставляет присоединение как явление статического синтаксиса парцелляции как явлению динамического синтаксиса [21].

⁴ В. В. Виноградов не пользуется термином «рубленная» проза, а говорит о «расчлененной» прозе, заимствуя этот термин у Стендаля [1].

однако сохраняющих все те структурные и коммуникативные закономерности, которые свойственны и именительному темы. Другие синтаксические формы расчленения текста (парцелляция, лексический повтор с распроставлением, вопросительные конструкции в монологе и т. п.) имеют много общего в своей основе с явлением сегментации. Во всех случаях расчлененности повышается интонированность текста, прочтение его, даже внутреннее, становится более прерывистым, количество логических акцентов увеличивается. Не случайно Н. Д. Арутюнова называет данный тип прозы актуализирующим. Ср. четко противопоставленные по синтаксической организации отрывки из художественной прозы синтагматического и актуализирующего типа: (1) *Меня неволью поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно ясно доказывает невероятную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения* (М. Лермонтов, Герой нашего времени) — (2) *Есть в искусстве понятия — драматический анекдот и композиция. В анекдоте один вlepил пощечину, другой схватился за щеку. А в композиции главное, кто ударил и кого. Потому что реакция оскорбленного непредсказуема. Может заплакать, может и захохотать, может обнять обидчика и утешить его, а может и почесаться или умереть от оскорбления* (М. Анчаров, Самшитовый лес). Отсюда вытекает и другая особенность экспрессивных построений: большинство из них выходит за рамки предложения в его традиционном понимании и фактически осознается на уровне текста.

Обращаясь к вопросу об истоках и сущности экспрессивных синтаксических конструкций, следует остановиться на соотношении устных расчлененных конструкций и книжных письменных. Общепринятое мнение состоит в том, что в основе экспрессивных конструкций письменного языка лежит определенный субстрат устного синтаксиса. Однако этот субстрат в синтаксисе устной речи выполняет иные функции, чем в письменной. В связи с изучением и описанием закономерностей русского разговорного синтаксиса, основанных на наблюдениях над реально звучащей речью, удалось провести границу между синтаксическими построениями, которые вызваны именно устным характером, самой формой речи (спонтанностью, неподготовленностью), с одной стороны, и синтаксическими конструкциями, употребляемыми преимущественно в устной речи. Построение этих конструкций не вызвано формой речи, но они все равно осознаются как разговорные, где бы они ни употреблялись. Сравним (1) и (2) типы конструкций: (1) *Наша соседка/она всегда спешит; Причастия страдательного залога / они образуются от переходных глаголов; (2) Думал-думал, и вот тебе! Чем не жизнь? Всем женихам жених* и т. п.

Между конструкциями (1) и (2) есть принципиальная разница. Она состоит в том, что конструкции (1) в своем построении зависят от того, что они употребляются в устной речи. Это так называемые двойные подлежащие: сначала назван предмет речи, а в следующем предложении он или повторяется, или замещается личным местоимением. Это происходит потому, что сама форма устной речи позволяет использовать это излишество, чтобы для слушающего информация была более доходчивой. Иногда, возможно, это связано и с особенностями речи говорящего: он уже назвал предмет речи, а основное предложение еще не сформулировано. В любом случае в конструкциях такого типа нет специальной заданности, стилистической подчеркнутости, и во многих случаях мы не замечаем особенностей их построения. Такие построения, по аналогии с терминами фонологии, называют с л а б ы м и, то есть позиционно зависимыми, обуслов-

ленными формой речи. Конструкции типа (2) — синтаксические модели, в которых мы всегда чувствуем оттенок разговорности независимо от того, употреблены ли они в устной речи или в письменном тексте, например, в языке художественной литературы. Их «разговорность» не зависит от формы речи, и такие построения называют с и л ь ъ ы м и элементами устной речи [25, 26]. В устной речи они отличаются от слабых элементов тем, что стилистически маркированы: в них не только особо подчеркнуты субъективно-модальные оттенки, но и эмоциональные (Н. Ю. Шведова называет эти оттенки экспрессивно-модальными). В литературе отмечалось, что слабые элементы устной речи обнаруживаются преимущественно в синтаксисе, в то время как сильные элементы наиболее заметны в лексике и фразеологии. Сильные элементы устной речи, не будучи преднамеренными и не неся осознанно воздействующей функции, скорее служат для самовыражения, они не направлены на адресат, а как бы замкнуты в говорящем (вспомним разделение Ш. Балли аффективной функции на две цели — выражение субъективного мира говорящего и использование соответствующих языковых средств для воздействия). Употребление сильных элементов в устной речи может, конечно, оказать воздействие на слушающего, однако это не будет осознанным шагом со стороны говорящего, т. е. в этом не будет экспрессии в узко понимаемом нами смысле. Характерно, что в более ранних работах по синтаксису разговорной речи анализировались, в значительной степени на основании письменных литературных источников, именно сильные элементы. В более поздних работах, на основе анализа записей реальных устных высказываний — слабые по преимуществу (Е. А. Земская, О. А. Лаптева, Г. Г. Инфантова, О. Б. Сиротина, И. Н. Кручина и др.).

Встает трудный вопрос: могут ли слабые элементы устной речи перейти в письменную и в каком виде. На этот счет нет единства взглядов, хотя общее положение состоит в том, что «...между спонтанной устной речью в естественных условиях и ее воспроизведением в художественной прозе путем репродукции нет и не может быть тождества» [27, с. 147]. Одно из мнений заключается в том, что слабые элементы попадают в книжные жанры в качестве заимствований и становятся сильными элементами для письменной речи, ибо несут на себе печать заимствования и иной стилистической тональности [25]. Другого этапа, согласно этому мнению, не существует, и, таким образом, устанавливается только один этап вхождения слабого устного синтаксического элемента в письменный литературный язык. Н. Ю. Шведова видит две ступени вхождения устных (она называет их разговорными) синтаксических конструкций в письменный литературный язык: «...на первой ступени разговорная конструкция полностью сохраняет свою специфическую окрашенность и воспринимается как нечто по отношению к письменному тексту внешнее, инородное; на второй ступени она, сохраняя свое исходное „разговорное“ качество, уже оказывается элементом системы таких средств внутри письменной речи, которые служат для придания ей окраски непринужденности и свободы, направленной на установление непосредственных контактов с читателем» [28, с. 151]. Разграничением обеих ступеней бытования устных конструкций в письменном языке Н. Ю. Шведова считает частотность их употребления: элементы, находящиеся на первой ступени, единичны; элементы, находящиеся на второй ступени — регулярно повторяемы.

Думается, что в рассуждениях авторов есть некоторый пробел, связанный с недифференцированным анализом синтаксических конструкций в зависимости от жанрово-стилистической сферы их письменного употребления. Полагаем, что у большинства экспрессивных письменных конструкций имеется разговорный субстрат, слабый элемент устного синтакси-

са. Так, именительный темы, возможно, имеет субстратом так называемое двойное подлежащее и другие конструкции подобного типа (*Сиамские кошки / они бывают красивые*). Устным субстратом парцелированных конструкций являются, очевидно, устные присоединительные конструкции, для вопросительных предложений в монологической речи — соответствующие предложения в условиях устного диалога, для конструкций с лексическим повтором — устные конструкции с повтором без синтаксического распространения и т. п.

На первой ступени вхождения устных конструкций в литературный письменный язык они копируются в речи персонажей в художественных произведениях, но это не копия разговорной речи в том виде, в каком мы ее наблюдаем в магнитофонных записях [29]. Дело не только в трудности передачи истинной устной речи на письме из-за невозможности ее точной фиксации. Передача всего, часто плохо расчлененного, потока, который представляет собою устная речь, с нечеткими границами предложений, повторами, самоперебивами и вставками, практически невозможно даже в художественном диалоге, о чем еще писали представители пражской лингвистической школы [30]. Кроме того, далеко не все особенности устного синтаксиса в равной степени часто имитируются писателями в художественных диалогах. Легче других имитируется разговорный порядок слов, вопросо-ответные конструкции, присоединительные конструкции. Но многие черты устного синтаксиса практически не передаются в художественном тексте (многие виды повторов, самоперебивы и т. п.). Итак, на первой ступени отдельные конструкции, представляющие слабые элементы устного синтаксиса, обнаруживаются сначала в диалоге художественных произведений, в речи персонажей в качестве имитации устного говорения. При этом структурных изменений в данных конструкциях практически не происходит, с точки зрения синтаксической организации они совпадают с соответствующими конструкциями устного синтаксиса, насколько это возможно при имитации. Но зато, как и при всякой имитации, они становятся стилистически маркированными (сильными) как чужеродные синтаксические элементы, в отличие уже от слабых элементов письменной речи, которые состоят в синтаксической организованности, логизированности письменного повествования.

Вторая ступень вхождения — употребление заимствованных конструкций в авторской речи, обычно художественной и публицистической. Именно здесь, на второй ступени вхождения устных конструкций в письменную речь, и появляются экспрессивные синтаксические конструкции. Сущность проявления экспрессии состоит в том, что конструкция становится нарочито подчеркнутым синтаксическим элементом художественной речи, специальным приемом, который имеет целью не столько имитировать устную речь, сколько воздействовать на читателя. Придание разговорного оттенка авторскому художественному или публицистическому тексту не может служить художественной или прагматической задачей само по себе. Очень часто при употреблении экспрессивных синтаксических конструкций имеем дело с различного рода подтекстом, типология которого не является, к сожалению, разработанной⁵: вопросительные и восклицательные конструкции в монологе — это передача несобственно-прямой речи, парцелляция — часто ирония, именительный темы — известная

⁵ Понятие подтекста, хотя и очень популярное, не имеет четкого определения, особенно применительно к разным языковым уровням. Из последней литературы о подтексте см. [31, 32]. Характерно, что В. В. Виноградов, говоря о формах субъектно-изобразительного синтаксиса, называл их использование „приемом недоговоренности“ [4, с. 233—234].

патетика, цепочки номинативных предложений — создание впечатления внешней фрагментарности событий и т. п. См.: *Патия Аджиева... Эту престарелую женщину, что живет на улице Мира в Карачаевске, знают многие* (Правда, 1981, 29 мая); *Телингана... Выжженная равнина, покрытая жестким кустарником. Редкие заросли веерообразных пальм. Огромные гранитные валуны. Каменистая малоплодородная почва. Каждый клочок земли отвоевывается в борьбе с суровой природой* (Л. Шапошникова, По южной Индии).

Изменение стилистической тональности и приобретение экспрессивного значения и возникает как нарушение высокой синтетичности русского письменного литературного синтаксиса за счет более новых и соответственно более редких аналитических конструкций. Устный же синтаксис изобилует расчлененными построениями, они для него типичны. Поэтому понятие экспрессивного синтаксиса мы и связываем именно с авторской письменной формой речи. Е. А. Иванчикова даже на уровне речи персонажа иначе подразделяет формы синтаксиса, создающие образительность, на «разговорные» и «экспрессивные»: «Если синтаксические формы служат средством имитации непосредственности процесса самовыражения героя, то приемами экспрессивного синтаксиса передается высокая степень интенсивности чувств героя, сопровождающих его исповедальное повествование» [33, с. 87]. Набор синтаксических конструкций, принадлежащий этим разным уровням, оказывается недостаточно четко разграниченным, и в итоге автор приходит к следующему выводу: «Обнаруженные нами в тексте „Кроткой“ приемы аффективного синтаксиса — восклицания, возгласы, диалогизация монологической речи, повторы, градационные усиления, интонационное расчленение фразы, а также разнообразные комбинации этих приемов — густым слоем, как легко было убедиться, налагаются на разговорную основу монолога героя, и очень часто перед нами не просто „разговорная“ или не просто „экспрессивная“, а экспрессивно-разговорная форма речи, которую с трудом можно „расщепить“ на эти ее элементы» [33, с. 102]. Однако мы понимаем синтаксическую экспрессию более узко, связывая ее с авторским повествованием и конструктивным принципом — различными видами синтаксической расчлененности или ослабления синтагматических связей.

Во многих случаях на данной ступени возникают структурные изменения. Структурные возможности экспрессивных конструкций могут значительно расширяться сравнительно с соответствующими прототипами устного синтаксиса. В итоге конструкция становится во всех отношениях богаче. Этого момента не учитывают некоторые авторы, предполагающие даже отсутствие генетической связи параллельных образований (устной и письменной экспрессивных конструкций) и заимствованный характер книжных экспрессивных построений, например, именительного темы или обособленных определений, которые в начале прошлого века оценивались как галлицизмы [25, с. 68]. Упускается из виду, что на второй ступени вхождения в письменную речь, становясь экспрессивным приемом, та или иная конструкция увеличивает свои структурные возможности и на фоне этих конструктивных изменений, одновременных с интонационными и стилистическими, книжная «параллель» действительно уже далеко отходит от своего устного субстрата (ср., например, резкие интонационные изменения в именительном темы сравнительно с двойным подлежащим). Конструктивных изменений может и не быть, но все равно в письменный литературный синтаксис входит расчлененная конструкция, противопоставленная его синтетическому строю и синонимичная синтетическому варианту. Изменения конструктивного плана отмечаются не всегда (впрочем, эта

сторона недостаточно исследована), но четко прослеживаются в некоторых видах сегментированных структур [34], в конструкциях с лексическим повтором, в вопросительных конструкциях в условиях монолога (вспомним, что именно в монологической речи появились риторические вопросы, потерявшие первичную вопросительную функцию структуры, ставшие стилистико-синтаксической фигурой).

Третья ступень вхождения устных конструкций в письменный синтаксис знаменуется только стилистическим сдвигом, который выражается в некоторой нейтрализации экспрессивного оттенка, чему способствует распространение той или иной конструкции в таких разновидностях литературного языка, как научном, научно-популярном, некоторых жанрах публицистики. Возможно уменьшение экспрессивного оттенка и в условиях художественной и публицистической речи. Часто это связано с повышенной частотностью употребления или превращения конструкции в синтаксическое клише, например, употребление некоторых видов парцелированных конструкций в языке газет или сегментированных конструкций там же или в научном языке. Ср.: *Задача сложная. Но ленинградцы успешно решают ее* (Ленингр. правда, 1980, 28 августа); *Собрание уполномоченных. Каким ему быть?* (Известия, 1969, 5 июня); *Двоечники: сочинение или подчинение?* (название статьи А. Брагиной, сб. Современная русская пунктуация, М., 1979).

В итоге синтаксическая система обогащается новой конструкцией, которая стала или только становится стилистически нейтральной, но структурно отличающейся от своего устного прототипа. Разумеется, не все виды экспрессивных конструкций дошли до этой ступени, но многие уже этого достигли и встречаются как в экспрессивном использовании, так и в нейтральном, относительно нейтральном, ибо на смену экспрессивному значению приходит значение книжное, т. е. противопоставленное разговорному. Представим в виде таблицы наши наблюдения над вхождением слабых синтаксических конструкций устного синтаксиса в письменный литературный язык.

Виды речи	Стилистическая маркированность	Конструктивные изменения
Синтаксические конструкции устной речи	—	—
1. Литературный письменный язык (речь персонажей)	+	—
2. Литературный письменный язык. Авторская речь (художественная, публицистическая)	+	— +
3. Авторская речь, как художественная, так и нехудожественная (научная, научно-популярная).	—	+

Таблица демонстрирует динамический аспект русского экспрессивного синтаксиса. Однако эта динамика не столько диахроническая, сколько синхронная, ибо все ступени, включая ступень устного синтаксиса, представлены в современном состоянии русского языка одновременно. Деривация, отмеченная для конструкций экспрессивного синтаксиса, направлена как назад, в синтаксис устной речи, так и вперед, в нейтральные стили современного литературного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* Стиль «Пиковой дамы». — В кн.: Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980.
2. *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
3. Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., 1968.
4. *Гаспилене Н. А.* Экспрессивность как одна из языковых функций. — Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. Торева, 1972, вып. 65.
5. *Кузнецов В. Г.* Учение Ш. Балли о соотношении и роли интеллектуального и аффективного факторов в языке. — Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. Торева, 1976, вып. 94.
6. *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961.
7. *Матезиус В.* Язык и стиль. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
8. *Азманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
9. *Востоков В. В.* Об экспрессивном, эмоциональном и субъективно-модальном значениях в предложении. — В кн.: Проблемы лексикологии и семасиологии русского языка. Уч. зап. МОПИ им. Крупской. Тр. каф. русск. яз., 1977, вып. 9.
10. *Галкина-Федорук Е. М.* Об экспрессивности и эмоциональности в языке. — Сборник статей по языковедению. М., 1958.
11. *Винокур Т. Г.* Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.
12. *Шмелев Д. Н.* Слово и образ. М., 1964, с. 44.
13. Синтаксис и стилистика. М., 1976.
14. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1973.
15. *Арутюнова Н. Д.* О синтаксических разновидностях прозы. — Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. Торева, 1973, вып. 73.
16. *Рогова К. А.* Синтаксические средства в стилистике. — Вестник ЛГУ, 1978, № 2, серия истории, языка и литературы.
17. Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
18. *Акимова Г. Н.* Новые явления в грамматическом строе современного русского языка. — РЯНШ, 1980, № 5.
19. *Ковтунова И. И.* Стилистические варианты словорасположения в языке художественной прозы. — РЯНШ, 1969, № 4.
20. *Ванников Ю. В.* Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. М., 1979.
21. *Сквородников А. П.* Соотношение парцелляции и присоединения. — ВЯ, 1978, № 1.
22. *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1980, т. 21, с. 43.
23. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
24. *Попов А. С.* Именительный темы и другие сегментированные конструкции в современном русском языке. — В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского литературного языка. М., 1964.
25. Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971, с. 19—25.
26. *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976, с. 66—68.
27. *Коженикова Кв.* Спонтанная устная речь в эпической прозе. Прага, 1970.
28. *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966.
29. Русская разговорная речь: Тексты. М., 1978.
30. *Мухаржевский Я.* Литературный язык и поэтический язык. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
31. *Сильман Т. И.* Подтекст как лингвистическое явление. — ФН, 1969, № 1.
32. *Мыркин В. Я.* Текст, подтекст и контекст. — ВЯ, 1976, № 2.
33. *Иванчикова Е. А.* Синтаксис художественной прозы Достоевского. М., 1979.
34. *Акимова Г. Н.* Наблюдения над сегментированными конструкциями в современном русском языке. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976.

ИВЛЕВА Г. Г.

О ВАРЬИРОВАНИИ СЛОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Проблеме вариантности языка и вариантности языковых единиц уделяется в настоящее время большое внимание; наиболее интенсивно она разрабатывается в лингвистических исследованиях по русскому языку, хотя есть отдельные фундаментальные исследования в области английского, испанского, немецкого и других языков. Однако вопрос о варьировании лексических единиц еще трудно считать решенным, ибо многие аспекты этой проблемы (как с точки зрения функционирования языка, так и в плане специфики разных типов варьирования) требуют исследований на материале конкретных языков. При этом одной из центральных проблем остается проблема типов варьирования слов как одной из основных единиц языка. Слово очень многогранно, и его варьирование захватывает, как известно, самые различные звенья языкового механизма.

В современном языкознании подчеркивается, что возможность варьирования заложена в самой природе языка (см., например [2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22 и др.]). Действительно, процесс варьирования можно считать закономерным в языке, т. к. он характеризует языковые единицы различных уровней на разных этапах развития языка и является постоянным признаком языкового развития [3, с. 11—16; 5, с. 84—90; 15, 16, 18, 23 и др.], что обусловлено как экстралингвистическими, так и внутриязыковыми факторами: с одной стороны, условиями жизни людей, использованием лексики носителями языка, с другой стороны, структурно-семантическими особенностями самих лексических единиц, их взаимодействием в языке и речи, процессами заимствования. Указанные обстоятельства имеют значение не только для диахронии, но и для синхронии.

Чрезвычайно сложным является вопрос о границах, типах варьирования, о соотношении варьирования слов в плане выражения и в плане содержания, т. к. языковые единицы отличаются таким большим многообразием, что провести четкий рубеж между теми или иными языковыми явлениями данного порядка представляется иногда крайне затруднительным. Это относится не только к проблемам лексико-семантического варьирования слов, но и к проблемам морфологического, фономорфологического и других видов варьирования лексических единиц.

Разумеется, каждый вид варьирования слов характеризуется своей особой спецификой, что находит выражение соответствующим образом в их структуре. В. В. Виноградов писал о разнообразных «вариациях слов» — фонологических, экспрессивно-морфологических, фономорфологических, экспрессивно-стилистических, лексико-фразеологических формах и т. д. [6]. А. И. Смирницкий выделял фонетические, фономорфологические, морфологические (грамматические и словообразовательные), лексико-семантические варианты слов [17, с. 40—42]. Ф. П. Филин подразделяет варианты слов на фонематические, акцентологические, формально-грамматические [22].

Как видно из приведенных фактов, типология вариантов различна. Вряд ли правомерно ставить вопрос об универсальной их типологии, ибо

конкретные языки отличаются большим своеобразием. Поэтому типы и количество типов варьирования слов в разных языках, очевидно, в известной мере не совпадают.

Лексические единицы немецкого языка характеризуются многоплановой вариантностью. Варьирование распространяется на самые различные аспекты слова, начиная с его фонемного состава и кончая совокупностью изменяющихся значений. Чаще других описывается лексико-семантическое варьирование, реже — другие виды варьирования слова [ср. 8, 12].

Особенности вариантности, касающейся лексических единиц немецкого языка, еще недостаточно изучены. Естественно, она отличается в значительной степени, например, от вариантности слов в русском языке, т. к. морфологическое и фонеморфологическое варьирование лексических единиц не столь характерно для литературного немецкого языка. Его особенностью, в частности, является варьирование слов, связанное с региональной дифференциацией лексики. Прежде чем перейти к его рассмотрению, необходимо кратко остановиться на некоторых типах варьирования слов, которые имеют отношение к региональной дифференциации лексики немецкого языка.

Фонематическое варьирование слов в немецком языке охватывает как согласные, так и гласные звуки. Это могут быть варианты с различием «звонкий согласный — глухой согласный» (например, фрикативные лабиодентальные *v* и *f* в вариантах слова *Pulver* «порошок»), или варианты с различием «смычный носовой заднеязычный велярный согласный — смычный носовой переднеязычный альвеолярный согласный» (например, *ŋ* и *n* в вариантах слова *Kongruenz* «совпадение»); варианты с различием гласных (ср.: *Akkordeon* — *Akkordion* «аккордеон»), которые встречаются редко в литературном языке; есть также варианты с разным количеством фонем в фонемном составе (ср.: *Regelung* — *Reglung* «регулирование»; *silberig* — *silbrig* «серебристый»). Количество несовпадающих фонем колеблется от одной до трех.

Как и в других языках, в немецком языке функционируют акцентные варианты слова. Часть из них обусловлена процессами заимствования, контактиацией между языком-источником и адаптирующим языком, что выражается в акцентных колебаниях (ср.: *'inoffiziell* — *inoffi'ziell* «неофициальный», *Ki'osk* — *'Kiosk* «киоск», *'inkonstant* — *inkon'stant* «непостоянный, переменный»). В ряде случаев акцентные сдвиги вызваны влиянием также внутрисистемных языковых факторов [7, с. 46; 8, с. 145—146], что наблюдается в сфере именной и глагольной лексики (ср.: *'offenbar* — *offen'bar* «очевидный», *'ungeheuerlich* — *unge'heuerlich* «чудовищный; огромный», *ver'gegenwärtigen* — *vergegen'wärtigen* «представлять себе, воображать что-либо»), где играют роль особенности словообразовательной, слоговой структур и др. факторы [13].

Морфологические варианты слов в немецком языке обусловлены в большинстве случаев процессами заимствования и особенностями языкового ареала; они касаются колебаний в роде, ср.: *das Podest* — *der Podest* «лестничная площадка; подставка; трибуна»; *der Schemen* — *das Schemen* «призрак, тень»; *der Essay (Essai)* — *das Essay (Essai)* «очерк, этюд, эссе» (см. также примеры [8, с. 115—116]).

Существуют в немецком языке и фонеморфологические варианты слов. Некоторые из них связаны со словоизменением и наличием разных фонем в фонемном составе (ср. формы родительного падежа существительных *der Nachbar: des Nachbarn, des Nachbars* «сосед»; *der Bauer: des Bauern, des Bauers* «крестьянин»), другие — с колебаниями в роде и с разным количеством фонем в фонемном составе, а также и со словоизменением (ср.: *der Stapf, der Stapfen, die Stapfe* «след»). Иногда определенный фонемор-

фонологический вариант функционирует преимущественно в разговорном стиле языка [ср.: *der Plast* — *die Plaste* (разг.) «пластмасса»]. Встречаются и фономорфологические варианты слов, обусловленные образованием форм множественного числа (ср. существительное *der Ort*: *die Orte, die Örtler* «место»).

Наиболее распространенным видом варьирования лексических единиц в немецком языке является лексико-семантическое варьирование [10, с. 20—49], которое может выступать и в сочетании с синтаксическим варьированием [24, с. 72—78, 126—130]. Проблематика здесь настолько обширна, что она выходит за рамки данной статьи.

Как отмечал А. И. Смирницкий, «... при изучении того или иного конкретного языка во всем его объеме обычно приходится иметь дело не только с некоторым его образом, — например, с национально-литературным, — но и с различными его ответвлениями — диалектами, а также и жаргонами. При этом обнаруживается, что одни и те же слова в разных диалектах имеют свои диалектные особенности. В связи с этим возникает вопрос о диалектных вариантах слова» [17, с. 46]. При этом А. И. Смирницкий указывал, что такие варианты могут различаться и внешне (фономорфологически), и внутренне (по своей лексической семантике). Как известно, региональные различия в лексике составляют одну из специфических особенностей немецкого языка. Исторические и лингвосоциологические причины этого заключаются в своеобразии формирования и развития немецкой нации и национального литературного языка. Длительное сосуществование литературного языка и диалектов предопределило в значительной мере специфику развития словарного фонда немецкого языка [16, 29—31]. Попутно нельзя не заметить, что наряду с диалектными особенностями проявляются и более существенные различия регионального и культурно-исторического характера [8, с. 9; 12, с. 60—64; 18; 23, с. 110; 25, с. 19]. Речь идет о национальных вариантах немецкого языка, функционирующих в широких ареалах в качестве литературных языков других наций (ср., например, австрийский и швейцарский национальные варианты немецкого языка). В этом плане варьирование слов немецкого языка отличается многоаспектным характером. Хотя в современную эпоху наблюдается тенденция к сокращению функций диалекта [1, с. 153—157; 16, 27, 32], тем не менее региональные различия в лексике немецкого языка существуют.

В сочетании с региональной дифференцией отмечаются, например: фонематическое варьирование слов (ср.: австр. *stabil* [ʃtabi : l] — *stabil* [stabi:l] «стабильный»; австр. *Suada* — *Suade* «поток слов»), акцентно-фонематическое варьирование слов (ср.: *'Tunnel* ['tu:nəl] — *Tunñel* [tuñel] южнонемецк. «туннель»), морфологическое варьирование (ср.: *das Radio* — *der Radio* диал. разг. «радио»).

Взаимодействие общелитературной и региональной лексики сопровождается разносторонними процессами в немецком языке, что отражается в варьировании конкретных слов и в их языковом статусе. Например, существительное *der Hafer* «овес» исторически возникло как нижнегерманский фонематический вариант к слову *der Haber*, которое в новонемецком периоде было вытеснено нижнегерманским вариантом *Hafer*, прочно утвердившимся в языке. Форма *Haber* встречается теперь в южногерманских диалектах, а также в австрийском и швейцарском ареалах немецкого языка и выступает на правах фонематического и регионального варианта к *Hafer*. Этот факт наглядно показывает, как с развитием языка и в результате взаимодействия общелитературной и региональной лексики меняется употребительность и характер функционирования отдельных

слов (исторически форма *Haber* соотносится с др.-в.-нем. *habaro* и ср.-в.-нем. *habere*, она — более древняя, чем форма *Hafer*).

Фонематическое варьирование, сопряженное с региональной дифференциацией, наблюдается и в глагольной лексике [ср. глагол *hocken* и его региональный (восточнонемецкий, нижненемецкий) фонематический вариант *hucken* «сидеть съёжившись»].

С региональной дифференциацией лексики связаны и другие типы вариантов слов, например, фonomорфологические [ср. *die Socke* — *der Socken* «носок» (южнонем., австр., швейц.)].

Региональные особенности немецкой лексики отражаются и в семантической структуре слов: у некоторых лексических единиц есть лексико-семантические варианты, которые характеризуются определенными региональными ограничениями. Так, у глагольной единицы *einhalten* основной лексико-семантический вариант (далее — ЛСВ) «выполнять, соблюдать, выдерживать» (*die Vorschrift einhalten* «соблюдать инструкцию»), а в производном варианте («прекращать, прекращаться, приостанавливать») она теперь употребительна в южнонемецких диалектах, в австрийском ареале немецкого языка: *Die Musik hielt ein*. Эта глагольная единица встречается также с возвратной местоименной частицей *sich*, что характерно, как отмечается в словаре Р. Клаппенбах и В. Штайнитца, для южнонемецких диалектов [ср.: *Gestatten Sie, daß ich mich an Ihnen einhalte* (В. Brecht, *Leben des Galilei*)]. Существительное *das Quartier* характеризуется основным лексико-семантическим вариантом «квартира, жильё» (*Sie suchten (ein) Quartier für den Urlaub an der Ostsee*). По производному варианту («городской» квартал) оно используется в средненемецких, южнонемецких диалектах, в швейцарском ареале немецкого языка (*In diesem Quartier befinden sich die größten Läden*).

Провести четкое разграничение разных типов вариантов слов порою очень сложно, т. к. они могут пересекаться с другими языковыми факторами, например, со стилистической дифференциацией отдельных лексических единиц. В немецком языке совмещаются в достаточно обширных группах слов разные виды варьирования. А. И. Смирницкий писал, что «различие между языковыми образованиями в их стилистической характеристике не делает их разными словами. Таким образом, стилистически могут различаться не только слова, но и отдельные варианты одного и того же слова. Это непосредственно определяется самым существом взаимоотношений между разными моментами в слове...» [17, с. 43]. «Не создавая само по себе различия между словами, различие в стилистической характеристике может сочетаться с любым структурным различием между вариантами одного слова» [17, с. 44]. Он подчеркивает, что «стилистическое различие, сопровождая то или другое различие между фonomорфологическими вариантами слова и, таким образом, находя свое выражение в этом последнем различии, не перерастало в различие уже собственно семантическое» [17, с. 44]. О. С. Ахманова обращает внимание на то, что если «стилистическая дифференциация вариантов перерастает в дифференциацию семантическую, то вместо одного слова получается два» [2, с. 202]. Н. И. Филичева на конкретном языковом материале немецкого языка показывает, что стилевая дифференциация может касаться и отдельных лексико-семантических вариантов слова [24, с. 67—75]. Хотя стилевая вариативность, как отмечает Р. Гроссе, присуща в большой степени современному литературному языку [28, с. 403], она сочетается иногда и с региональной дифференциацией лексики.

В литературном языке стилевая дифференциация может распространяться на фонематическое варьирование слов [ср.: *Melodie* — *Melodei*

(поэтич.) «мелодия»], фонеморфологическое [ср.: *das Land: die Länder — die Lande* (поэтич.) «страна»], морфологическое [ср.: *das Ozon — der Ozon* (разг.) «озон»].

Как указывалось выше, стилевая дифференциация касается нередко и отдельных лексико-семантических вариантов слов, т. к. семантическая структура слова отличается большой лабильностью. Глагол *fertigen* имеет основной ЛСВ «изготавливать, делать» (*etw. industriell fertigen*), его производный ЛСВ «подписывать» (*einen Brief fertigen*) стилистически окрашен, имеет высокую (приподнятую) стилевую окраску и даже архаичен.

Иногда региональный морфологический вариант того или иного слова может быть стилистически маркирован [ср. *das Radio — der Radio* (диал. разг.) «радио». Также и лексико-семантический вариант конкретного слова, характеризующийся региональным ограничением, может быть стилистически маркирован. Примером может служить глагол *dunsten*. Основным у него является ЛСВ «испаряться» (*Die feuchte Erde dunstet*), производный ЛСВ — «ждать» (*Man hatte den Ofen zum erstenmal in Betrieb genommen, und er dunstete noch*), второй производный от основного варианта «заставлять к.-л. ждать, оставлять к.-л. в неведении» отличается большей степенью абстракции и характерен для разговорного стиля в австрийском варианте немецкого языка [*Hätte Herr Rives Verstand im Kopf, würde er... Bernadette und ihre Eltern bis morgen... dunsten lassen* (Fr. Werfel, *Das Lied von Bernadette*)].

Как известно, варьирование слова (изменение его звукового состава или семантическое изменение) основывается на сохранении тождества слова [2, с. 109—110, 192—195; 4, с. 102; 17, с. 35—47]. Это действительно по отношению к разным видам вариантности лексических единиц, в том числе и тогда, когда она совмещается с региональной дифференциацией. Во многих лингвистических работах утверждается, что пределом формального варьирования слова может быть синонимия [2, с. 214, 230; 15, с. 18; 19, с. 155]. Классическим примером являются в этом смысле прилагательные *sacht* и *sanft*. Различия в звуковой оболочке привели в ходе развития и к семантической дифференциации, однако при сохранении известной семантической общности. Ср. следующие примеры: ЛСВ «нерезкий, легкий, осторожный» [*Mit einer sachten Bewegung strich er diese unsinnige Locke weg... (A. Seghers, Das siebte Kreuz); Ich beobachtete ihre sanften Bewegungen vor dem Spiegel (E. M. Remarque, Drei Kameraden)*]; ЛСВ «тихий, нерезкий» [*Und die ölige, sachte Stimme des Netzmeisters.. (H. Fallada, Wer einmal aus dem Blechnapf frißt); Das ist die klare, sanfte Stimme Katrin Klees (E. Neutsch, Spur der Steine); Der Apparat sollte in Gang kommen. Da... auf einmal... ein sachter Ton (L. Welskopf-Henrich, Jan und Jutta); Er lauschte den sanften Tönen der Geige (Th. Mann, Erzählungen)*]; ЛСВ «пологий» [*Weich und sacht fallen die Felder ab... (A. Seghers, Op. zit.); Felder, die sanft abfielen bis zum Wald (H. Otto, Zeit der Störche)*]¹; ЛСВ «легкий, слабый, проявляющийся не в полную силу» [*«Nein, — sagt Pinneberg und ärgert sich sachte (H. Fallada, Kleiner Mann — was nun? Joachim, mit seiner sanften Zähigkeit, erwiderte... (Br. Reimann, Die Geschwister)*]. Однако у прилагательного *sanft* объем семантического содержания шире: у него есть целый ряд лексико-семантических вариантов, которые не свойственны *sacht* (ср.: *sanfte Haut*; *sanftes Licht, sanfte Farben; sanfte Luft, Wärme; sanftes Wesen, sanfter Charakter; sanfter Blick, sanftes Lächeln* и т. д.). Первоначально же *sacht* было нижненемецким соот-

¹ Здесь отмечаются различия в лексической и синтаксической сочетаемости, ср.: *sanftes Hüggelland, sanfte Hänge, Waldberge, Anhöhe*, в то время как *sacht* в этом варианте редко встречается в атрибутивной функции.

ветствием верхненемецкому *sanft*. Если исторически имело место фонематическое региональное варьирование, то с течением времени в результате определенной семантической дифференциации образовались два самостоятельных слова, между которыми существуют синонимические отношения (причем *sanft* имеет приподнятую стиливую окраску, а *sacht* чаще функционирует в разговорном стиле). Еще одним примером могут служить существительные *Knopf* и *Knauf*. Слово *Knopf* широко распространено в современном немецком языке [ср. ЛСВ «пуговица», «кнопка звонка», «набалдашник», «округлая дверная ручка», «узел» (австр. разг.) и др.]. Исторически путем аблаута к нему возникла форма *Knauf*, которая функционировала как фонематический вариант и первоначально семантически не отличалась от *Knopf*. В современном языке — это два разных слова, обнаруживающие синонимические связи [ср. ЛСВ *Knauf* «набалдашник», (архит.) «капитель», «округлая дверная ручка» и др.].

Общезвестно, что основой тождества слова является его лексико-семантический стержень. Вместе с тем для сохранения единства слова «большое значение имеет то, каким образом в данном конкретном слове соотносится „внутренняя сторона“ с „внешней“, каким образом и какими языковыми средствами выражается данное значение» [2, с. 192]. Остается кардинальным вопрос, в каких пределах конкретного слова допустимо сосуществование весьма разнообразных лексико-семантических вариантов, не нарушающих его тождества. Большую роль играют здесь семантические процессы. Когда происходит утрата внутренней связи между лексико-семантическими вариантами, наблюдается семантическая дивергенция и как предел лексико-семантического варьирования слов констатируется омонимия (т. е. сохраняются фонетические связи при наличии семантической дифференциации [2, с. 110; 4, с. 102; 15, с. 16—17; 26]). Это характерно и для лексико-семантического варьирования слов, сочетающегося с региональной дифференциацией (ср. функционирование нем. *Boden* в южнонемецких диалектах по варианту «этаж», а в севернонемецком диалекте и в австрийском ареале немецкого языка — по варианту «чердак»: в результате нарушения связи между лексико-семантическими вариантами в современном немецком языке образовалось два слова, между которыми возникли омонимические связи)] [10, с. 28—29].

Таким образом, процесс варьирования слов в немецком языке далеко не всегда происходит односторонне, нередко он осложняется взаимодействием нескольких языковых факторов, но во всех случаях предполагает наличие константных и переменных элементов, которые выражаются в структурных и семантических особенностях слов и которые не приводят к нарушению тождества слова. Характер вариантности слов в разных языках складывается по-разному. Варьирование является одним из способов существования лексических единиц. Отражаемые в синхронии варианты слов формируются исторически и связаны с развитием языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемы языкознания ГДР. Язык — общество — идеология. Под общ. ред. Чемоданова Н. С. М., 1979.
2. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
3. Ахманова О. С. Отличительные черты советского языкознания. — В кн.: Проблемы современной лингвистики. М., 1968.
4. Будагов Р. А. Язык, история и современность. М., 1971.
5. Будагов Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977.
6. Виноградов В. В. О формах слова. — В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды по русской грамматике. М., 1975, с. 38—47.
7. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма. Л., 1978.
8. Домашнев А. И. Очерк современного немецкого языка в Австрии. М., 1967.

9. *Земская Е. А.* Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
10. *Ивлева Г. Г.* Семантические особенности слов в немецком языке. М., 1978.
11. *Маковский М. М.* Опыт типологической характеристики лексико-семантических систем.— ВЯ, 1969, № 3.
12. *Москальская О. И.* Вариантность и дифференциация в лексике литературного немецкого языка.— В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М., 1969.
13. *Попов В. С.* Глаголы с варьируемой акцентной структурой в современном немецком языке.— В кн.: Глагол в немецком языке. Тула, 1979, с. 60—63.
14. *Рогожников Р. П.* Варианты слов в русском языке. М., 1966.
15. Семантическое и формальное варьирование. Под ред. Ярцевой В. Н. М., 1979.
16. *Семенюк Н. Н.* К типологии форм существования немецкого языка. В кн.: Проблемы общего и германского языкознания. М., 1978.
17. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956.
18. *Степанов Г. В.* К проблеме языкового варьирования. М., 1979.
19. *Степанов Ю. С.* Основы языкознания. М., 1966.
20. *Степанова М. Д.* Вопросы лексико-грамматического тождества.— ВЯ, 1967, № 2.
21. *Уфимцева А. А.* Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968.
22. *Филин Ф. П.* О слове и вариантах слова.— В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М., 1963.
23. *Филин Ф. П.* О структуре современного русского языка.— В кн.: Русский язык в современном мире. М., 1974.
24. *Филичева Н. И.* Синтаксические поля. М., 1977.
25. *Шейцер А. Д.* Литературный английский язык в США и Англии. М., 1971.
26. *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык. Лексика. М., 1977, с. 78—91.
27. Beiträge zur Soziolinguistik. Halle (Saale), 1974.
28. *Große R.* Die soziologischen Grundlagen von Nationalsprache und Literatursprache, Umgangssprache und Halbmundart.— Deutsch als Fremdsprache, 1969, № 6.
29. *Guchman M. M.* Die Literatursprache.— In: Allgemeine Sprachwissenschaft. Bd. I. Berlin, 1973, S. 412—414.
30. *Riesel E.* Stilistik der deutschen Sprache. M., 1963, S. 89—99.
31. *Riesel E., Schendels J.* Deutsche Stilistik. M., 1975.
32. *Schippan Th.* Zur Wortschatzentwicklung in der DDR.— Deutsch als Fremdsprache, 1979, № 4.
33. *Klappenbach R., Steinitz W.* Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. I—VI. Berlin, 1968—1978.
34. Das große deutsch-russische Wörterbuch. Hrsg. von Moskalkaja O. I. Bd. I—II. Moskau, 1969.
35. Der große Duden. Bd. 7.— Etymologie. Mannheim, 1963.
36. *Paul H.* Deutsches Wörterbuch. Halle (Saale), 1959.
37. Österreichisches Wörterbuch. Wien, 1979.
38. *Stock E.* Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig, 1964.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Пиотровский Р. Г. Инженерная лингвистика и теория языка. — Л.: Наука, 1979. 111 с. + 1 схема.

В наше время окончательно отвергнут крайний операционализм, характерный для ряда лингвистических работ, получило трезвую оценку хомскианство [1] и другие идеалистические течения в науке о языке [2]. Вместе с тем все прогрессивные идеи и методики, выработанные структурной и математической лингвистикой, находят применение в исследовательской практике. Свидетельством тому можно считать и рецензируемую книгу Р. Г. Пиотровского.

Книга посвящена вопросу о том, какую роль наука о языке может и должна играть в решении практических народнохозяйственных задач по лингвистическому обеспечению автоматизированных систем научно-технической информации и управления. На этом фоне основательно рассмотрены некоторые методологические функции языкознания: как диалектико-материалистическая теория языка используется инженерной лингвистикой — чисто прикладной наукой — и каким образом последняя обогащает науку о языке.

В первой главе показана проблематика кибернетической лингвистики. Исследователю приходится работать с труднонаблюдаемыми, а иногда и ненаблюдаемыми лингвистическими объектами (ср., например, вероятностно-информационные характеристики слова и вообще системные связи плана содержания), в отличие от так называемых «классических» лингвистических исследований. Хорошо показано принципиальное отличие идеальной лингвистической модели от воспроизводящей инженерно-лингвистической модели как формальной системы, построение и поведение которой не только имитирует микроструктуру объекта, но и воспроизводит этот объект.

Говоря о методологических функциях инженерной лингвистики, Р. Г. Пиотровский показывает, что инженерно-лин-

гвистическое моделирование служит надежным средством проверки жизнеспособности некоторых лингвистических теорий. Однако более важно другое, что подчеркнуто автором: инженерно-лингвистическое моделирование обнаруживает скрытые от прямого наблюдения теоретические парадоксы и делает попытку их разрешения.

Во второй главе рассмотрено моделирование информационного процесса. В качестве предпосылок берутся сущность лингвистического знака и информационного процесса. Языковой знак может изучаться не только в плане выражения и в плане содержания, но и в плане интерпретации сообщения потребителем. Этот тезис развернут Р. Г. Пиотровским на основе описания интеллектуально-коммуникативных функций абонента и уровня готовности, восприятия и обучения приемника сообщения.

Прежде чем излагать существо машинного моделирования лингвистического знака, Р. Г. Пиотровский рассмотрел особенности переработки текста в мозгу человека (с учетом достижений, которыми располагают современная нейрохирургия, психология, лингвистика). Здесь еще раз внимание читателя обращено на то, что словесно-лингвистическая память располагает механизмами обобщения и сжатого представления; в языковом знаке сведений, получаемых от рецепторов, так что в слове, как пишет автор, «одновременно „упаковано“ большое число дополнительных коннотативных значений» (с. 25). Вот почему человек, в отличие от машины, при восприятии и порождении текста способен, пользуясь многоканальным и многоуровневым эвристическим поиском, переходить от словарных слов к их текстовым значениям, обобщать получаемую информацию и принимать решение.

Наибольший интерес у языковедов всех

направлений и школ вызовет, по-видимому, глава третья «Парадоксы инженерной лингвистики». Еще 30 лет назад казалось, что человечество стоит накануне массового, «промышленного» перевода текстов с одного языка на другой. Однако сенсационные эксперименты по машинному переводу и кажущаяся простота создания универсальных семантических кодов, необходимых для машинного перевода, скоро сменились полным разочарованием. В чем же дело?

Р. Г. Пиотровский, опираясь на анализ работ советских и зарубежных авторов по исследованию информационной и семантической природы языка, показывает, почему алгоритмы машинного перевода оказались непригодными для решения практических задач, т. е. для создания лингвистических автоматов, способных осуществлять хотя и грубую, но массовую переработку научно-технических документов. Опыт показал, что естественный человеческий язык не терпит никаких лобовых формализаций на ЭВМ. Вот почему и традиционные грамматики, и словари оказались неприемлемыми для этой цели. Создается, таким образом, барьер, который отделяет лингвистику от математики и вычислительной техники. Суть этого барьера в следующем. Ни на один лингвистический объект нельзя перенести в «готовом виде» исходные понятия математики и теории алгоритмов (например, классические конечные множества и т. п.). Несмотря на то, что в языке и речи встречаются (хотя и редко) совокупности объектов в виде конечных множеств (например, алфавит, набор словоформ в парадигме и т. п.), подавляющее большинство множеств лингвистических единиц имеет такую природу, что теория и практика программирования не в состоянии оперировать ими так же, как классическими множествами. Р. Г. Пиотровский указывает на три основных особенности лингвистических множеств: их толерантную организацию, потенциальную бесконечность и нечеткость (размытость) их границ (с. 37).

По-видимому, наиболее существенной остается толерантность (т. е. неполная одинаковость) лингвистических множеств, особенно при рассмотрении единиц языка на семантическом уровне, когда асимметрия плана выражения и плана содержания проявляется наиболее ярко. Автор подчеркивает, что в этом заключается главная причина возникновения барьера отторжения, который мешает формализации языка и речи. На нескольких примерах Р. Г. Пиотровский объясняет природу этого барьера отторжения. Если противопоставить естественные и искусственные языки, в том числе и языки ЭВМ, то можно обнаружить пять парадоксальных антиномий. Первая и важнейшая из них — это антиномия толерантности естественного языка и эквивалентно-

сти искусственного языка. Ценно то, что именно в нашей отечественной инженерной лингвистике отработаны некоторые приемы моделирования лингвистических толерантных множеств с помощью традиционных эквивалентных множеств.

Второй парадокс — парадокс потенциальной бесконечности лингвистических множеств. Современные лингвистические автоматы используют конечные множества, а бесконечные и полиморфные лингвистические множества (прежде всего словарь языка) при нынешнем уровне электронно-вычислительной техники в ближайшем будущем не поддаются воспроизведению в лингвистических автоматах. Нам представляется, что эту антиномию можно значительно ослабить, если иметь в виду разработку алгоритмов перевода текстов, относящихся к специальным подязыкам. Лексикон большинства подязыков может быть значительно приближен к неким конечным множествам, если для вероятностного моделирования каждого из них обработать выборку текстов однородной тематики до 0,5 млн. словоупотреблений.

Третий парадокс — это «парадокс Ахиллеса и черепахи». Эпоха НТР характеризуется бурным ростом словарного состава языков, значительными изменениями в их семантике, неожиданными метафорическими сдвигами, даже внезапными изменениями на некоторых участках парадигм. Если учесть, что на изготовление каждого автоматического словаря требуется несколько лет, то легко понять, что «новый» словарь, не успев родиться, в какой-то мере устаревает. Пути хотя бы частичного преодоления этого парадокса можно искать лишь в резком сокращении сроков подготовки автоматических словарей, что, в свою очередь, снова потребует более эффективного применения ЭВМ в лингвистической обработке материала, большей автоматизации лингвистических исследований прикладного характера.

Известно, что успешный обмен информацией предполагает наличие обратной связи между отправителем и получателем речи. Традиционный лингвистический парадокс языка и идиолекта (это четвертый парадокс) преодолевается тем, что люди приспосабливаются к индивидуальным интересам друг друга в процессе передачи текстовых сообщений. Иное дело в системе «человек—машина—человек». Если отправитель сообщения может прогнозировать информационную готовность автомата (приемника сообщения), то автомат полностью лишен этой способности, и обратная связь между двумя индивидуумами при использовании лингвистического автомата практически не устанавливается, что и усиливает эффект отторжения. Однако наиболее острой антиномией, которая возникает при формализации языка и речи, является, по

мнению Р. Г. Пиотровского, парадокс между нечеткостью лингвистических объектов и четкостью эквивалентных множеств и их элементов. Единицы основных уровней языка и в самом деле суть нечеткие множества. Еще никто не мог определить, например, границы между разными функциональными стилями; нельзя указать и на то, какие конкретные лингвистические объекты отличают один субъязык от другого, не всегда возможно разграничить полисемию и омонимию и т. п. Примером названий частей суток Р. Г. Пиотровский подтверждает данную антиномию. В указанных парадоксах заключается, конечно, уникальное свойство любого человеческого языка и его принципиальное отличие от искусственных семиотических систем.

Но современные процессы в развитии общества, небывалое увеличение потока информации, необходимость ее переработки вынуждают инженерную лингвистику искать пути, пусть даже частичного, преодоления лингвистических парадоксов, чтобы автоматы смогли выдавать хотя бы основную информацию, содержащуюся в тексте. Один из путей разрешения парадоксов автор книги видит в использовании приема «сгущения» реальных лингвистических нечетких множеств в четкие множества лингвистического описания, что, кстати говоря, имеет место имплицитно и в традиционном теоретическом языкознании (Р. Г. Пиотровский иллюстрирует это материалом русского и французского языков). Однако метод сгущения реальных нечетких множеств в целом неэффективен в решении инженерных лингвистических задач. Периферийные элементы нечетких множеств (например, низкочастотные слова в частотных словарях субъязыков) обладают наибольшей информативностью. Поскольку они не попадают в автоматический словарь (ввиду ограниченного объема памяти современных ЭВМ и других причин), неизбежна некоторая потеря смысловой информации при переработке текста, ее новизны. Можно полагать, что это противоречие между природой естественного языка и возможностями автоматизации лингвистических работ при современном состоянии и перспективах развития вычислительной техники вряд ли может быть разрешено в ближайшее время. Теперь всем понятно, почему попытки применить идеи теории множеств к языку и создать универсальный язык-посредник не удалась. Несостоятельность этих направлений в языкознании совершенно очевидна. Р. Г. Пиотровский подчеркивает, что усилия алгебраической лингвистики сыграли, однако, и положительную роль для последующего развития инженерной лингвистики: был разработан соответствующий аппарат, а полученные

результаты заставили языковедов задуматься над самой природой отторжения и обратиться к лингвостатистике и информационным измерениям текста. Результатом этой переориентации в лингвистической науке явилось, в частности, рождение теории нечетких множеств и лингвистической переменной [3, 4], а также оформление концепции толерантных множеств [5, 6].

В четвертой главе Р. Г. Пиотровский дает реальную оценку достижениям, которые сделаны на путях к созданию лингвистических автоматов. В разработке аппарата нечетких множеств и толерантных пространств сделаны пока самые первые шаги, а возможности использования этого аппарата еще совсем неясны. Актуальной задачей инженерной лингвистики остается дальнейшее исследование путей ослабления эффекта отторжения в ходе построения лингвистических автоматов, с учетом лингвистических аспектов искусственного интеллекта.

В заключительной части книги подведен итог обсуждению всего материала, представленного в монографии, и еще раз дана трезвая оценка хомскианской концепции языка — ее полной неприемлемости к изучению речевой деятельности человека и непригодности для целей машинного моделирования языка и речи.

Рецензируемая книга Р. Г. Пиотровского — отрадное явление в нашей лингвистической науке. Она не только знакомит читателя с достижениями и перспективами развития едва ли не самой молодой отрасли лингвистики, но и вооружает методологически, учит объективно оценивать факты и теоретические концепции.

Береснев С. Д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Филлин Ф. П. Некоторые вопросы современного языкознания. — ВЯ, 1979, № 4.
2. Будагов Р. А. Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978.
3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976.
4. Gaines B. R., Kohout L. J. The fuzzy decade: A bibliography of fuzzy systems and closely related topics. — International journal of man-machine studies, 1977, v. 9, № 1.
5. Зимап Э., Бьюнеман О. Толерантные пространства и мозг. — В кн.: На пути к теоретической биологии. I. Прологомены. М., 1970.
6. Андреев Н. Д. Квазилингвистика Хомского. — ВЯ, 1976, № 5.

Socialinės lingvistikos problemos. — Vilnius: Mokslas, 1979. 194 p.

Очередной, XIX том «Вопросов литовского языкознания», издаваемых Институтом литовского языка и литературы АН ЛитССР, посвящен проблемам социолингвистики. Как известно, 70-е годы в языковедении ознаменовались повышением интереса к социальной стороне языка, стремлением преодолеть ограниченность внутрискруктурного подхода к его анализу.

9 сентября 1976 г. состоялось заседание Президиума АН СССР, на котором обсуждался вопрос «О научной разработке проблем функционирования и изучения русского языка в национальных республиках». 4 марта 1977 г. при Президиуме АН СССР была проведена XXXIV сессия Совета по координации научной деятельности академий наук союзных республик. Принятое на сессии постановление «О работе филологических учреждений АН СССР, республиканских академий и филиалов АН СССР по оказанию научно-методической помощи школам и вузам в преподавании и распространении русского языка» определило направление работ в академиях наук союзных республик.

Активизации социолингвистических исследований в Литве способствовало создание в 1974 г. в рамках упомянутого академического института специальной группы социолингвистики. Представление о проблематике и характере проводимых в республике исследований дает состоявшаяся в феврале 1978 г. научная конференция «Проблемы социальной лингвистики и литовский язык». В этой первой социолингвистической конференции, организованной Институтом литовского языка и литературы, приняли участие преподаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских учреждений Литвы, а также московские ученые, разрабатывающие общую теорию социальной лингвистики, исследующие закономерности языковой жизни Советского государства, особенности билингвизма в отдельных регионах, развитие национально-русского двуязычия, языковые контакты. По материалам данной конференции и составлен предлагаемый вниманию читателя сборник.

Сборник открывается статьей Ю. Д. Дешериева «Современное состояние социолингвистики в СССР и актуальные проблемы развития языковой жизни советского общества», которая, с одной стороны, знакомит читателей с масштабом проводящихся в нашей стране социолингвистических исследований, с другой, — намечает пути дальнейшего развертывания социолингвистической работы.

Автор анализирует основные закономерности функционирования языков

многонациональной Страны Советов, где осуществляется ленинская национальная политика, обеспечивающая беспрепятственное развитие наций, народностей, их культуры и языков. В статье содержатся конкретные цифры и факты, неопровержимо свидетельствующие о повышении роли национальных языков в общественно-политической и культурной жизни, в сфере науки и производства.

Вместе с тем автор особое внимание уделяет проблеме развития национально-русского двуязычия. «Национальные языки и русский язык как язык межнационального общения дополняют друг друга в совместной жизни и деятельности советских людей в условиях развитого социализма. Все это обуславливает жизненную необходимость в развитии и повсеместном распространении национально-русского двуязычия во всех союзных, автономных республиках, областях и округах» (с. 10). Отмечая необходимость единого языка межнационального общения для многоязычной страны, Ю. Д. Дешериев перечисляет и те факторы, которые выдвинули на эту роль именно русский язык. Автор детально освещает основные социальные функции русского языка, рассматривая его как: 1) национальный язык русского народа, 2) язык межнационального общения народов СССР, 3) один из языков международного общения, 4) источник обогащения и развития языков советских народов.

В статье положительно оцениваются проводимые в ЛитССР социолингвистические исследования, отмечается, в частности, актуальность и важность их проблематики, в теоретическом и практическом планах высокий профессиональный уровень выполнения, верная ориентация на практические нужды языковой жизни республики. Особо подчеркивается перспективность осуществляемых в республике исследований по проблемам функционирования и распространения литовско-русского двуязычия, развития литовского языка и возрастания роли русского языка в Литве как средства межнационального общения.

Своеобразную конкретизацию применительно к местным условиям и детализацию проблем, выдвинутых в работе Ю. Д. Дешериева, представляет собой статья В. Ю. Михальченко «Актуальные социолингвистические проблемы языковой жизни Литовской ССР».

Автор справедливо утверждает, что «актуальность социолингвистической проблематики определяется тем, насколько она способствует исследованию основных закономерностей, ведущих тенденций языкового развития на современном этапе и правильной марксистской

оценке процессов функционирования и развития языков в прошлом, а также прогнозированию языковой жизни» (с. 29). Исходя из этих критериев, В. Ю. Михальченко наиболее актуальными считает следующие направления социолингвистических исследований, осуществляемых в республике: 1) изучение вопросов функционирования и развития литовского языка, 2) исследование основных тенденций функционирования и распространения в республике русского языка как средства межнационального общения. Каждое из выделенных направлений получает в статье подробное освещение с указанием того, что уже сделано лингвистами, а что еще предстоит сделать.

Обзорный характер носит статья В. А. Ивановой «О развитии исследований по теме „Русский язык как средство межнационального общения“ в филологических институтах АН СССР и национальных республик». Статья знакомит читателей с работой сектора изучения русского языка как средства межнационального общения, созданного в Институте русского языка АН СССР в 1975 г. Уже опубликованы две монографии «Русский язык как средство межнационального общения» (М., 1977) и «Русский язык в национальных республиках Советского Союза» (М., 1980). Тем самым внесен определенный вклад как в плане теории, так и в области практического решения вопросов, связанных с функционированием русского языка в национальных республиках.

Институту русского языка и Институту языкознания АН СССР поручено также координировать работу отделов русского языка республиканских академий. В конце 1977 г. сектором Института русского языка совместно с отделами русистики республиканских академий были составлены планы работы этих отделов. Автор обращает внимание на то, что «главной задачей сейчас является разработка актуальных и крупных проблем развития русского языка как средства межнационального общения и усиление практической помощи педагогическим институтам национальных республик в улучшении преподавания русского языка в национальных школах и вузах, в особенности в плане подготовки и обсуждения учебников по русскому языку с целью их унификации и повышения качества» (с. 34).

Особый интерес представляют конкретные исследования ученых Литовской ССР, посвященные проблемам функционирования и преподавания русского языка в республике.

Статья В. Шярыса «Некоторые педагогические и социологические аспекты обучения нескольким языкам в школе» посвящена чрезвычайно актуальной для языковой жизни республики проблеме

интенсификации обучения языкам, как родному, так и неродным. Основное внимание в работе уделено факторам, способствующим развитию автономного сознательного дифференцированного многоязычия у учащихся.

Проблема обучения русскому языку затрагивается и в статье Ю. Корсакаса «Функционирование родного и русского языков в школах Советской Литвы». Основная задача исследователя — определить объем репродуктивного русского словаря выпускников школ с литовским языком обучения. Ю. Корсакас в своей работе применяет интересную методику, позволяющую, по мнению автора, получить объективное (количественное и качественное) представление о степени освоенности вчерашними школьниками русско-разговорно-бытовой лексики.

Статья Н. Мяркене «Функционирование и преподавание русского языка в сфере высшего образования Литовской ССР» также посвящена задаче совершенствования обучения русскому языку в национальной высшей школе, но в силу объективных причин представляет собой не столько решение проблемы, сколько ее постановку, что при почти полной теоретической неразработанности вопроса также является актуальным.

Исследование М. Сивилкене «О двуязычии сельского русского населения Литовской ССР» проводится на лексическом материале русских старожилов диалектов Литвы. Диалектолог интересуется внутрорегиональное контактирование языковых островов, вкрапленных в иной языковой массив. Характеризуя различные типы двуязычия, свойственные районам с этнически смешанным населением, автор особо останавливается на явлениях интерференции, вскрывая как их лингвистическую природу, так и социальные корни.

В статье Л. Пажусиса «Активизация и ретардация употребительности исконных слов в иммигрантском языке» также анализируется взаимодействие социальных и собственно лингвистических факторов, вызывающих изменения в языке. Так, на интенсивности использования лексики литовского языка в Северной Америке (США и Канаде) сказались, с одной стороны, условия функционирования его как иммигрантского и, с другой, — лексическая интерференция государственного английского (в его американском варианте) языка. Исконный лексический состав литовского языка подвергался, по удачному выражению автора, испытанию на социальную актуальность, следствием чего является активизация (расширение) и ретардация (сокращение) употребительности тех или других лексем.

Цель и задачи статьи Л. Драздаускаене «Формы, семантика и роль фатической функции в процессе коммуникации» яв-

ствуют уже из названия. В работе привлекает тонкость лингвистического анализа, позволяющая автору выявить особенности (вплоть до нюансов) форм реализации контактоустанавливающей функции в английском и литовском языках. Проведенное на обширном, функционально разнообразном лингвистическом материале исследование послужит базой дальнейших теоретических обобщений.

В очерке «Лингвистическое и социальное соотношения кодификации и нормы» его автор П. Кнюкшта анализирует критерии, применяемые при кодификации языковой нормы (узуса), выдвигая на первый план два основных: социальный критерий целесообразности и лингвистический — системности. К сожалению, в статье не показано, в чем заключается сущность критерия целесообразности в применении к конкретному языковому материалу. В то же время, когда автор обращается к вопросу о норме употребления отдельных языковых явлений, суждения становятся более определенными и реалистическими. Так, П. Кнюкшта высказывает свое мнение по ряду спорных вопросов нормализации литовского литературного языка, определяя, в частности, жизнеспособность проникающих в него иноязычных заимствований. Исследованиям в области культуры речи и нормализации языка в сборнике посвящена только одна статья, очень интересная и по замыслу, и по воплощению. Нельзя не сожалеть о том, что аспектам культуры речи в условиях двуязычия не уделено должного внимания.

В статье Л. Грумадене «К вопросу о социолингвистическом статусе литовской разговорной речи жителей г. Вильнюса» обосновывается теоретическая значимость исследования данной языковой разновидности, поскольку именно на языке города сказывается процесс нивелирования территориальных диалектов. Изучение разговорной речи жителей литовской столицы важно и в чисто практическом плане, поскольку язык культурного центра оказывает влияние на узус городской речи Литвы в целом. В статье содержится описание методики, применив которую, автор предполагает выявить наиболее специфические черты вильнюсского варианта разговорной речи.

О влиянии социальных условий на проявление внутриязыковых закономерностей идет речь в работе В. Симонайтите «Социальные факторы и словообразование». Автор справедливо отмечает активизацию определенных типов словообразования и отдельных аффиксов литовского языка, объясняемую насущными потребностями коммуникации.

В. Виткаускас в своей статье «Влияние социальных факторов на диалектную лексику» анализирует причины перехода в пассивный фонд и забвения собственно лексических, семантических, словообразовательных и прочих диалектизмов. Нельзя не разделить озабоченность автора тем, чтобы для науки была зафиксирована эта пассивная диалектная лексика, которая исчезает на наших глазах с уходом старшего поколения сельских жителей. Автор справедливо считает, что решить проблему фиксации лексики могло бы создание системных региональных словарей по типу идеографического.

Содержательна небольшая статья З. Зинкявичюса «Несколько замечаний к истории литовской лексики XVI—XVII вв.». Автор напоминает о том, что ко времени возникновения письменности на родном языке в Литве существовало два основных разговорных интердиалекта: восточный (окрестности Вильнюса) и срединный (долина реки Невежис). Вопреки устоявшемуся мнению о том, что при создании литовского книжно-письменного языка возобладали тенденции к унификации языка, автор доказывает, что в это время прослеживается и противоположная тенденция — стремление создать два письменных языка: один для собственно Литвы, другой — для бывшего Жемайтского княжества.

О плодотворности ретроспективного социально-лингвистического анализа общественной терминологии можно судить по работе Ю. Карацеюса «Из истории изучения старых социальных терминов литовского языка». Автор предлагает вначале установить, как появилось обладающее социальным содержанием понятие, т. е. как можно более детально выяснить причины возникновения, существования и исчезновения самого социального института, и лишь после этого переходить к лингвистической интерпретации соответствующего общественного термина.

В работе К. Гайвяниса, А. Каулакенс, С. Кейписа решаются различные проблемы литовской научно-технической терминологии, приобретающие особую актуальность в эпоху НТР.

Труд литовских социолингвистов — весомый вклад в общее дело разработки теоретических и практических задач советского языкознания.

Часть статей сборника опубликована на литовском языке, но основные положения их резюмируются на русском, что делает книгу доступной для широкого круга специалистов.

Граудина Л. К., Синучкина Б. М.

Маковский М. М. Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании. — М.: Высшая школа, 1980. 191 с.

Современный английский язык предстает перед исследователем как сложная иерархическая совокупность различных форм его существования — литературный язык и территориальные диалекты, социальные диалекты и полудиалекты, литературное и внелитературное просторечие, среди которых условное основание и вершину всего построения образуют соответственно территориальные диалекты и литературный язык, являющиеся в нем, тем самым, крайние противопоставленными и предельными элементами. Выполняя максимальные общественные функции и будучи распространенным в национальных пределах, литературный язык не живет изолированно от других форм существования английского языка, а современные диалекты не являются языковым рудиментом, простым свидетельством исторического прошлого в развитии языка: различные формы единого языка находятся в сложных и изменяющихся соотношениях друг с другом. Это их взаимодействие было хорошо показано на материале литературного языка В. Н. Ярцевой в ее монографии «Развитие национального литературного английского языка» [1, ср. 2, 3]. Изучение территориальных диалектов позволяет, например, выявить сущность так называемой разговорной английской речи и социальных диалектов (лондонское «кокни» и др.). Однако практическая важность ознакомления с территориальными диалектами определяется не только тем, что создается возможность понять специфику различных форм существования английского языка, но также и тем обстоятельством, что при всех необратимых процессах «отбрасывания» местных диалектов на фоне коммуникативного и функционального продвижения литературного языка, а также образования различных переходных форм языка (полудиалекты, просторечие), территориальные диалекты продолжают сохранять, пусть ограниченную, но собственную сферу использования и статус одного из социально-функциональных типов современного английского языка. Между тем при изложении исторического процесса развития английского языка, например, в практике преподавания вузовского курса истории языка, на его современном этапе основное внимание уделяется национальному литературному языку, а современные диалекты почти не рассматриваются, как если бы они, выполнив свою историческую миссию, сошли с языкового горизонта. Так, в последнем издании книги Б. А. Ильиша «История английского языка» (М., 1968) вопросам положения современных английских диа-

лектов посвящена всего одна страница. Именно этот пробел и призвана восполнить рецензируемая книга М. М. Маковского, которая, как подчеркивает автор в Предисловии, «...является естественным дополнением курса истории английского языка» (с. 8) и допущена Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов.

Книга М. М. Маковского состоит из «Введения» (с. 11—31), трех глав («Фонетика», с. 32—56; «Грамматика», с. 57—76; «Лексика», с. 77—87), «Краткого словаря современных английских территориальных диалектов» (с. 88—174) и «Библиографии». Кроме того, книге предпосланы «Сокращения» (с. 6—7) и «Предисловие» (с. 8—10).

Во «Введении» автор знакомит читателя с кругом задач, входящих в область диалектологии, различными методами и приемами, которыми пользуется эта наука при исследовании языкового материала, а также тем общим значением, которое имеют ее результаты для изучения истории данного языка и оценки его современного состояния. Подчиняя изложение этого раздела главной цели своей книги — лингвистическому описанию современных английских диалектов, М. М. Маковский удачно отбирает необходимый справочный материал, не перегружая его более систематическими подробностями, которые были бы важны в другом случае. Так, читатель-студент знакомится с тем, что к задачам диалектологии относятся установление территории (ареала) распространения сходных по форме и значимости явлений фонетики (изофоны), грамматики (изоморфы), лексики (изолексы) и семантики (изосемы). Одновременно диалектология изучает и отношения между диалектами в рамках единого национального языка. В этой связи автор приводит краткие данные о понятии лингвистической карты, об изоглоссах и принципах соединения их в пучки. Изложение этого раздела дополняется интересными сведениями из теории английской диалектологии, примерами изучения лексических изоглоссов посредством вопросников и др. При этом М. М. Маковский очень кстати и совершенно справедливо подчеркивает, что такое изучение диалектов дает не только важнейший материал «...для проникновения в глубочайшие истоки языка, его историческое прошлое, но позволяет... оценить и понять особенности становления и развития литературной нормы, различных социальных и профессиональных говоров, а также языковых вариантов, возникших за пределами основной территории распро-

страения языка (например, американского, канадского, австралийского вариантов английского языка)» (с. 15). Говоря далее об историческом содержании понятия «диалект» и ссылаясь при этом на соответствующее замечание М. М. Гухмак, автор приводит схемы территориального распределения древнеанглийских и среднеанглийских диалектов, а также знакомит читателя с расположением на карте Великобритании современных территориальных диалектов и дает их классификацию (с. 25—28).

В главе «Фонетика» автор поставил перед собой задачу рассмотреть специфические черты диалектного употребления гласных и согласных, имея в виду последовательное соположение различных реализаций с литературным стандартом. Из всего многообразия фактического материала М. М. Маковский собрал воедино 31 тип различий в системе гласных (расхождений в употреблении гласных и их сочетаний в различных позициях в слове) и 44 типа, характеризующие отношения в системе согласных. Наряду с выделением специфических черт употребления звуков в том или ином ареале (диалектной территории) приводятся обобщающие характеристики, свойственные некоторым группам диалектов, например, отражение *a* в закрытом слоге как долгого /a:/ в Шотландии, Ольстере, Нортамберленде, Дареме, Камберленде, Йоркшире, Ланкашире, Оксфордшире, Бедфордшире, Лестершире, тогда как в южном Ланкашире, южном Вустершире, южном Чешире, Дарбишире, Хертфордшире, вост. Саффолке, Шропшире, Глостершире *a* в этой же позиции отражается как /ɔ/, например: *map* /mɑ : p/ — /mɔp/. Постепенно в ходе такого анализа вырисовываются характерные диалектные черты различных районов Англии и складывается звуковой портрет английского диалектного ландшафта.

Весьма интересны приводимые в этой главе случаи, иллюстрирующие явление подвижных форматов. При этом, как показано в книге, в качестве подвижного формата может выступать не только *s-mobile*, но и любой другой согласный: ср. *batty* «заработная плата» — *natty*; *fouth* «обилие» — *routh*; *mullion* — *rullion* «туфля из грубой необработанной кожи»; *nag* «привкус» — *tack* и др. (с. 51). К сожалению, в приложенном к книге словаре английских территориальных диалектов отнюдь не всегда последовательно выдержаны перекрестные ссылки на случаи подобного рода: ср. *hagg* (с. 120), но нет ссылки на *tagg* (с. 173). Кстати, не указано, что слово *hagg*, как и *tagg*, имеет значение «тяжелая работа» (*to work by the hag* «to do piecework»). Интересно также явление так называемой «мены согласных» (с. 53): *liddle* — *mask* — *mast*; *keevy* — *keemy*;

leetach — *leerach*; *arrish* — *eddish*; *shingle* — *shindle* и др.

Во второй главе («Грамматика») автор обращается к характеристике наиболее существенных грамматических (морфологических) явлений, присущих современным английским диалектам. Так, говоря о свойствах имени существительного в территориальных диалектах, М. М. Маковский, в частности, отмечает, что в Шотландии и Нортамберленде (северные диалекты) неопределенный артикль часто используется с существительным во множественном числе: *what a books he has*, а в Кенте и Хемпшире (южные диалекты) неопределенный артикль обычно употребляется перед существительными, которые в литературном языке с этим артиклем не употребляются: *a good hair*. Далее в этом разделе автор рассматривает территориальное (диалектное) распределение случаев опущения или употребления определенного артикля, что оказывается не характерным для других диалектов и не соответствует норме литературного языка (с. 58—60). Аналогичным образом рассматривается распределение форм множественного числа существительных в тех или иных диалектах и некоторые другие морфологические категории имени существительного. В этой главе содержится также анализ свойств и особенностей имени прилагательного, числительного, местоимения, глагола, наречия и служебных слов (с. 63—76).

В последней, третьей главе книги («Лексика») М. М. Маковский рассматривает некоторые особенности лексического состава современных территориальных английских диалектов: энантиосемию, диалектную семантику слов, общих для диалектов и литературного языка, отношения омоимии слов литературного языка и диалектов, своеобразии словообразовательной формы слов и процедур словообразования (префиксация, суффиксация) в различных диалектах, заимствования слова в диалектах и литературном языке и др. Говорится также не только об особенностях использования слов, общих для литературного языка и местных диалектов, но и о наличии в диалектах большого круга слов, присущих только отдельным диалектам или группам диалектов. Все эти вопросы освещаются применительно к различным частям речи: существительному, прилагательному, глаголу (с. 82—87). Приложен также обширный список шотландизмов (с. 82—87), рассматриваются примеры заимствований в английские диалекты из скандинавских, кельтских и романских языков. Весьма интересны приводимые в этой главе случаи лексем, совпадающих с алфавитным названием первой буквы того или иного слова с тем же значением (с. 81): *aitch* «камин» (по первой букве слова *hearth*); *yam* «картофель» «представляет собой алфавитное название первой бук-

вы в слове *turnip* „картофель“, причем гласный в алфавитном названии *n* произносится как восходящий дифтонг».

Завершает изложение всего материала словарь современных английских территориальных диалектов, составленный в алфавитном порядке и содержащий около 2000 словарных единиц. Этот словарь, как подчеркивает в «Предисловии» к книге сам автор, задуман «не как лексикографическое пособие, а представляет собой рабочий список слов, призванный дать справку о наличии определенного слова в диалектах и его значении» (с. 9). Данный раздел книги (с. 88—184) обладает самостоятельной ценностью, поскольку подобная совокушность диалектных лексем в нашей лингвистической литературе, насколько мы можем об этом судить, публикуется впервые. Несомненно, что исследователи и составители английских диалектных словарей, а также специалисты, занимающиеся сопоставительным и этимологическим анализом лексики германских языков, не пройдут мимо этого труда.

Книга М. М. Маковского представляет собой практически первый опыт подобной работы в нашей учебной литературе для студентов по англистике, и не все вопросы, представляющие интерес для данного предмета, смогли найти в ней должное освещение. Так, в книге специально не рассматриваются синтаксис и диалектное словообразование, что делает ее неполной с точки зрения охвата уровней системы диалектов. Автор объясняет это положение соображениями объема книги, но об отсутствии данных разделов приходится только сожалеть, так как и в синтаксисе, и, в особенности, в процессах словообразования выявляются специфические ареальные черты, существенные для понимания характера тех или иных групп диалектов. На это, в частности, указывают и те разрозненные сведения о префиксальном и суффиксальном словообразовании, которые мы находим на с. 80. Следует, однако, отметить, что, насколько нам известно, в литературе отсутствуют специальные исследования, посвященные вопросам английского диалектного синтаксиса и словообразования, в связи с чем у автора практически не было источников для освещения соответствующих разделов.

Раздел книги «Введение», написанный в целом весьма удачно, должен был, по нашему мнению, содержать хотя бы краткие сведения о совокушности форм, в которых существует современный английский язык: диалекты, полудиалекты или наддиалектные койне в рамках северной, средней, восточной, западной и южной групп диалектов, диалекты/полудиалекты крупных городов, литературный язык, просторечие и разговорные формы языка, т. е. все то, что относится к понятию социофункциональной струк-

туры языка. Подобный краткий очерк иерархии форм языка создает предпосылки для четкого понимания места и роли территориальных диалектов на «вертикальной» оси строения национального языка, а также характера направленности процессов взаимодействия различных форм существования языка в структуре английской речи. Судя по всему, М. М. Маковский хорошо сознает необходимость такого подхода при описании территориальных диалектов, так как на с. 16 справедливо замечает, что было бы «...примитивно и неверно, однако, представлять себе речь носителей диалекта как совершенно однородную и состоящую сплошь из диалектизмов на всех языковых уровнях (фонетика, грамматика, лексика) и во всех речевых ситуациях, как это делает, например, Н. Хомский». Однако, начав говорить о сложном характере современного английского языка, он, к сожалению, не развернул эту мысль в более эксплицитное высказывание. Кстати, было бы небезынтересно сопоставить свое отношение к вопросу о роли диалектизмов в современной структуре английской речи с интересным мнением по этому поводу, высказанным Г. Л. Бруком в замечаниях об английских территориальных диалектах, содержащихся в его книге [4]. К сожалению, эта книга оказалась вне поля зрения М. М. Маковского и не отмечена в библиографии. Одним словом, учебное пособие, посвященное современным территориальным диалектам, не может не содержать необходимого анализа их функционального статуса, указаний на характер языковой ситуации с учетом диалектов в различных регионах страны, на степень их социальной соотнесенности, поскольку эти вопросы продолжают характеризовать острую позицию в деле языкового воспитания (ср. дискуссии о так называемых ограниченном и развернутом кодах Б. Бернстайна, целях и условиях «компенсаторного» преподавания языка в школах и т. д.) и составляют одну из социальных проблем современной Великобритании.

Анализируя данные топонимики, М. М. Маковский приходит к выводу о том, что они «...указывают на раннее присутствие различных германских этнических групп на территории Британии» (с. 22), в частности, баварцев и алеманнов. В заключение он приходит к ряду выводов о несостоятельности традиционного деления германских завоевателей Британии на англов, саксов и ютов и географии их размещения на островах. Это суждение М. М. Маковского может вполне составлять интересную гипотезу, но представляется, что страницы учебного пособия не являются удачным местом для ее изложения и следует пожелать автору высказаться по данному вопросу отдельно. Правда, известно, что М. М. Маков-

ский говорил уже о таких наблюдениях в своих более ранних работах [5, 6]. Нельзя также не отметить, что в приложенном к рецензируемой книге диалектном словаре автор весьма последовательно, во всех случаях, где это возможно, использует свою гипотезу о наличии алеманнских племен среди ранних завоевателей Британии и сопоставляет английские диалектные слова с соответствующими лексемами швейцарско-немецкого, баварского и швабского диалектов (приводятся соответствия и из других древних и новых германских языков).

Приведенный в основных главах книги фактический языковой материал, например, об особенностях гласных и согласных в диалектах, дает достаточно случаев для типизации черт в пределах определенных ареалов (особенности северных диалектов, особенности южных диалектов и т. д.). Такое обобщение и «укрупнение» роли отдельных черт было бы тем более желательно, поскольку важно выработать у читателя-студента представление о противопоставленных типах речи (произношения): диалектный носитель из Шотландии, запада Англии и т. д.

Книга М. М. Маковского написана лаконично и выразительно, хорошим и четким языком. Тем заметнее неточности некоторых формулировок. Так, приступая к анализу грамматических черт диалектов, автор замечает, что территориальные диалекты находятся «...на периферии литературного языкового узуса...» (с. 57). Думается, что «периферия» литературного узуса составляют единицы иных уровней структуры национального языка,

а диалекты представляют собой отдельную подсистему (частную систему) данного языка, крайне противопоставленную системе литературного языка. Их отношения нельзя рассматривать как отношения центра (ядра) и периферии.

В заключение следует подчеркнуть, что вузовская англистика пополнилась новой интересной и полезной монографией, которая, безусловно, найдет своего читателя.

Домашнев А. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969.
2. Щур Г. С. Несколько замечаний об английском языке в Ирландии. — Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1980, Bd. 33, Hf. 1.
3. Остапенко И. А. Некоторые аспекты языковой ситуации и особенности английского языка в Шотландии: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980.
4. Brook G. L. A history of the English language. London, 1968, p. 54—58; 198—209.
5. Маковский М. М. Сравнительно-историческая диалектография английской лексики: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1969.
6. Маковский М. М. Этнонимия Англии в сравнительно-историческом освещении. — В кн.: Этнонимы. М., 1970.

Бабайцева В. В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. — М.: Просвещение, 1979. 270 с.

В серии «Библиотека учителя русского языка» была опубликована книга В. В. Бабайцевой «Русский язык. Синтаксис и пунктуация». Автор поставил перед собой задачу: связать теорию языка с повседневной практикой школьного учителя. Читателям предлагается осмыслить иерархию языковых единиц, при этом удачно сравниваются уровни языка с этажами здания. Подчеркивается теснейшая взаимосвязь и взаимообусловленность языковых уровней (с. 8 и др.). С первых же страниц теоретические положения подтверждаются практикой преподавания языка: выявляемая взаимосвязь всех языковых уровней дает возможность исследователю обосновать компонентный анализ разнообразных текстов.

Это с одной стороны. С другой — автор отмечает многоаспектность языко-

вых единиц на каждом уровне: «Представьте себе кучу яблок, разных по размеру, форме и цвету; разных по вкусу и запаху и т. д. Как их можно разложить по ящикам?» (с. 9). И далее автор продолжает: «Возможно, что лучшим критерием является разборка яблок с учетом их сорта, так как при этом учитываются какие-то общие свойства яблок. Однако в какой-то ситуации самыми существенными могут быть частные свойства яблок, например, их свежесть и т. д.» (с. 9). Следовательно, общее противостоит частному и сплетается с ним, уровневая дифференциация не исключает комплексного восприятия многоаспектной языковой единицы.

Автор знакомит читателей с возможностями изучения языка разными методами. Анализ конкретного языкового материала позволяет сосредоточить внимание

на многоаспектности изучаемого (теоретические проблемы) и преподаваемого (методические проблемы) языка. Устанавливается возможная связь теоретических обоснований и их методических решений.

Толкование многоаспектности языка, предложенное В. В. Бабайцевой, и в теоретическом, и в практическом плане заслуживает внимания. Автор следует принципам, основы которых были заложены Д. Н. Овсяннико-Куликовским, А. А. Шахматовым, А. М. Пешковским, В. В. Виноградовым, всегда «...рассматривавших синтаксические явления в единстве формы и содержания» (с. 27). В. В. Бабайцева развивает положение так называемого традиционного синтаксиса, но заменяет термин *традиционный* на термин *структурно-семантический*, подчеркивая этим новый этап в развитии науки о языке. Стремление автора отметить отечественную традицию в изучении русского синтаксиса важно и в общем плане воспитания правильного отношения к достижениям русской науки о языке.

Следует особо отметить еще одно положение в книге. Автор, выделяя типичные языковые факты, противопоставляет им факты синкретические — пограничные, переходные. Ссылаясь на наблюдения Л. В. Щербы, связанные с колеблющимися случаями в языке, В. В. Бабайцева рассматривает подобные явления как свидетельства взаимосвязи языковых явлений, их подвижности, как доказательство развития языка, его неисчерпаемых возможностей выражения мыслей и чувств разными синтаксическими способами.

И еще одно положение, заслуживающее особого внимания. Автор пишет: «В процессе преподавания русского языка надо обращать внимание как на структурные, так и на семантические свойства синтаксических явлений. Если учащиеся в предложении *Сегодня прошел замечательный дождик — Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой* (К е д р и н) заметят только определяемое подлежащее *дождик* и приложенье к нему *гвоздик* и т. д.

и не изучатся точности и образности описания дождика, значит в нашем преподавании русского языка не все благополучно, что-то очень важное упущено» (с. 35). Вся книга призывает читателей внимательно относиться к семантике каждого языкового явления, к своеобразию его выражения.

Вот почему избранный метод назван автором *структурно-семантическим*. В. В. Бабайцева стремилась показать единство семантики и структуры в синтаксисе. Однако в данном названии метода (структурно-семантический) не отмечается важность функционального подхода к синтаксису. Метод же, основанный выдающимися русскими синтаксистами, начиная с А. А. Потебни, почти всегда стремился быть методом функциональным.

На протяжении всей книги автор не только расширяет теоретические знания читателей-учителей, но и показывает значение активного синтаксиса. Создается как бы база для обучения не только грамматическим правилам, но и самому языку во всем его живом многообразии. Между тем, к сожалению, еще весьма часто мы встречаемся в школе с механическим заучиванием грамматических правил. Синтаксис же языка должен не только помочь школьникам стать по-настоящему грамотными, но и научить их лучше понимать тексты больших русских писателей, овладеть культурой речи. В этом пафос книги В. В. Бабайцевой. Хотелось бы только, чтобы цитация была более точной: в скобках должна быть обозначена не только фамилия писателя, но и название произведения. Это повысит роль литературного текста, уточнит его связь с определенным временем, социальной эпохой, повысит роль писателя — мастера слова и теснее свяжет язык и литературу в самом понятии литературного языка, т. е. «языка, обработанного мастерами» (М. Горький).

Работа В. В. Бабайцевой учит сознательно относиться к языку и в этом ее значение.

Брагина А. А.

Туманян Э. Г. Структура индоевропейских имен в армянском языке. — М.: Наука, 1978. 368 с.

За последние годы как у нас в стране, так и за рубежом значительно возрос интерес к сравнительному изучению армянского языка. Несмотря на богатые древнеписьменные литературные традиции и достаточно основательную изученность как в общем, так и в сравнительном аспекте, в армянском языке обнаруживается еще ряд малонаисследованных областей, которые ждут своих первооткрывателей.

Занимая изолированное положение в обширной семье и.-е. языков, армянский язык в процессе своего развития постоянно находился в контакте с окружающими его родственными и неродственными языками: с хеттскими, урартским, древнегреческим, древними иранскими, а позже с персидским, тюркскими, арабским, грузинским и др., однако сохранил при этом свою самобытность и своеобразие. Наряду с заимствованиями в лексике

армянского языка, вычленяется сравнительно небольшой по объему, но существенный по значению наиболее архаичный пласт, который можно определить как исконый, генетически принадлежащий к и.-е. лексическому фонду.

Именно этот исконо индоевропейский архаичный пласт является объектом исследования в рецензируемой монографии Э. Г. Туманян (см. другие рецензии на эту работу [1, 2]). Если до сих пор сравнительное изучение лексики армянского языка осуществлялось преимущественно в плане выявления новых и.-е. лексических изоглосс, соответствий, объединяющих армянский язык с отдельными и.-е. языками, а также в плане уточнения этимологий, то в монографии Э. Г. Туманян основной упор делается на исследовании структурных особенностей архетипов лексических единиц и.-е. происхождения, на установлении их составных компонентов, определении типов древнейших словообразовательных моделей, которые лежат в основе тех или иных лексических единиц. Автор рассматривает развитие и.-е. архетипов на армянской почве, выявляет те изменения, которым подверглись структурные компоненты указанных архетипов в процессе эволюции. Труд Э. Г. Туманян является наиболее полным и целостным сравнительным исследованием структуры и.-е. имен в армянском языке и благодаря большому количеству привлекаемых и.-е. языков может представить интерес для специалистов-компаративистов самых различных профилей.

На основе применения сравнительного метода и метода структурного анализа в книге показано, что подавляющее большинство имен и.-е. происхождения, воспринимаемых на уровне армянского языка как корневые, далее не членимые на составные элементы образования, некогда восходили к архетипам, имеющим различную структурную организацию и относящимся к разным словообразовательным моделям. Выясняется, что корневые слова и.-е. происхождения в армянском языке могли восходить к архетипам, представлявшим собой производные слова с суффиксами и детерминативами, сложные слова, редуцированные основы и др. (с. 308—309). В монографии очерчен тот путь, по которому шла трансформация и.-е. архетипов и формирование имен в армянском. Известно, что и.-е. языки в процессе своего развития значительно отошли как от языкоосновы, так и друг от друга. Изменения, которые наблюдаются в армянском языке, в различных модификациях произошли и со многими другими и.-е. языками. Эти изменения могут быть объяснены как общностью происхождения и.-е. языков, так и их последующим параллельным развитием. В связи с этим основное внимание автора сосредоточено на тех элементах

структуры слова (корень, расширитель, суффикс, тематический гласный, флексия, аугмент), которые в принципе лежат в основе именного словообразования всех и.-е. языков. Одновременно с этим выявляются особенности, характерные для армянского языка и возникшие в процессе его самостоятельного развития.

По мнению автора, сравнительное изучение структуры слова в различных и.-е. языках и прослеживание дальнейших трансформаций структурных компонентов архетипов (особенно детерминативов) в каждом языке в отдельности может дать весьма ценный материал и в какой-то степени осветить вопросы, связанные с ареальной характеристикой и.-е. языков и их диалектным членением (с. 326).

Изменения, которые произошли в структуре и.-е. слов в армянском языке, обусловлены различными причинами. Так, например, частичная или полная потеря или деформация конечного слога, что привело к потере и.-е. грамматических и иных показателей, в частности, к потере грамматического рода, связывается с изменением статуса ударения, которое в результате переноса его на предпоследний слог в протоармянском языке из тонического превратилось в сильное. В итоге этих и многих других процессов изменялось соотношение основы и окончания, перестроились составные элементы именного словообразования — корень, суффикс, расширитель. Произошла трансформация структуры слова. Прежние суффиксы, расширители и флексии слились с корнем или отпали, взамен их образовались новые суффиксы, возникли новые окончания и т. д. Слово получило новое структурное оформление.

Одной из главных задач рассматриваемого исследования является анализ и трактовка этих сложных процессов, а также установление определенных закономерностей, на основе которых произошла структурная реорганизация и.-е. архетипа.

Книга Э. Г. Туманян состоит из предисловия, введения и четырех глав. В конце работы приложен справочный аппарат, состоящий из именного и лексического указателя. Это дает возможность легко ориентироваться в огромном лексическом материале привлекаемых в книге различных и.-е. языков и делает ее доступной для широкого круга читателей-специалистов по и.-е. языкам.

Во введении рассматриваются общие вопросы, относящиеся к ареальной характеристике армянского языка, его и.-е. лексического фонда и т. д. В первой главе, которая носит в какой-то степени также и вводный характер, даны краткие сведения об особенностях отражения и.-е. фонетической системы в армянском языке, данные о фонетических соответствиях армянского с языком-основой и с отдельными и.-е. языками. Рас-

смаатриваются армянские эквиваленты и.-е. гласных, дифтонгов, а также согласных и сонантов. Даются некоторые сведения об индоевропейских сочетаниях согласных и их рефlekсах в армянском языке.

Вторая глава посвящена характеристике структурных моделей и.-е. словообразования в целом, с выделением в их структуре составных элементов. Здесь же помещен раздел, в котором рассматривается общая теория и.-е. корня с точки зрения современных данных.

Рассматриваемая глава логически оправдана и вытекает из общих задач автора. Действительно, чтобы выяснить, какие из и.-е. структурных моделей именного словообразования лежат в основе структуры имен в армянском, и установить наиболее продуктивные из них, автору необходимо было прежде всего охарактеризовать ту общую систему индоевропейских словообразовательных моделей, которые служили в качестве архетипов для армянских имен. Э. Г. Туманян выделяет в качестве возможных моделей архетипов корневую основу, производные слова, образованные при помощи аффиксов, слова с детерминативом в основе, сложные слова и, наконец, редуцированные основы. Автор устанавливает, что подавляющее большинство имен индоевропейского происхождения в армянском восходит к производным архетипам, в составе которых выделяются суффиксы и расширители (с. 312). С указанным вопросом тесным образом связана проблема детерминативов — одна из наиболее сложных, по признанию автора, проблем и.-е. словообразования. Переходя к проблеме детерминативов в собственно армянском языке, Э. Г. Туманян выдвигает положение, согласно которому поиски детерминативов могут оказаться наиболее результативными при учете скопления согласных в исходе слова. Автор аргументирует это положение следующим образом. Детерминатив, в отличие от суффикса, будучи одноэлементным, ведет себя иначе, чем суффикс, состоящий из сочетания гласного с согласным. Согласный детерминатив в армянском, как правило, отходит к корню, сливаясь с ним (гласные детерминативы отражаются несколько иначе). Суффикс же, состоящий из комбинации гласного и согласного, расчленяется. При этом его согласный элемент отходит к корню, а гласный обычно превращается в тематическую гласную, по которой нередко можно определить первичный исход и.-е. суффикса. Таким образом, детерминатив должен находиться в позиции перед суффиксом и вместе с его согласным элементом дать в конце корня скопление согласных. Поиски детерминатива могут идти, таким образом, в направлении анализа группы согласных в конце корня (с. 327). Вместе с тем Э. Г. Туманян полагает, что в структуре армянского слова детерми-

натив можно определить более надежно в том случае, если он вычлняется и в других и.-е. языках. Иногда в качестве детерминатива можно рассматривать чередующиеся элементы **r/n* гетероклитических основ, которые в разных и.-е. языках имеют разную судьбу. Так, например, доказательством того, что *-r* в армянском слове *tur-k* «дань» (архетип **dōro*, греч. δῶρον, ст.-слав. даръ) можно квалифицировать как расширитель, а не суффикс, меняющий значение слов, является наличие того же корня, но с расширителем **-n* в лат. *dōnum* «дар», осск. *dunum*, др.-инд. *dānam* (с. 327). Одни языки, таким образом, сохранили детерминатив **r*, другие — **n*, но при этом распространили эти детерминативы на всю парадигму, независимо от того, какой парадигме эти детерминативы первоначально принадлежали.

Третья глава содержит структурный анализ имен и.-е. происхождения в армянском языке и целиком посвящена обстоятельному анализу основного материала. Для анализа отобраны 357 и.-е. слов, из которых 277 представляют тематические основы, 50 — атематические и 30 слов относятся к гетероклитическим основам. В соответствии с этим выделены разделы, в которых специально рассматриваются каждый тип основ в отдельности.

Последняя, четвертая глава является резюмирующей. Опираясь на результаты, полученные в итоге сравнительного анализа и.-е. материала армянского языка и на данные других сравниваемых и.-е. языков, автор в обобщенном виде представляет наиболее важные особенности структурных трансформаций, благодаря которым были сформированы и.-е. имена на армянской почве. В качестве примера можно привести модель производного слова, в составе которого вычлняется суффикс (модель «корень + суффикс»). Указанная модель архетипа на армянской почве подверглась изменениям, которые варьируют в зависимости от типа самого суффикса. Так, и.-е. суффикс с исходом на гласный (типа **-lo*, **-mo*) при трансформации подвергается расщеплению, в результате которого согласный компонент его отходит к корню, сливаясь с ним, гласный же компонент, высвобождаясь, превращается в тематическую гласную (с. 315). С другой стороны, архетип, где суффикс в качестве исхода имеет сонант, трансформируется иначе.

Структурный анализ с применением сравнительного метода позволил автору достаточно убедительно осветить вопрос о причинах возникновения разносклоняемости имен, которые обладают более чем одной основой (с. 331), и ряд других вопросов. В целом в книге дается широкое обобщение полученных данных и их теоретическое осмысление. Работа Э. Г. Туманян — значительное явление как с точки зрения собственно армянского языко-

знания, так и сравнительной лингвистики вообще. Вместе с тем в исследовании, которое построено на таком обширном материале, с привлечением большого количества и.-е. языков, трудно избежать и отдельных неточностей или спорных моментов.

Вот некоторые из них. На с. 132 автор специально останавливается на вопросах, которые в арменистике можно считать уже решенными. Это вопрос об отпадении безударного конечного слога, его видоизменении в прямой форме и сохранении в косвенных и т. д. Спорно утверждение автора о том, что чистые индоевропейские гласные основы без изменения выступают только в род. падеже. В действительности род. падеж имеет также и элементы окончания, например, сонант *-y* в слове *get* «река», род. падеж *geto-y*, который восходит к и.-е. **yedo-syo*. В этом слове отпал только конечный гласный *o*, а **sy* закономерно превратился в *-y*, независимо от позиции ударения (следовательно, род. падеж *getoy* имеет структуру *get-o-y*). Окончание *-y* есть и у имен *a*-склонения типа *titan-a-y*, так же, как и в существовавшем в древности *e*-склонении, где исход основы «*e* + окончание *y* (*ey*)» закономерно давал *ē*. Это же окончание *-y* должны были иметь и имена *u*- и *i*-склонения. Но в фонетической комбинаторике древнего языка исключались комплексы *uy* и *iy*; таким образом, в данном случае отпадение *-y* здесь не связано с ударением. Следова-

тельно, выдвинутое автором предположение нуждается еще в дополнительных доказательствах и традиционное представление об отпадении гласного конечного слога пока можно считать приемлемым. Есть и замечания более частного характера. Например, автор пишет (с. 135), что начальное и.-е. **p-* в армянском часто может отпадать. В действительности и.-е. **p* выпадает только перед гласным *o*. В остальных случаях начальный **p* дает арм. *h-*.

Все вышесказанное ни в коем случае не умаляет неоспоримую научную ценность и теоретическую значимость рецензируемой монографии. Опираясь на достижения предшествующих исследователей, автор создал труд, который является значительным шагом вперед в решении давно назревшей проблемы структурной эволюции и особенностей и.-е. слова.

Агаян Э. Б., Сукиасян Г. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамян А. — Историко-филологический журнал, Ереван, 1979, № 3 — Рец. на кн.: Туманян Э. Г. Структура индоевропейских имен в армянском языке.
2. Grepnin J. A. — Annual of Armenian Linguistics, 1980, v. 1 — Рец. на кн.: Туманян Э. Г. Структура индоевропейских имен в армянском языке.

Ониани А. Л. Вопросы исторической морфологии картвельских языков (Категории глагола — лицо, число, инклюзив-экслюзив). — Тбилиси: Ганатлеба, 1978. 247 с. (на груз. яз.).

Изучение картвельских языков в сравнительно-историческом аспекте берет начало во второй половине XIX в. Оно было успешно продолжено в XX в. выдающимися учеными: Н. Я. Марром, Г. Детерсом, А. Г. Шанидзе, Г. С. Ахвледиани, Г. Фогтом, В. Т. Топуриа и др. В течение последней четверти XX в. в картвельском языкознании произошли крупные сдвиги, связанные с работами талантливых представителей молодого поколения картвелистов: Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, К. Х. Шмидта, Т. Е. Гудавы, Г. А. Климова и др. В своих трудах они дают новые интерпретации фонологической и грамматической систем общекартвельского языка-основы, создавая этим качественно новый высокий уровень в области исследования картвельских языков.

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последнее время в изучении морфологии картвельского глагола, кардинальные вопросы истории глагольных

категорий остаются недостаточно разработанными. Создается немало трудов, авторы которых, опираясь на подлинные достижения картвелистики, творчески их развивают. К таким работам смело можно отнести и рецензируемую книгу А. Л. Ониани.

Работа состоит из «Введения» и трех глав. Во «Введении» (с. 3—18) изложены теоретические положения, исходя из которых автор исследует важнейшие категории глагола картвельских языков. Эти ясно сформулированные постулаты помогают читателю лучше понять цели основной части монографии. Обсуждая вопрос о преимущественном удельном весе синхронного или диахронного анализа на различных этапах развития языкознания, А. Л. Ониани справедливо указывает на то, что «увлечение синхронным анализом, что было характерно для структурной лингвистики, объясняется не столько пренебрежением диахронического анализа, а стремлением к ликвидации

отставания в области синхронного анализа языка» (с. 6). К стати можно отметить, что в картвельском языкознании всегда уделялось должное внимание синхронному анализу. Достаточно при этом назвать такие работы, как «Грамматика чаевского (лазского) языка» Н. Марра (С.-Петербург, 1910), «Грамматика мингрельского (иверского) языка» П. Кипшидзе (С.-Петербург, 1914), и др.

Цель автора — реконструкция того состояния общекартвельского языка-основы, которое непосредственно предшествовало его распаду на отдельные языки. Анализ всех рассматриваемых вопросов осуществляется по следующим этапам: 1) последовательный синхронный анализ морфем лица и числа в отдельных картвельских языках; 2) внутренняя реконструкция морфем лица и числа в отдельных картвельских языках с учетом данных синхронного анализа; 3) реконструкция общекартвельского состояния в результате сравнения морфем, восстановленных в отдельных языках способом внутренней реконструкции.

Основной частью работы является первая глава «Категория лица» (с. 19—183). Как известно, по традиции в картвелистике выделяются две разновидности лица: лицо субъектное и лицо объектное. Субъектное лицо является активным, производящим то или иное действие: *v- \check{c} er* «пишу я», *v-a \check{s} eneb* «строю я» и др. Субъектное лицо обозначается специальными показателями. Объектное лицо является пассивным, оно считается объектом действия субъекта и выражается префиксами: *m-xa \check{t} avs* «рисует он меня», *g-xa \check{t} avs* «рисует он тебя» и т. п. К тому же в картвелологии обращается внимание на то, что субъектное лицо (т. е. лицо, производящее действие) не всегда выражается в глагольной форме субъектных показателем, например, в формах *m- \check{i} qvars* «лю лю я его» (ее, то), *m-zuls* «ненавижу я его» (ее, то) и т. п. Субъект выражается показателем объекта *m-*. Объектное лицо в ряде глагольных форм обозначено показателем субъектного лица. Например, *v- \check{i} xa \check{t} ebi* «рисуюсь я им», объект «я» (т. е. лицо, которое является пассивным) выражается префиксом субъектного лица *v-*.

Не является *v-* обозначающим субъект (т. е. активное лицо) в таких формах, как: *v-ar* «я ем», *v-i \check{z} eki* «сидел я» и т. п.

Имеются и такие случаи, когда префиксы объектного лица квалифицированы как показатели субъектного лица, и, наоборот, показателями субъектного лица иногда приписывается выражение объектного лица. Например, так анализируются исследователями глагольные формы III серии картвельских языков. Рассмотрим глагольную форму *dam \check{c} eria* «оказывается, я написал». Преф. 1-го объектного лица *m-* считается в этой форме показателем 1-го субъектного лица, а суф. *-a*, который, как правило, выражает 3-е

субъектное лицо, признается показателем 3-го объектного лица (при этом считается, что *-a* выражает 3-е лицо прямого объекта, который вообще не обозначается в парадигмах новогрузинского глагола). Нельзя сказать, что этот вопрос не привлекал внимания исследователей. Были предприняты попытки преодолеть эти противоречия внесением в процесс анализа глагольных форм неграмматических понятий: «реальный субъект» и «реальный объект» (в противовес понятиям: «морфологический субъект» и «морфологический объект») или указанием на то, что в формах III серии имеет место мена функций показателей субъектного и объектного лиц (т. е. инверсия).

Однако эти попытки, как показал автор рецензируемой монографии, лишь осложнили понимание этого важнейшего вопроса картвельского глагола. А. Л. Ониани приходит к выводу, что лицо, которое в глагольных формах обозначается показателями ряда *v-*, не является облигативно субъективным, а лицо, которое в глагольных формах выражается показателями ряда *m-*, не является облигативно объектным. Из этого следует, что обозначение этих лиц терминами «субъект», «объект» не оправдано (тем более, что в картвелистике они употребляются не условно, а в их общепринятом значении). Автор предлагает заменить эти термины другими: «облигативное лицо» и «необлигативное лицо» (по следующим членениям на «необлигативное а» и «необлигативное б»). В глагольных формах облигативное лицо обозначается показателями ряда *v-*, необлигативное лицо — показателями ряда *m-*.

В процессе рассмотрения противопоставления субъект ~ объект автор пришел к очень важному с точки зрения картвелистики выводу, что это противопоставление выражается не оппозицией показателей субъектного и объектного лиц, а противопоставлением залоговых форм (актив ~ пассив).

Автор последовательно рассматривает дистрибуцию показателей облигативного и необлигативного лиц в картвельских языках, при этом особое внимание уделено анализу данных древнегрузинского языка. Исследуя показатели сванских форм, А. Л. Ониани дал новую интерпретацию ряда особенностей сванских глагольных форм, четко сформулировал несколько правил, которые объясняют ряд морфофонологических процессов, характерных для сванского спряжения.

Опираясь на данные синхронного анализа картвельских языков, автор попытался реконструировать показатели облигативного и необлигативного лиц. Основным результатом этой части следует признать реконструирование в качестве архетипа показателя 1-го облигативного лица **xw-* в грузинском и идентичного показателя в сванском, установление

архетипов obligatoryного и obligatoryного лиц в мегрело-чанском и т. д.

В результате строгого применения сравнительно-исторического метода А. Л. Ониани восстанавливает архетипы показателей obligatoryного и obligatoryного лиц на уровне позднего состояния общекартвельского языка-основы. По мнению автора, архетип 1-го obligatoryного лица в ед. числе реконструируется в виде **xw-*; 3-е obligatoryное лицо или не обозначалось вообще, или его показателем следует признать преф. **s₁-* или **l-* (суффиксы, обозначающие в грузинском и мегрело-чанском 3-е obligatoryное лицо, не имели этой функции).

Во второй главе работы «Категория числа в глаголе» (с. 188—212) исследуется вопрос об обозначении мн. числа в глагольных формах картвельских языков. Автор убедительно доказывает, что архетип суффикса 1-го и 2-го obligatoryных лиц мн. числа на уровне общекартвельского языка следует реконструировать в виде **-t*, в картвельских языках суф. **-t* дал следующие рефлексы: *-t* в грузинском и мегрело-чанском и *-šd* в сванском (отметим, что вариант *-šd* сохранился лишь в формах вспомогательного глагола «быть», в других же глагольных формах *šd > d* в результате фонетических причин).

Третья глава «Категория инклюзива и эксклюзива в глаголе» (с. 213—243) посвящается вопросу, в изучение которого А. Л. Ониани внес важный вклад своими работами, опубликованными ранее. Из современных картвельских языков категория инклюзива и эксклюзива присуща лишь сванскому языку (точнее верхне-сванским диалектам). В древнегрузинском языке имеются пережитки этой оппозиции. В картвельстике высказывалось мнение, что оппозиция глагольных форм по этой категории имела уже на уровне общекартвельского языка-основы (А. Г. Шанидзе, В. Т. Топурия, Г. Деетерс и др.). По мнению А. С. Чикобава, эта категория является неологизмом сванского языка. А. Л. Ониани доказывает, что категория инклюзив ~ эксклюзив действительно имела на уровне общекартвельского языка и она была свойственна не только формам obligatoryного лица, но и формам obligatoryного лица. Автором восстановлены следующие архетипы: **xw-* — для инклюзива 1-го obligatoryного лица, **s₁-* или **l-* — для эксклюзива 1-го obligatoryного лица; преф. **gw-* — для инклюзива 1-го obligatoryного лица, преф. **m-* — для эксклюзива 1-го obligatoryного лица.

Работа вызывает ряд замечаний.

1. Автор считает, что оппозиция форм obligatoryного лица по активности и пассивности обусловлена оппозицией залогового противопоставления актив ~ пассив (с. 43 и сл.). Однако в грузинском (и в других картвельских языках) наличие довольно большое число глаголов, которые вовсе не имеют форм активного или пассивного залогов, т. е. категория залога им чужда ввиду отсутствия членов оппозиции. Таковыми являются: *viqavi* «есть», *mindá* «был я», «хочу» и др. Остается неясным, как определить в таких случаях активность или пассивность obligatoryного лица.

2. Анализируя ханмэтные и хаэмэтные тексты древнегрузинского языка, автор придерживается мнения, высказанного первооткрывателем древнейших грузинских текстов И. А. Джавахишвили, о том, что преф. *x-* первичен, а преф. *h-* < *x-* в результате комбинаторного фонетического процесса. Думается, что этот вопрос остается нерешенным и картвелисты будут вновь и вновь обращаться к этой проблеме. Диалектная теория, выдвинутая А. Г. Шанидзе, получает, по нашему мнению, сильную поддержку в том, что ханмэтные надписи локализируются в Восточной Грузии (на территории Иберии), а хаэмэтная надпись начала VII в. пока, к сожалению, единственная, обнаружена в Южной Грузии, на территории предполагаемого распространения так называемой хаэмэтной речи.

3. Как признается и самим автором, крайне гипотетичным можно считать реконструкцию преф. **s₁-* или **l-* в качестве архетипа показателя 3-го obligatoryного лица. Не имеется ответа на вопрос: чем обусловлена утеря этого префикса в грузинских и мегрело-чанских глагольных формах?

4. Нельзя согласиться с автором в анализе некоторых глагольных форм (см. с. 64, 66, 69, 136).

Эти замечания, число которых можно было и умножить, не касаются основных положений и выводов автора.

Можно утверждать, что книга А. Л. Ониани, отличающаяся подлинной новизной, строгостью применения методов как синхронного, так и диахронного анализа, является существенным достижением картвельстики, значение которого трудно переоценить.

Сарджвеладзе З. А.

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. VII. Табасаранский язык. — Тбилиси: Мецниереба, 1979. 1070 с.

Выдающийся русский ученый XIX в. Петр Карлович Услар, как известно, вел исследования по семи горским кавказским языкам: абхазскому, чеченскому, аварскому, даргинскому, лакскому, безгинскому и табасаранскому. Опубликовать же (лиитографирование) результаты своих изысканий ученому удалось только по шести языкам, монографии по которым позже были изданы типографским способом. Что же касается табасаранского языка, то почти завершенный труд П. К. Услара по этому языку остался в рукописи. Безрезультатными оказались попытки издать его и после смерти автора.

Седьмая монография ученого по языковедению, созданная более века назад, наконец, увидела свет. Издание предпринято и осуществлено Институтом языкознания АН ГрузССР. Рукопись подготовлена к печати ст. н. с. института А. А. Магометовым.

Книга открывается кратким «Вместо предисловия» (с. 5—6), написанным редактором издания акад. Арн. С. Чикобава, и вводной статьей «П. К. Услар и его монография „Табасаранский язык“» (с. 7—33) А. А. Магометова.

За исключением этой вводной части, а также приложенного в конце книги обзора «П. К. Услар — кавказовед» (автор — А. А. Магометов), вся монография напечатана офсетным способом с рукописного текста, представляющего собой специально переписанную от руки копию, в которой максимально сохранена транскрипция оригинала.

Основная часть монографии имеет характерную для работ П. К. Услара структуру и включает в себя следующие разделы: а) азбуку (алфавит) табасаранского языка (с. 34); б) сведения о Табасаране, табасаранцах и табасаранском языке (с. 41—55); в) краткое описание звукового состава и отдельных фонетических явлений (с. 56—66); г) очерк грамматики (главным образом морфологии) (с. 66—436); д) хрестоматию (с. 437—563); е) сборник табасаранских слов (табасаранско-русский словарь) (с. 564—988); ж) указатель к сборнику слов (русско-табасаранский словарь) (с. 989—1011).

К основной части даны приложения, составленные А. А. Магометовым: а) сравнительная таблица усларовской азбуки для табасаранского языка, современного практического алфавита литературного табасаранского языка и знаков латинской транскрипции (с. 35); б) примечания к транскрипции (с. 36—40); в) общие примечания ко всей работе Услара (с. 1012—1045).

Таким образом, в рецензируемой книге

представлены не только неизданное в свое время исследование П. К. Услара, но также и целый ряд дополнительных материалов, посвященных П. К. Услару и его работе по табасаранскому языку. Без этих материалов читателю было бы трудно самостоятельно разобраться во всех деталях, а в ряде случаев было бы вообще невозможно понять и ответить на вопросы, неизбежно возникающие при чтении научного труда, написанного сто с лишним лет назад, который, как неоднократно отмечает и сам автор, не был свободен от некоторых не до конца ясных моментов и недоработок.

В данной связи следует сразу же отметить, что материалы, приложенные к труду П. К. Услара, а также вся работа по изданию рукописи, выполненная весьма добросовестно и на высоком научном уровне, приобретают самостоятельную научную значимость. Она выходит далеко за рамки ординарной работы по подготовке к изданию научного труда другого автора, заметно дополняет труд П. К. Услара, органически сочетаясь с ним, и объективно представляет его читателю.

На изучение табасаранского языка П. К. Услар затратил больше времени, чем на каждый из ранее исследованных им языков. Несмотря на это, монография по данному языку осталась незавершенной. Ученый встретился с рядом дополнительных трудностей, главней из которых было несовпадение того, что ему сообщалось разными информаторами или же одним и тем же лицом при повторном опросе. П. К. Услар отнесил это за счет «плохого» знания табасаранцами своего языка.

Однако основная причина неудач, на наш взгляд, заключалась в другом, а именно в самой специфике табасаранского языка, в частности, в следующих его особенностях: большая, чем в ранее исследованных языках, сложность как глагольного, так и именного словоизменения; своеобразие системы координации членов предложения; и, наконец, живой (продолжающийся и сейчас) процесс ломки и перестройки системы отдельных грамматических категорий.

Это обстоятельство не только затаило работу во времени, но и отразилось на труде пытливого и добросовестного исследователя, который всегда и во всем стремился к четкости и ясности. Об этом говорят приводимые П. К. Усларом в ряде мест дополнительные парадигмы, всевозможные оговорки к выводимым им грамматическим правилам, пометки на полях уже переписанной рукописи и др.

Однако следует прямо сказать, что несмотря на свою незавершенность, а также

независимо от того, что монография «Табасаранский язык» увидела свет спустя много лет после смерти автора, рецензируемое издание является значительным вкладом в отечественное кавказоведение. Как и другие работы П. К. Услара, она отличается полнотой охвата узловых вопросов грамматического строя и фонетики табасаранского языка, безупречной тщательностью записей, научной достоверностью сообщаемых фактов. Она одна без помощи других книг может дать общее правильное представление о табасаранском языке. Время, отделяющее рецензируемое издание от момента его создания, не уменьшает, наоборот, в известном смысле, увеличивает научную значимость рецензируемого труда, потому что в нем предметно зафиксирован конкретный, теперь уже ставший историческим, хронологический срез одного из интереснейших горских кавказских языков; сообщается большое количество историко-этнографических сведений о носителях этого языка, об их крае; здесь впервые письменно увековечены образцы фольклора табасаранцев; с этой работы П. К. Услара берет свое начало табасаранская диалектология, лексикография и текстология.

Вводная статья А. А. Магометова начинается с подробного изложения содержания рукописи. В ней особое внимание привлекают два имени: Л. П. Загурский и А. Дирр. Первый, высоко ценивший деятельность П. К. Услара и много сделавший для сохранения, издания и популяризации его научного наследия, выделил «Табасаранский язык» из всего, что оставил Услар, подробно описал, что именно сюда относится и, что очень важно, всецело придерживался мнения, что «Табасаранский язык» должен быть опубликован. А. Дирр же отнесся к рукописи с иной точки зрения: по его мнению, только лишь отдельные места ее заслуживают быть опубликованными в порядке приложения к его (А. Дирра) работе по табасаранскому языку. Однако основное содержание статьи сводится к детальному и компетентному специальному анализу работы Услара [см. также 1].

Основная часть монографии начинается алфавитом («Табасаранская азбука»), состоящим из 57 букв, из которых одна ['] введена А. А. Магометовым для обозначения ларингального абруптива.

П. К. Услар отмечает, что в табасаранском языке голос в слове нередко может прерываться и что подобный перерыв имеет «грамматическое значение» (с. 64). Однако в числе букв в азбуке он не дает знака [']. Видимо, тот разрыв голоса, о котором идет речь, Услар не считал самостоятельным звуком или же звуковой единицей. Думается, что в алфавит знак ['] в качестве особой буквы можно было бы не включать, а использовать его там, где это необходимо, делая соответствующую оговорку.

В целом азбука табасаранского языка, так же, как и усларовские алфавиты по другим языкам, в основном отражает фонематическую систему этого языка.

Сравнение табасаранской азбуки с алфавитами других языков кроме того показывает, что исследователь стремился к возможной унификации букв-знаков, обозначающих одни и те же или же близкие по артикуляции фонемы разных языков. Вместе с тем очень важным представляется то, что и при обозначении дополнительных оттенков фонем, таких, как лабиализация, Услар пользуется одними и теми же приемами. Кстати заметим, что введенное Усларом обозначение лабиализации прибавлением буквы, передающей губно-губную фриктивную согласную, ныне приобрело статус законного правила правописания в орфографиях всех младописьменных языков ДАССР.

Вслед за азбукой в книге даны: а) таблица под названием «Алфавит Услара сравнительно с алфавитом литературного табасаранского языка и латинской транскрипцией» (с. 35) и б) примечания к транскрипции (с. 36—40).

Оба эти приложения безусловно могут быть полезны для тех, кто хочет глубже ознакомиться с трудом Услара или же занимается исследованием табасаранского языка. Однако помещение этих материалов именно здесь, за азбукой, нарушает принятую в других монографиях автора последовательность, отрывает усларовскую азбуку от последующего изложения основной части. По содержанию самих примечаний следует отметить, что некоторые из них при наличии сравнительной таблицы можно было бы опустить, а отдельные непосредственного отношения к азбуке Услара не имеют. Впрочем, таких примечаний немного.

Первые шесть параграфов основной части содержат общие сведения о Табасаране, табасаранцах и их языке. Следующие шесть параграфов посвящены описанию специфических звуков табасаранского языка. Центральное место (370 с.) в исследовательской части монографии отведено изложению морфологического строя изучаемого языка, вопросов же синтаксиса П. К. Услар почти не затрагивает.

Названные разделы подкреплены большим количеством текстов и табасаранско-русским словарем, занимающими более 600 с.

Несмотря на всю важность рассматриваемой части монографии, здесь мы не будем ее подробно анализировать: вводная статья и комментарии, составленные А. А. Магометовым, представляют достаточно детальный анализ работы Услара. Отсылая читателя к названным материалам, основные положения которых разделяем, нам остается сделать лишь отдельные замечания по тем или иным вопросам,

нашедшим отражение в рецензируемой книге.

Замечания эти в основном сводятся к следующему:

1. Имеют место случаи, когда предлагаемая формула той или иной фонетической или же грамматической закономерности в точности не отражает положения вещей; приводимый иллюстративный материал вступает в противоречие с правилом. Так, согласно формуле, в словах w w *ičujniča*, *iwujna* (с. 1027) [j] должен был опускаться. На самом деле сокращение произошло за счет выпадения последующего за йотом гласного [i]. Ср.: *ičujniča*, *iwujna*.

В другом случае (с. 1028), наоборот, сокращение фактически происходит за счет утраты [j], а в формуле говорится только о выпадении гласного [i]. Например: *думу wuj*, ср. *думу wujji*.

Не подпадает под правило и слово *ташақар* (с. 76), в котором гласный второго слога [a] должен опускаться.

2. Отмечая особенность табасаранского языка, заключающуюся в том, что личное местоимение 3-го лица (оно же и указательное) различно склоняется относительно класса вещей и класса человека, в числе языков, в которых данная особенность не наблюдается, назван и лезгинский язык, которому, как известно, категория класса чужда вообще.

3. Определенные недочеты обнаруживает и ряд словарных статей. Здесь главным образом следует указать на такие недоработки, как смешение форм и значений разных лексем, отсутствие четкости в разграничении семантических вариантов и омонимов, а также сравнительная бедность фразеологического материала. Так, например, в статье *wubwuw wuwuw* «пойти, уйти» (с. 630) дается такая иллю-

страция: *iwu bazariz karux* «ты на базар ступай», которая к данной лексеме помимо синонимической близости семантики другого отношения не имеет. Трудно также понять, почему в рассматриваемой статье нашли место фразы: *думу малларина*

дарс wubxuz gkurdur «он к мулле, чтобы учиться, ходит»; *хамуз wanišini kubwunur* «теперь жар прекратился». Значение [прести], судя по квадратным скобкам, в которые оно заключено, добавлено как пропущенное, на наш взгляд, также не имеет отношения к слову *wubwuw* (с. 631). Это скорее омоним, который, следовательно, должен рассматриваться в самостоятельной статье.

4. По поводу трактовки разницы между аффрикатами [ч] и [ч'] следует отметить, что несмотря на то, что их можно противопоставить по наличию и отсутствию ½ придыхания, главным отличием артикуляции является степень напряжен-

ности смычки. Если же это отличие попытаться выразить посредством их предполагаемых составляющих, то оно выглядело бы так: $ч = m + w$; $ч' = m + w$. Чтобы представить себе, какой звук обозначается через ч', достаточно указать, что это глухой вариант [дж], в котором лишен голоса не только второй компонент [ж], как это полагал П. К. Услар, но и первый [д].

5. В комментариях и других материалах нередко встречаются отдельные не совсем удачные в стилистическом отношении выражения.

6. Заслуживает упоминания, что при осуществлении рецензируемого издания сохранен принцип оформления титула предыдущих монографий автора, дан портрет П. К. Услара; сохранены пометки, сделанные рукой автора на полях рукописи, оставлены также и некоторые дополнительные парадигмы. Однако нельзя не отметить и то, что использованы не все возможности улучшения качества издания: рукопись переписана двумя почерками, причем один из них для подобной цели явно не подходит; в иллюстрациях дополнительных материалов не всегда отмечается ударение; встречаются повторения и пропуски. Было бы хорошо поместить в книгу и отдельные страницы подлинной рукописи Услара.

7. В заключающем книгу обзоре в основном правильно характеризуется деятельность Услара-кавказоведа [см. подробнее 2]. Однако мы считаем существенным упущением то, что в ней нет критики ряда неприемлемых для нас взглядов П. К. Услара, высказанных им в различных работах, в частности, в таком капитальном его труде, как «Древнейшие сказания о Кавказе» (Тифлис, 1881).

Свой отзыв о книге «Табасаранский язык» хочется завершить следующими словами проф. А. А. Магометова: «Монография П. Услара о табасаранском языке, несмотря на более чем вековую давность со времени ее создания, не потеряла своего значения и поныне. Она ценна для иберийско-кавказского языковедения богатством фактического материала, тонкими наблюдениями автора над языком. Она будет служить, подобно другим лингвистическим монографиям П. Услара, настольной книгой для лингвистов-кавказоведов. Седьмая по счету монография П. Услара о горских иберийско-кавказских языках — „Табасаранский язык“ — является ценным вкладом в дело изучения иберийско-кавказских языков» (с. 33).

Гайдаров Р. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Магометов А. А. Незданная монография П. К. Услара о табасаранском языке. — ВЯ, 1954, № 3.
2. Магометов А. А. П. К. Услар — исследователь дагестанских языков. Махачкала, 1979.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О ЯЗЫКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Где же как не в лингвистических диссертациях, т. е. исследованиях, посвященных изучению языка, искать ясного и четкого изложения мысли, простых и точных формулировок, правильного словоупотребления?

Кто же как не лингвист должен чувствовать свой родной язык, свободно владеть и умело пользоваться им в своих научных исследованиях?

Между тем самый беглый просмотр кандидатских диссертаций, лишь в одной узкой области лингвистики (изучение романских языков), приводит к мысли, что язык лингвистических диссертаций (в последние годы особенно) далек от того, каким он должен был бы быть. Сказанное Ф. П. Филиным по поводу языка и терминологии некоторых лингвистических работ в большой мере применимо и к языку лингвистических кандидатских диссертаций. «Щеголяние „модными“ терминами (прежде всего американского происхождения), — пишет Ф. П. Филин, — нарочито заумный язык делают некоторые лингвистические работы (в том числе учебники) недоступными даже узкому кругу „посвященных“. Эта вредная традиция в той или иной степени проникает и в учебники для средних школ» («Об актуальных задачах советского языкознания». — ВЯ, 1981, № 1, с. 6).

Бросается в глаза явное тяготение к использованию иноязычных слов вместо обычных русских слов обиходного языка. Местами язык кандидатских диссертаций начинает напоминать стиль небезызвестной «мадам Курдюковой».

Например, даже такие общеупотребительные слова, как «условный», «конечный», «постоянный», «одновременный», «обязательный» и им подобные, некоторым авторам диссертаций, по-видимому, кажутся неподобающими для научного исследования (т. е. диссертации). Они заменяются более «престижными», звуча-

щими по-иностранному эквивалентами, например (здесь и далее в цитатах курсив нап. — *К. Н.*): «...суффиксальное терминопроизводство (?) имеет конвенциональный характер», «...терминальный слог неконечной синтагмы», «...константный или переменный характер предметных понятий...», «...комплексно в симультанном взаимодействии...», «ряд обязательных валентностных показателей».

Наречия «предварительно» и «обязательно» почему-то считаются более выразительными, если их заменить русифицированными иноязычными эквивалентами типа: «...антерьерно определенная декрипция» (почему не описание?). «Дополнение» (в значении «действие»), «дополняющий» превращаются в *комплектацию*, *комплектирующий*: «...расширение модели $N + V_1$ через комплектацию...». «...комплектирующий объект...».

Страницы многочисленных диссертаций пестрят таким глаголами, как *манифестировать* и *репрезентировать*. Особенно многозначным становится глагол *манифестировать*, например: «...диссертация включает... проблему формальных признаков, манифестирующих (= показывающих?) имплицитные члены предложения...», «...формы артикля, которые манифестируют (= обозначают) предметность...», «...глаголы манифестируют (выражают) свой внутренний объект...». Не меньшее распространение получает и глагол *репрезентировать*: «...каузативная ситуация установления и разрыва локальных отношений репрезентируется с одной стороны орнативным (!) и привативным ОГ... с другой...», «При определении семантических и грамматических отличий репрезентанта от репрезентируемого...», «...приводит к асимметричной репрезентации функциональной категории» и т. д.

В некоторых случаях иноязычное слово используется без достаточного понимания

его значения, как например: «...слово приобретает естественный *ракурс* семантической реализации...», или «...соотнесенность с участником коммуникативного акта создает особо понятный *ракурс* имплицитного подлежащего...».

Есть случаи, когда введение иноязычного русифицированного слова затрудняет понимание, например: «...заключается в признании *неаддитивного* характера значения».

Безусловно, у некоторых авторов кандидатских диссертаций налицо тенденция вместо обиходных русских слов использовать иноязычные эквиваленты. Мало того, у некоторых довольно заметно стремление заменить прочно вошедшие в употребление русские термины точными эквивалентами, но взятыми из другого языка. Так появляется термин «диминутивы» вместо «уменьшительные»; обычный, принятый в русском языкознании термин «производные» нередко заменяется иноязычным — «дериваты»: «Распространение *дериватов* различными формантами...», «...тип словообразовательных (!) *дериватов*...» и т. п.

В фонетических работах часто фигурируют «инициали» (= начальные слоги, гласные, согласные) или «инициальные» (слоги и т. д.); их сопровождают «финали» (конечные слоги, гласные, согласные). Появляются «адвербиалы», например: «выделяются классы... *адвербиалов*».

Употребление термина «сирконстанты» дается нередко не в связи с изложением теории Теньера, а в его (т. е. слова) общем употреблении, т. е. тогда, когда вполне можно дать термин «обстоятельства». Пишут о *репертуаре* фонем (= *répertoire* франц. «список, перечень, инвентарь»), между тем употребление этого слова в русифицированной форме явно неудачно, русские слова «инвентарь» или «состав» вполне подходят.

Получает распространение термин немецкого происхождения «коммуникант» вместо «участник коммуникации», например: «...речевая деятельность *коммуникантов*...», «...указывает на связь с *коммуникантами*...». Давно уже принятый термин «сопоставительный» (метод изучения языков) почему-то в ряде случаев заменяется иноязычным эквивалентом «контрастивный». Иногда используется неоднозначный иноязыковой термин, хотя можно употребить однозначные и более ясные русские, например: «...*вербальные стимулы* и реакции» (= речевые), «...присоединяется к именным и *вербальным* (= глагольным) основам...». В отдельных случаях наблюдается небрежное оформление широко употребительных терминов: «паиенс» превращается в *пациента*.

Иностранные термины, не обязательно лингвистические, а в ряде случаев специфичные для определенных научных

направлений, активно проникают в лингвистические диссертации. «Регулятор», «дифферензор», «сигнализатор», «посессор», «экспериментер» и проч. соседствуют с «дериватами» и «адвербиалами».

Неумелое и часто неуместное употребление иноязычных слов и терминов в ряде случаев приводит к созданию своеобразного языка-жаргона, который недопустим для языка научных работ, и особенно кандидатских диссертаций, имеется в виду образец типа: «...*Локатив-сирконстант*, напротив, представляет собой пространственную рамку для отображаемого события, обозначает область бытия *партиципантов* или события целом и присоединяется к основному отношению *аддитивным* способом. Выделяются субъектные и объектные *дескрипции*. В качестве обязательного рассматривается *Локатив-субъектный дескриптор* в *ОН*-структурах, релевантных в дальнейшем изучении семантической природы *Локатива*...» или «Процесс осложения *Локатива Пациентивом* и *Объективом* рассматривается как семантическая *транзитивизация Локатива*. Данное явление изучается в различного типа семантических ситуациях: *Транспонентивной, Результативной, Локативной, Пациентивной (Объективной)* с рачлененным *Пациентивом (Объективом)*, а также в диактантных *Пациентивных* и *Объективных* ситуациях...», «Анализируются общие вопросы хроногенетической соотнесенности *аналитической* и *синтетической ситуации*, устанавливается гипогиперонимическое соответствие между ними, показывается *инструментальный статус аналитической ситуации* относительно *синтетической*».

Создается впечатление, что, работая с иностранной литературой по специальности, некоторые авторы кандидатских диссертаций не утруждают себя поисками соответствующего русского слова, когда в их распоряжении готовы иностранные слова и термины, которые легко использовать, придав им слегка русифицированную форму.

Вопрос о языке кандидатских лингвистических диссертаций требует детального и серьезного обсуждения. Это в первую очередь относится к тем, кто несет ответственность за формирование молодых научных советских кадров. Никто не возражает и не может возражать против необходимых для каждого научного исследования терминов. Никто не может и не станет выступать против использования новых терминов, отражающих новые явления, новые взгляды или связанные с новыми методами исследования. Никто не хочет создания «мокроступов» по примеру Тредьяковского.

Дело идет об умении правильно употреблять соответствующую терминологию и о необходимости бороться с засорением языка научных исследований (какими яв-

ляются кандидатские диссертации) иноязычными словами, ничего не дающими для разработки данной темы и значение которых иногда недопонимается. Вопрос о том, каким должен быть язык кандидатских лингвистических диссертаций, тесно связан и с вопросом о произвольном использовании терминологии, специфичной для отдельных школ и направлений или отдельных авторов.

Терминология гуманитарных наук, в частности языкознания, довольно ясно отражает идеологию, философские основы теоретических предпосылок тех или иных школ и направлений. В этом отношении очень характерны термины типа «набор» (об этом, в частности, писал Р. А. Будагов в статье «К теории сходств и различий в грамматике близкородственных языков.— ВЯ, 1980, № 6, с. 7, 8 (примеч.)], «аражировка» и под. В них предельно ясно отражается механистический подход к языку дистрибуционалистов, и такого рода термины вполне естественны в рамках лингвистических концепций именно для представителей дескриптивизма. Сейчас в наших лингвистических работах эти термины все более и более отходят на задний план. Они вытесняются терминами, характерными для генеративной грамматики Н. Хомского. Особым предпочтением пользуется глагол «порождать» и его производные и термин «глубинные и поверхностные структуры». Особенно этот последний. В кандидатских лингвистических диссертациях он весьма распространен, например: «*Глубинная логическая структура* содержит пять логических валентностей (аргументов) и регулятор направления движения, отра-

жающие отношения между участниками движения...», «...влияние соотношения различных *поверхностных и глубинных структур предложения...*», «...поиски более *глубинных оппозиций, чем поверхностная оппозиция переходность/непереходность...*», «Понятие *глубинной и поверхностной структуры* используется теорией валентности, но в них вкладывается иное содержание...» (!).

Когда терминология генеративистов используется сторонниками генеративной грамматики, это вполне естественно. Вполне естественно употребление терминологии генеративистов и тогда, когда анализируются и раскрываются основные положения этого модного (особенно в Америке) направления.

Но нужно ли и правильно ли использовать термины, органически связанные с определенными школами и направлениями (например, с генеративной грамматикой), и произвольно наполнять их своим содержанием? А это имеет место в кандидатских лингвистических диссертациях (конечно, не во всех). Именно поэтому потребует также серьезного обсуждения вопрос, в какой мере и как допустимо и закономерно использование терминологии различных школ, направлений, терминологии отдельных авторов, особенно тех, чьи взгляды чужды советской лингвистике. Нужно ли брать эти термины и наполнять их своим содержанием, отличным от того, какое в них вкладывают представители определенного направления, и целесообразно ли это делать?

Катагощина Н. А.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

10—15 ноября 1980 г. в Варшаве и Кракове (ПНР) проводился II Международный симпозиум ученых социалистических стран на тему «Теоретические проблемы языков Азии и Африки», который, в соответствии с решением I симпозиума по той же проблематике (Москва, 1977 г.; см. ВЯ, 1978, № 4) продолжил работу по изучению и теоретическому осмыслению строя, функционирования и развития языков данного региона, а также по координации исследований, ведущихся в социалистических странах в области восточного и африканского языкознания. Всего было заслушано или представлено в письменной форме около 70 докладов. Симпозиум открыл председатель Оргкомитета М. Е. Кюнстлер (ПНР). С приветственным словом к участникам обратился В. Котаньский (ПНР).

Большое внимание на симпозиуме было уделено теоретическому и методологическому обоснованию проводимых исследований, включая проблему применимости отдельных общезыковедческих понятий к языкам с различной типологической характеристикой.

В. М. Солнцева (СССР) рассмотрела эти проблемы в связи с вопросом о наличии/отсутствии морфологии в изолирующих языках Дальнего Востока. Уточнив ряд морфологических понятий и критериев, докладчик показал, что в этих языках имеются грамматические явления, которые, при всем их отличии от явлений флективной морфологии, есть основания описывать именно в морфологических, а не в синтаксических терминах. В докладе Нгуен Куанг Хонга (СРВ) была выявлена противопоставленность европейской и китайской лингвистических традиций в выборе исходного и производного понятий в парах фонема/слог и морфема/слово и обоснована связь этого расхождения с типологическими различиями между теми группами языков, на почве которых сформировались рассматриваемые традиции. В. М. Алпатов (СССР) показал соотношение, существующее в типологически различных языках между восемью типами языковых единиц, традиционно объединяемых термином «слово».

В области теории сравнительно-исторических исследований интерес вызвал доклад акад. АН СССР Т. В. Гамкрелидзе (СССР), предложившего учитывать при языковой реконструкции типологические нормы, действующие в реально существующих языках. Это заставляет, в частности, полностью пересмотреть ряд традиционных представлений об индоевропейском праязыке.

Важным направлением работы симпозиума явилась социолингвистическая проблематика, затронутая в 11 докладах. Общеязыковедческие аспекты социолингвистики были освещены Л. Б. Никольским (СССР), который выделил важнейшие социально-психологические предпосылки использования языка в политических и идеологических целях и привел конкретные примеры действия этих факторов в рамках различных политических и идеологических движений. В двух докладах анализировалась языковая ситуация в современной Индии. Т. П. Обжияк (ПНР) выявил социолингвистические факторы, затрудняющие распространение языка хинди и превращение его в основной государственный язык страны. Т. Х. Халмурзаев (СССР) вскрыл социально-исторические корни существующего взаимоотношения языков хинди и урду. В докладе М. В. Софронова (СССР) было продемонстрировано своеобразие формирования письменного национального языка в Китае, развивавшегося первоначально на основе средневековой литературы и лишь впоследствии включившего в себя элементы современных китайских диалектов. На языковых проблемах современной Индонезии остановились К. Губер (ГДР), интересовавшийся стилистической дифференциацией индонезийского языка, а также перспективами превращения его в международный язык своего региона, и Е. А. Кондрашкина (СССР), которая рассмотрела основные тенденции развития этого языка, диктуемые его ролью в индонезийском обществе: нормирование, совершенствование структуры, формирование терминологии. В аналогичном плане ставились вопросы развития амхарского языка в докладах Р. Рихтер (ГДР), давшей оценку путей и возможностей языкового плани-

рования в Эфиопии, и Э. Б. Ганкина (СССР), проследившего изменения в лексике и фразеологии амхарского языка после революции 1974 г.

Арабский язык рассматривался под углом зрения социолингвистики Э. Пабстом (ГДР), исследовавшим специфику синтаксических синонимов в этом языке, и А. Пажемес (ПНР), посвятившей свой доклад языковой ситуации в Северной Африке, где по ряду исторических и лингвистических причин возник разрыв между языком повседневно общения и языком науки и культуры. Доклад В. Клима (ЧССР) касался особенностей языковой ситуации и языковой политики в двух странах суахилийского ареала: Кении и Танзании. К области социолингвистики примыкал доклад Г. П. Мельникова (СССР), который на примере развития агглютинации в языках банту, тюркских, семитских и кечуа сделал попытку связать характер грамматического строя языка с условиями его функционирования.

Вопросы развития и взаимодействия языков широко обсуждались на симпозиуме также в собственно лингвистическом плане. Понятие языкового союза использовалось в двух докладах. А. Апанч (ПНР) выявил соответствующие признаки в грамматике персидского и турецкого языков. Б. А. Захарьин (СССР) подтвердил концепцию южно-азиатского языкового союза на материале выражения категорий каузации, транзитивации, пассивизации и т. д. в языках четырех разных семей, расположенных на территории Индии, и выделил языки мунда в качестве центра, к которому сходятся различия, усматриваемые в семантике этих категорий.

Проблемы языковых заимствований и интерференции неродственных языков послужили основной темой трех докладов. И. Т. Зограф (СССР) продемонстрировала систематический и закономерный характер монгольско-китайской интерференции в языке монгольской канцелярии в Китае (эпоха Юань). Р. Хушча (ПНР) обратил внимание на малую структурную ассимиляцию китайских заимствований в языках Дальнего Востока. А. Дубиньский (ПНР) систематизировал славянские элементы, выявляемые на различных уровнях языковой структуры трех тюркских языков, развивающихся в славянском окружении: караимского, армяно-кыпчакского и языка литовских и польско-литовских татар. В. С. Расторгуева (СССР) показала в своем докладе своеобразие фонетической интерференции, имеющей место между персидским языком и бесписьменными иранскими языками северо-западной группы и приводящей к постепенному стиранию существующих между ними фонетических различий.

Был представлен на симпозиуме также

ряд сравнительно-исторических исследований. К сфере исторической фонетики и фонологии относились пять докладов. С. Е. Яхонтов (СССР) построил фонетическую реконструкцию праязыков мьяо и дун-шуйских языков, констатируя отсутствие тесных контактов между предками этих двух народов. А. Ю. Ефимов (СССР) в связи с проблемой происхождения вьетнамских тонов высказал некоторые новые гипотезы относительно фонологической системы прото-аустро-азиатского языка и ее развития во вьетнамской группе. В докладе Нгуен Тай Кана (СРВ) была описана фонологическая система классического китайского языка в его ханветском варианте. Н. А. Баскаков (СССР) рассмотрел возможность развития классического агглютинативного типа тюркских языков с восемью гласными из древнейшего изолирующего моновокалического типа через систему с двумя гласными. А. Писович (ПНР) привлек данные о персидских заимствованиях в армянский язык для установления истории и периодизации ряда фонетических черт персидского языка.

В области исторической лексикологии Н. А. Сыромятников (СССР) выделил и охарактеризовал ряд генетически различных пластов японской лексики, особо отметив морфемы, являющиеся общими у японского языка с индонезийским, индоевропейскими и урало-алтайскими. В. Зайончковский (ПНР) выявил следы древнего периода развития тюркских языков в лексике караимского языка.

В пяти докладах затрагивались вопросы исторической грамматики. Н. В. Гуров (СССР), исследовавший языки дравидийской семьи, предложил постулировать наличие в прото-дравидийском оппозиции «свой — чужой», что позволит свести в единую систему некоторые лексико-грамматические явления этих языков, ранее считавшиеся не связанными между собой. К. Б. Кепинг (СССР) установила сходство дистрибуции и фонемного состава показателей совершенного вида и желательного наклонения в тангутском языке, сделав вывод об общности происхождения тех и других. П. Вавроушек (ЧССР) проанализировал семантико-синтаксические функции, ряда микросинтаксических явлений (типа удвоения и повторов) в хеттских ритуальных текстах. А. Дембска (ПНР) описала основные структурно-синтаксические условия грамматикализации египетского глагола *h^c* и превращения его в показатель инхотива в аналитических формах. А. Г. Белова (СССР) на основании лексико-морфологического сопоставления египетских и семитских корней высказала гипотезу о существовании на афразийском уровне определенного пласта общих корней структуры C-V-C.

Стилистическую специфику языка турецких эпических сказаний XIV—XV вв. проанализировал Т. М а й да (ПНР).

Три доклада были посвящены различным аспектам классификации языков. А. Заборский (ПНР) указал на необходимость при построении генетической классификации кушитских языков учитывать не только их синхронный лексический состав, но и стадию исторического развития, на которой находится каждый из них в настоящее время. К. К а д е н о м (ГДР) и М. Е. К ю н с т л е р о м (ПНР) было дано критическое рассмотрение классификаций языков Китая и китайско-тибетской семьи, предложенных в разное время китайскими и европейскими авторами, и отмечена неточность отдельных существующих здесь концепций и противопоставлений.

Большое место в работе симпозиума занимали конкретно-лингвистические исследования по проблемам современных восточных и африканских языков. Внимание шести докладчиков привлекли вопросы описания глагольных категорий и конструкций. В. П. Л и п е р о в с к и й (СССР) построил классификацию конструкций с личными глаголами языка хинди, учитывающую особенности функционирования в них субъектных и объектных компонентов, а также морфологическую характеристику глагола. Б. Б ё р н е р (ГДР) предложила своего рода трансформационную интерпретацию для форм прошедшего времени глаголов в предложениях с временными придаточными того же языка. М. Л о р е н ц (ГДР) охарактеризовал происхождение, пути развития и грамматический статус так называемых «претеритальных» конструкций современных иранских языков. В. С. Х р а к о в с к и й (СССР) посвятил свой доклад семантико-синтаксическому анализу арабских пассивных конструкций с результативным значением, ранее не получавших в арабистике самостоятельного описания. Я. К ж и в и ц к и й (ПНР) остановился на отличающейся своим богатством видо-временной системе бантоидного языка кибира. Б. Р е й н е к е (ГДР) дала функционально-семантическую классификацию одного из типов глагольных конструкций языка тви (гвинейская группа языков).

Другие вопросы синтаксиса рассматривались Е. Н. М я ч и н о й (СССР), выявившей основные типы конструкций принадлежности в языке сомали, Я. Я. Ш и ш к о в о й (СССР), показавшей существенность понятия логического акцента для описания ряда грамматических единиц того же языка, Н. П а в л а к (ПНР), указавшей важнейшие способы выражения пространственных значений в языке хауса, В. А. М а я н ц (СССР), сопоставившей способы выражения подлежащего в языке йоруба (гвинейская группа) и в европейских языках.

Проблемы грамматической классификации слов коснулись в своих докладах Э. Р и х т е р (ГДР), который сформулировал ряд критериев (в основном, синтаксических) для определения понятия слова и установления классов слов в бирманском языке, и Н. В. Г р о м о в а (СССР), предложившая выделять в языке суахили ранее не констатировавшийся в нем ряд наречий.

Морфолого-синтаксические свойства языка суахили составили содержание доклада Н. В. О х о т и н о й (СССР) и Н. В. Г р о м о в о й. Авторы показали взаимосвязь синтаксических и словообразовательных потенций ряда суффиксов этого языка и обосновали релевантность для его описания понятий внутриморфемной иерархии и внутриморфемного синтаксиса. К морфологии отнесены также доклад Д. Ц и х о ц к о г о (ПНР) о функциях турецкой глагольной морфемы *-ip*.

В трех докладах ставились вопросы словообразования и лексикологии. А. Г а н и е в (СССР) предложил трактовку сложного глагола в современном афганском языке (пашто) как особой формы сложного слова. Т. З б и к о в с к и й (ПНР) дал структурно-семантическое описание восьми типов сокращений, характерных для китайской политической лексики. А. А. Х а м а т о в а (СССР) выявила основные факторы развития лексической омоимиции в современном китайском языке.

Графический уровень языка исследовался Я. В о х а л о й (ЧССР) применительно к китайской иероглифической системе.

Ряд докладов носил историко-лингвистический характер. С. В. Н е в е р о в (СССР) рассказал о специфическом для японской филологии направлении «языкового существования», для которого характерно объединение представлений о системе языка и об употреблении ее в речи в рамках единой теории. К а л у ж и н с к и й (ПНР) сделал обзор существующих исследований по сибирскому диалекту маньчжурского языка. Г. М. Г а б у ч я н (СССР) изложил историю формирования и развития традиционной арабской грамматической теории, а также историю ее изучения в европейской арабистике и общем языкознании. В. М а м е д а л и е в (СССР) продемонстрировал методологическое родство этой теории с мусульманским богословием и правовой системой.

Еще одной областью восточного языкознания, представленной на симпозиуме, явилась теория и методология некоторых прикладных лингвистических задач.

Три доклада были посвящены вопросам двуязычной лексикографии. М. Г а т ц л а ф ф (ГДР) на материале языков хинди и немецкого рассмотрела понятие межязыковой лексической эквивалентности. Г. П. Ф и т ц е (ГДР) и Г. Н а д ь

(ГДР) проиллюстрировали в своих докладах принципы, которыми они руководствовались при составлении только что законченного немецко-монгольского словаря. В докладе З. М. Ш а л я п и н о й (СССР) демонстрировалась специфика лингвистических проблем, встающих в рамках задачи автоматического анализа японских текстов, и излагались основные пути решения этих проблем в системе японско-русского автоматического перевода.

Два докладчика подняли вопрос методики преподавания индийских языков. Л. Б. К и б и р к ш т и с (СССР) подчеркнула целесообразность создания комплексного учебника по этим языкам, содержащего, помимо учебных материалов, также методические разработки для пре-

подавателя. О. С м е к а л (ЧССР) предложил при объяснении учебного материала представлять языковые единицы и конструкции в виде геометрических фигур различных форм, цветов и т. д.

На заключительном заседании была единогласно принята резолюция, отмечавшая положительную роль симпозиума в развитии восточного и африканского языкознания и в усилении сотрудничества между востоковедами социалистических стран. По предложению немецких ученых, следующий симпозиум по проблемам языков Азии и Африки намечено провести в ГДР в 1983 г.

Белова А. Г., Шалапина З. М. (Москва)

В январе 1981 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося отечественного филолога академика Е в ф и м и я Ф е д о р о в и ч а К а р с к о г о. Он был филологом-славистом широкого профиля. Значительную часть его научного наследия составляют труды, посвященные проблемам развития белорусского языка и литературы. Прежде всего — это его замечательное трехтомное исследование «Белорусы» (1903—1922), второй том которого был подготовлен к переизданию в 1955—1956 гг. Институтом языкознания АН БССР под ред. В. И. Борковского.

Труды Карского имеют большое значение и для современного белорусоведения. Его принципы исследования и научные открытия легли в основание позднейшей белорусской этнографии, языкознания и литературоведения.

В память Е. Ф. Карского 15 января 1981 г. в Минске состоялось торжественное заседание ученых АН БССР — сотрудников Института языкознания им. Якуба Коласа, Института искусствоведения, этнографии и фольклора, Института литературы им. Янки Купалы. Заседание открыл академик-секретарь Отделения общественных наук АН БССР Н. В. Б и р л л о. В кратком вступительном слове он, напомнив главные факты научной биографии Карского, остановился на значении его трудов для развития современного белорусоведения. Было оглашено совместное письмо дочери Карского — Наталии Ефимовны, и его ближайшего ученика акад. В. И. Борковского, выразивших участникам заседания сердечную благодарность за внимание к памяти ученого.

Всего было прослушано шесть докладов. Первое слово было предоставлено гостю — Т. С. К а р с к о й, внучке ученого. В докладе «Эпистолярное наследие Е. Ф. Карского» она охарактеризовала

состояние эпистолярных материалов ученого по советским и зарубежным (ЧССР) архивохранилищам, раскрыла основные направления и темы его переписки с такими известными филологами, как Вс. А. Миллер, А. И. Соболевский, В. Н. Перетц, А. М. Селищев, В. Н. Францев, с белорусским поэтом-классиком Янкой Купалой (И. Д. Луцевичем). Письма Карского содержат ряд фактов, дополняющих новыми штрихами его биографию в дореволюционный период и после Октябрьской революции. Как подчеркнул докладчик, особенно интересны письма, в которых в той или иной степени отражен процесс обновления Академии наук. Письма позволяют уточнить хронологию ряда событий научной жизни Карского, в частности, получает точную датировку его работа над I томом «Белорусов», начатая, как выясняется, в конце 1901 г. В докладе были приведены письма, свидетельствующие о повседневной заботе ученого об учреждении в Белоруссии университета, об обеспечении его квалифицированными кадрами профессоров и преподавателей, а также письма, интересные содержащимися в них оценками научных трудов и художественных произведений современников.

Чл.-корр. АН БССР А. И. Ж у р а в с к и й посвятил свой доклад вопросам истории белорусского языка в трудах Карского. На многих примерах докладчик раскрыл ту большую работу, которую проделал ученый по изучению закономерностей развития белорусского языка с эпохи его возникновения и до первых десятилетий XX в. Известно, что с середины XIX в. началось оживление исторического и этнографического изучения Белоруссии. Был собран значительный фактический материал, который ждал своего исследователя. Им оказался Карский. Обобщив достижения предшественников, он разработал свою концепцию истории воз-

никновения и развития белорусского языка, жизненность которой, по мнению А. И. Журавского, находит подтверждение в современных исследованиях. Научные интересы Карского в области истории белорусского языка концентрировались на таких актуальных и ныне проблемах, как происхождение языка, его историческая фонетика, грамматика и лексикология, история белорусского литературного языка, систематизация и издание письменных памятников, палеографические особенности белорусской письменности и др. Докладчик на конкретных примерах показал, как работа Карского по истории белорусского языка дала множество ценнейших стимулов для разысканий современных исследователей.

А. А. Кривицкий охарактеризовал Карского-диалектолога, проследив ее по этапам. Изучение живого белорусского языка началось у Карского еще в студенческие годы, с наибольшей интенсивностью занимался он белорусскими диалектами и организацией научной работы в этом направлении в варшавский период, когда выпустил I и II тт. «Белорусов». Став академиком, Карский продолжал изучение особенностей белорусских говоров («Русская диалектология», Л., 1924).

Чл.-корр. АН БССР В. К. Бондарчик посвятил свой доклад рассмотрению трудов Карского по этнографии. Охарактеризовав его работу как образцовую по сборанию материалов, докладчик справедливо подчеркнул, что она не была для Карского самоцелью, ибо на первом плане у него стояло научное осмысление материала — фактической основы для решения проблем происхождения и закономерностей последующего развития белорусского языка. Именно в опоре на этнографические факты, прежде всего на факты духовной культуры народа, ученый решал вопросы происхождения русского, белорусского и украинского народов, сделав большой шаг вперед по сравнению с представлениями, господствовавшими в то время. Подробно остановившись на этногенетических концепциях Карского, докладчик отметил, что теория ученого легла в основу многих современных исследований.

Доклад А. С. Федосика был посвящен исследованиям Карского в области фольклора. В этих исследованиях рассмотрены многие важные проблемы генезиса, состояния, развития и функционирования всех основных жанров белорусского народного творчества, раскрыты их тематика, художественные особенности, социальное содержание. Докладчик внимательно рассмотрел труды Карского в области фольклора, особенно же первую часть III тома «Белорусов», полностью посвященную народному творчеству, и пришел к выводу, что Карский с прогрессивных для его времени научных позиций

решает вопросы происхождения фольклора, его связи с жизнью народа и роли в общественном и семейном быту. Именно Карский впервые дал характеристику основных жанров белорусского фольклора, заново решил многие проблемы развития народного творчества и функционирования его произведений.

О большом вкладе Карского в белорусскую филологию говорил и представитель Института литературы им. Я. Купалы М. А. Мушинский. В докладе «Е. Ф. Карский — основатель белорусского литературоведения» он осветил большую работу ученого по сбору и научной систематизации памятников древней письменности и произведений нового времени. М. А. Мушинский подчеркнул, что Карский не только предложил свою периодизацию литературного процесса, но и установил многие закономерности движения литературы, без чего невозможно создание ее живой истории. Ученый дал литературоведам образец подлинной научности в работе. Широта его взгляда на предмет исследования, научная объективность, достоверность, точность — вот что прежде всего характеризует его исследовательскую деятельность. Испытав до революции в какой-то степени влияние культурно-исторической школы в литературоведении, Карский вместе с тем видел не только ее достижения, но и многие исторически обусловленные слабости. В своих исследованиях он с большой последовательностью преодолевал эти слабости, способствуя тем самым становлению подлинно научной методологии. Рассмотрев некоторые характеристики писателей, данные в третьей части III тома «Белорусов», докладчик сделал вывод о том, что научный подход Карского к явлениям литературы выразился во всестороннем изучении творчества писателя, среды, из которой он вышел и в которой творил, общественных и литературных воздействий, художественных особенностей произведений с точки зрения их эстетической ценности и нравственно-эстетической функции. В заключение М. И. Мушинский напомнил оценку трудов Карского, которую дал народный поэт БССР Якуб Колас в письме к ученому от 24 ноября 1921 г., где есть и такие слова: «Я проникся еще большим чувством признательности к той великой работе, которой Вы посвятили Вашу жизнь. Белорусская культура так тесно связана с Вашим именем, что одно без другого нельзя мыслить». Эти слова можно бы было привести не как итоговые, а в качестве эпиграфа, определяющего пафос всех выступлений и смысл самого юбилейного собрания.

Карская Т. С.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1981 Г.
(№№ 1—6)

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ ИСС

Филин Ф. П.— Об актуальных задачах советского языкознания 1

1. IX Международному съезду славистов 6

СТАТЬИ

Даниленко В. П., Скворцов Л. И.— Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии 1
Иванов В. В.— Некоторые вопросы изучения русского языка как средства международного общения народов СССР 4
Сороколетов Ф. П.— Областные словари и диалектная лексикология Трубачев О. Н.— Indoagica в Северном Причерноморье. Источники. Интерпретация. Реконструкция 2
Филин Ф. П.— Проблемы исторической лексикологии русского языка (Древний период) 5

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Асфандияров И. У.— Узбекские лексические элементы в русских переводах с узбекского 6
Баскаков Н. А.— К историко-типологической фонологии тюркских языков 1
Богатова Г. А.— Историческая лексикография как жанр 1
Богатова Г. А.— Эволюция внеязыковых связей слова и историческая лексикография (Постноминациональная часть словарной статьи) 6
Бондарко А. В.— О структуре грамматических категорий 6
Будагов Р. А.— К вопросу о месте советского языкознания в современной лингвистике 2—3
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.— О своеобразии отражения мимики и жестов вербальными средствами (на материале русского языка) Вервер Г. К., Живова Г. Т.— К характеристике классной системы в египетских языках 5
Вискович К. С.— О терминах «прагмалингвистика» и «дидактолингвистика» 3
Вишнякова О. В.— Паронимия как языковое явление 2
Дёрфер Г.— Базисная лексика и алтайская проблема 4
Домашнев А. И., Помазан Н. Г.— К понятию «Umgangssprache» в немецком языке Швейцарии 3
Домашнев А. И., Худницкий В. С.— К вопросу о положении нижне-немецкого диалекта в ГДР 5
Ибраев Л. И.— Надзнаковость языка (К проблеме отношения семиотики и лингвистики) 1
Климов Г. А.— К категории инклюзива ~ эксклюзива в картвельских языках 6
Котков С. И.— Исследование и издание скорописных памятников русского языка 6
Ким С. С.— Д.— Вопросы комплексной разработки типовой русской части для русско-национальных словарей 5
Лейчик В. М.— Оптимальная длина и оптимальная структура термина Палайтис М. Л.— От греческой системы к славянской. К типологии вида Петушков В. В.— О возможных пределах механизации лексикографических работ 5

П и о т р о в с к и й Р. Г.— Лингвистические аспекты «искусственного разума»	3
П ю р б е е в Г. Ц.— Категория модальности и средства ее выражения в монгольских языках	5
Р а с п о в о в И. П.— Несколько замечаний о так называемой семантической структуре предложения	4
С о л г а н и к Г. Я.— К проблеме типологии речи	1
Т и р а с п о л ь с к и й Г. И.— Становится ли русский язык аналитическим?	6
Т к а ч е н к о О. Б.— Проблемы сопоставительно-исторического изучения славянских языков	1
Ф и л и н Ф. П.— О так называемом «диалектном языке»	2
Х у х у н и Г. Т.— Основные тенденции развития русской грамматической мысли первой половины XX в.	6
Ч е с н о к о в а Л. Д.— Категория количества и синтаксические структуры	2
Ч и к о б а в а А р н.— Описание системы языка и принцип гомогенности	4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А б а е в В. И.— Геродотовские Skythai georgoi	2
А к и м о в а Г. Н.— Развитие конструкций экспрессивного синтаксиса в русском языке	6
А м б р о з и н и Р.— Первый гимн Ригведы и мнимая многозначность поэтических текстов	1
А с л а н о в Г. Н.— О культуре русской речи в Азербайджане	6
Б е л о у с о в а А. С.— Русские имена существительные со значением лица	3
Б о г о л ю б о в М. Н.— К исторической грамматике таджикского и персидского языков	4
Б р а г и н а А. А.— Наблюдения над категорией рода в русском языке	5
Б у х а р е в А. И.— Отрицание и способы его выражения в русском языке XV—XVII вв.	2
В е й х м а н Г. А.— Предложения и синтаксические единства	4
В и н о г р а д о в А. А.— К вопросу о дифференциации явлений парцелляции и динамического присоединения	3
Д а ш к е в и ч Я. Р.— Армяно-кыпчакский язык XV—XVII вв. в освещении современников	5
З е к о х У. С.— Строение предложения в языках полисинтетического типа (на материале адыгских языков)	2
И в л е в а Г. Г.— О варьировании слов в немецком языке	6
К о р л э т я н у Н. Г., М е л ь н и к В. Ф.— К вопросу формирования и развития молдавской сельскохозяйственной терминологии	4
К у р к и н а Л. В.— Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара	3
М а л к о в а О. В.— К проблеме второго полногласия	6
М а л к о в а О. В.— О принципе деления редуцированных гласных на сильные и слабые в позднем праславянском и древних славянских языках	1
М а л к о в а О. В.— О связи церковнославянского языка древнерусской редакции со старославянским языком	4
М а р о е в и ч Р.— Оппозиция определенных и неопределенных форм притяжательных прилагательных	5
М а р у ф о в а С. Б.— О расширении таджикской лексики за счет калькирования русских слов и словосочетаний	2
М е н о в щ и к о в Г. А.— Структуры предложения с глаголами зависимого действия в эскимосском языке	6
М и х а й л о в с к а я Н. Г.— К вопросу о номинации в древнерусском тексте	1
М у р ь я н о в М. Ф.— О Минее Дубровского	2
М у р ь я н о в М. Ф.— О работе И. В. Ягича над служебными минеями 1095—1097 гг.	5
М у р ь я н о в М. Ф.— О старославянском <i>искрь</i> и его производных	2
О р л о в Г. А.— К проблеме границ обиходно-бытовой и современной литературной разговорной речи	5
П е т р и щ е в а Е. Ф.— Внелитературная лексика как категория стилистическая	3
Р е п и н а Т. А.— О системе румынского именного склонения	4
С а м с о н о в Н. Г.— Заимствования из языков аборигенов Якутии в русском языке	4
С м и р н о в а И. А.— Категория числа в языках с немаркированным именем (на материале иранских языков)	2

Федоров А. И.— Лексика современных русских городов как источник для исторической лексикологии	1
Ходорковская Б. Б.— К проблеме вида в латинском глаголе	4
Черчиёв М. Ч.— К реконструкции двух «пятых литералов» в общесавро-индо-цезском языке	4
Шенкер А. М.— Древнецерковнославянское <i>искръ</i> «близко» и его производные	2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Гельгардт Р. Р.— Наука о русском языке в журнале «Russian Linguistics»	3
Демидова Г. И.— Исследования по семантике русского языка	4
Сталтмане В. Э., Граудина Л. К.— Культура латышской речи в условиях двуязычия	3
Ширкова А. Г.— Новый журнал по сопоставительному изучению языков	2

Рецензии

Агаян Э. Б., Сукьясян Г.— <i>Туманян Э. Г.</i> Структура индоевропейских имен в армянском языке	6
Астахина Л. Ю.— <i>Котков С. И.</i> Лингвистическое источниковедение и история русского языка	5
Ахметова С. Г.— <i>Долгова О. В.</i> Синтаксис как наука о построении речи	5
Баталова Т. М., Кураханова И. С.— «Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика»	3
Береснев С. Д.— <i>Пиотровский Р. Г.</i> Инженерная лингвистика и теория языка	6
Брагина А. А.— <i>Бабайцева В. В.</i> Русский язык. Синтаксис и пунктуация	6
Будагов Р. А.— <i>Скворцов Л. И.</i> Теоретические основы культуры речи	4
Булахов М. Г.— Очерки по истории и диалектологии восточнославянских языков	4
Верещагин Е. М.— <i>Живкова Л.</i> Четвероевангелието на цар Иван Александр	5
Гайдаров Р. И.— <i>Услар П. К.</i> Табасаранский язык	6
Граудина Л. К., Синючкина Б. М.— <i>Socialinés lingvistikos problemos</i>	6
Домашнев А. И.— <i>Маковский М. М.</i> Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании	6
Жуперка К. И., Гудавичус А. И.— «Aktuální otázka jazykové kultury v socialistickej spoločnosti»	1
Журавлев В. К.— <i>Pauliny E.</i> Slovenská fonológia	5
Журавский А. И.— <i>Мяцельская Е. С., Камароўскі Я. М.</i> Белорусская диалектология	2
Иванов С. Н.— <i>Баскаков Н. А.</i> Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков. <i>Баскаков Н. А.</i> Историко-типологическая морфология тюркских языков	4
Караулов Ю. Н.— <i>Милославский И. Г.</i> Вопросы словообразовательного синтеза	4
Кодохов В. И., Максимов В. И.— <i>Горбачевич К. С., Хабло Е. П.</i> Словарь эпитетов русского литературного языка	3
Кокков Дж. Н.— <i>Кумахова З. Ю., Кумахов М. А.</i> Функциональная стилистика адыгских языков	3
Конецкая В. П., Флищева Н. И.— Историко-типологическая морфология германских языков	4
Кормушин И. В.— <i>Кононов А. Н.</i> Грамматика языка тюркских рунычских памятников VII—IX вв.	3
Кубрякова Е. С.— <i>Степанова М. Д., Хельбиг Г.</i> Части речи и проблема валентности в современном немецком языке	3
Кунин А. В.— <i>Алехина А. И.</i> Фразеологическая единица и слово	2
Маковский М. М.— <i>Шевякова В. Е.</i> Современный английский язык. Порядок слов, актуальное членение, интонация	3
Маковский М. М.— <i>Wenisch F.</i> Spezifisch anglisch Wortgut in den nord-numbrischen Interlinearglossierungen des Lukasevangeliums	5
Марков В. М.— «Выголексинский сборник»	2

Петушков В. П.— <i>Денисова М. А.</i> Лингвострановедческий словарь. Народное образование в СССР	2
Сарджвеладзе З. А.— <i>Ониани А. Л.</i> Вопросы исторической морфологии картвельских языков	6
Смирнов Л. Н., Морозова С. Е.— <i>Бевзенко С. П.</i> и др. Історія української мови. Морфологія	2
Фефелов А. Ф.—« <i>La pensée</i> ». Janvier 1980. № 209	5
Филичева Н. И.—«Актуальные проблемы языкознания в ГДР. Язык — Идеология — Общество»	2
Шагдаров Л. Д., Дондуков У.— <i>Ж. Ш.—Будаев Ц. Б.</i> Лексика бурятских диалектов в сравнительно-историческом освещении	5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Катагощина Н. А.— Письмо в редакцию	6
Сеидов И. С.— Десять лет журнала «Советская тюркология»	2
Хроникальные заметки	1—6

CONTENTS

Towards the IX International Congress of slavists; **Discussions:** K o t k o v S. I. (Moscow). Study and edition of Russian language monuments compiled in cursive writing; B o n d a r k o A. V. (Leningrad). On the structure of grammatical categories; K l i m o v G. A. (Moscow). The category of the inclusive ~ exclusive in the Kartvelian languages; T i r a s p o l' s k i j G. I. (Syktyvkar). Does the Russian language become analytical?; B o g a t o v a G. A. (Moscow). Evolution of extralinguistic relations of the word and historical lexicography; H u h u n i G. T. (Tbilisi). The main trends in the development of Russian grammatical thought in the first half of the XX century; A s f a n d i j a r o v I. U. (Tashkent). Uzbek lexical elements in Russian translations from Uzbek; **Materials and notes:** A s l a n o v G. N. (Baku). On the usage of the Russian language in Azerbaidjan; M e n o v š č i k o v G. A. (Leningrad). The structure of sentences with verbs of dependent action in Eskimo; M a l k o v a O. V. (Moscow). The second pleophony in Old Russian; A k i m o v a G. N. (Leningrad). Development of expressive syntax constructions in Russian; I v l e v a G. G. (Moscow). Variation of words in German; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Vers le IX Congrès International des slavistes; **Discussions:** K o t k o v S. I. (Moscou). Étude et édition des monuments linguistiques russes rédigés en écriture cursive; B o n d a r k o A. V. (Léningrad). Sur la structure des catégories grammaticales; K l i m o v G. A. (Moscou). La catégorie d'inclusive ~ exclusive dans les langues kartvéliennes; T i r a s p o l' s k i j G. I. (Syktyvkar). La langue russe, devient — elle analytique?; B o g a t o v a G. A. (Moscou). Evolution des liens extralinguistiques du mot et lexicographie historique; H u h u n i G. T. (Tbilissi). Les tendances principales du développement de la pensée grammaticale russe dans la première moitié du XX siècle; A s f a n d i j a r o v I. U. (Tachkent). Éléments lexicaux ouzbeks dans les traductions russes de l'ouzbek; **Matériaux et notices:** A s l a n o v G. N. (Baku). La norme du russe en Azerbaidjan; M e n o v š č i k o v G. A. (Léningrad). Structure des propositions avec verbes désignant l'action dépendante en esquimau; M a l k o v a O. V. (Moscou). La seconde pléophonie en vieux russe; A k i m o v a G. N. (Léningrad). Développement des constructions de la syntaxe expressive en russe; I v l e v a G. G. (Moscou). Variation des mots en allemand; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Вниманию авторов!

В нашем журнале, начиная с № 2 1981 г., вводятся новые правила по оформлению библиографии.

I. Список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи. Оформляется это следующим образом:

1. *Виноградов В. В.* О теории художественной речи. М., 1971.
2. Курс історії української літературної мови. За ред. Білодіда І. К. Т. 1. Київ, 1958.
3. *Баранников А. П.* Флексия и анализ в новоиндийских языках. Уч. зап. ЛГУ, 1949, № 98, сер. востоковед. наук, вып. 1.
4. *Гак В. Г.* — ВЯ, 1977, № 6. — Рец. на кн.: *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М.: Наука, 1976, 224 с.

II. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3].

В случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте.

III. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

ОПЕЧАТКА

В № 3 за 1981 г. в списке литературы под № 51 следует читать: *Bańkowski A.* O kilku reliktach wyrazów prasłowiańskich w toponimii staropolskiej.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.08.81 Подписано к печати 6.11.81 Т-27542 Формат бумаги 70×108/16
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 99,5 тыс. Тираж 7018 экз. Зак. 800
Уч.-изд. л. 15,9 Бум. л. 5,0

Издательство «Наука». 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10